

В. СТАРИКОВ

РЯБИНОВАЯ
ВЕТКА



В. СТАРИКОВ - РЯБИНОВАЯ ВЕТКА



В СТАРИКОВ

РЯБИНОВАЯ ВЕТКА

РАССКАЗЫ



*Свердловское
Книжное Издательство
1955*

Писатель Виктор Александрович Стариков родился в 1910 году, в Москве, в рабочей семье. С 1929 года начал журналистскую работу, сотрудничая в газетах «Московский комсомолец», «Комсомольская правда» и других. В 1931 году, после переезда на Урал, появляются в печати его первые рассказы и очерки.

Во время Великой Отечественной войны В. А. Стариков был военным корреспондентом газеты «Известия» на Северо-Западном фронте, служил в армейской печати.

Повести, рассказы и очерки В. А. Старикова печатались в журналах «Новый мир», «Звезда», «Знамя», «Огонек», «Советский воин», в альманахе «Уральский современник», выходили отдельными сборниками: «На партизанской земле. Записки военного корреспондента», (Госполитиздат, 1943 г.), «Красный камень» («Советский писатель», 1947 г.), «Прорыв» (Свердловское книжное издательство, 1947 г.), «Звезда победы» (Челябинское книжное издательство, 1950 г.), «Север и юг» (Свердловское книжное издательство, 1952 г.).

В сборник «Рябиновая ветка» вошли рассказы В. А. Старикова разных лет, посвященные людям социалистического Урала, их труду и быту.



ДОКТОР

1

Рано утром Юрий Николаевич услышал настойчивый стук в дверь. Не вставая с постели, доктор хриплым со сна голосом спросил:

— Кто там?

— Это я,— раздался громкий басистый голос больной сестры Пелагеи Ильиничны.— Больную привезли. Кровью исходит.

— Сейчас иду.

Татаринцев протянул руку к маленькому столику, стоявшему возле кровати, зажег лампу и посмотрел на часы. Они показывали пятый час.

Поеживаясь от холода, доктор начал одеваться. Он уже завязывал галстук, когда в дверь опять постучали.

— Войдите,— негромко отозвался доктор.

В комнату вошла Ольга Михайловна Песковская, его соседка по квартире. На ней был желтый шелковый халат, с вышитыми черным стеклярусом японскими цветами и цаплей. Светлые волосы падали на лоб, и она

придерживала их рукой, чуть откинув назад голову, так что видна была короткая полная шея.

— Разбудила-таки вас эта труба? — ворчливо сказал доктор.

— Что случилось? — встревоженно спросила Песковская.

— Ничего не случилось, а привезли больную.

— Юрий Николаевич, разрешите мне пойти с вами.

— Это зачем?

— Я вам помогу.

— Нет, это вы уж оставьте, — сердито сказал доктор. — Всему бывает предел. Незачем вам ночью ходить в больницу.

— Я вас прошу! Юрий Николаевич!

Она так настойчиво просила, что доктор сдался.

— Ну, как вам угодно. Ждать вас я не буду и сейчас же выхожу.

— Я быстро, Юрий Николаевич.

Доктор, недовольный, что уступил, медленно надел пальто, черную шляпу, взял палку с резиновым концом и, прихрамывая, вышел в коридор. Одна нога у него была короче другой, и, чтобы скрыть хромоту, он носил ботинок с толстой подошвой.

Рассвет был неприятен. В мутном воздухе вырисовывались белые оголенные стволы берез. Грязными серыми пятнами выделялся последний снег в канавах вдоль шоссе и в ямах.

— Видите, как рано, — сказал доктор, поднимая воротник пальто. — Право, лучше сделаете, если вернетесь.

— Нет, — беззаботно ответила Ольга Михайловна, — теперь вы меня не прогоните.

Он не любил выходить с ней на улицу. Всякий раз доктор испытывал унижительное чувство стыда за свою немощь. Он не мог быстро ходить и, прихрамывая, немного отставал от Ольги Михайловны. Она это замечала и старалась попадать с ним в ногу. В такие минуты доктор вспоминал, что ему уже около пятидесяти лет и у него седые виски, что он заикается и что вообще ему поздно второй раз устраивать семейный очаг.

Они шли вдоль шоссе, обсаженного молодыми березами, к белому зданию больницы, одиноко стоявшему в стороне от деревни на холмике. Одно из окон больницы выделялось тусклым светом. Доктор шел позади Песков-

ской, оступаясь на неровной тропинке, и думал: «Нехорошо, что позволяю ей по ночам ходить в больницу».

У больницы стояла лошадь и глодала коновязь. На спину ей была небрежно брошена рогожа.

По каменным ступеням доктор и Ольга Михайловна поднялись на крыльцо и вошли в больницу.

В приемной на кожаной кушетке лежала молодая женщина с очень бледным лицом. Возле нее стояли Пелагея Ильинична и парень в длинном до полу тулупе, с кнутом в руке. Увидев доктора, парень испуганно посторонился и уронил кнут.

— Твоя жена,* Белоусов? — спросил Татаринцев, взглядевшись в широкое носатое лицо парня.

— Да,— хрипло сказал он, с трудом сгибаясь в тулупе, чтобы поднять кнут.

— Что с ней?

Доктор сбросил пальто на руки сестре и надел халат.

— Вчера приехал из города, она больная лежала. А ночью разбудила и говорит: «Скорее вези в больницу». Я стал лошадь собирать, а она и память потеряла.

Доктор расстегнул на больной пальто и почувствовал резкий гнилостный запах. Он посчитал пульс.

— Везите ее в операционную,— сказал Татаринцев сестре. Он повернулся к Белоусову.— Долго же ты собирался.

— Разве можно скоро. Пока лошадь запряжешь, да пока...

— Ты тут подожди,— прервал его доктор.— Я с тобой должен поговорить.

— Подождать мы можем,— сказал парень и отошел. Песковская стояла возле больной.

— Лучше вам уйти домой,— сказал ей Татаринцев, проходя в свой кабинет.

— Но вы же позволили.

— Ну, как вам угодно. Тогда раздевайтесь и мойте руки. Будем оперировать. Предупреждаю — предстоит неприятная работа.

Пелагея Ильинична вкатила тележку. Вчетвером они осторожно подняли тяжелое тело женщины и положили на тележку.

— Разденьте больную, приготовьте физиологический раствор,— приказал доктор.— Ну,— обратился он к Песковской,— извольте и вы приготовляться.

Они прошли в кабинет.

— Вот я и готова, доктор,— сказала Ольга Михайловна, завязывая на рукавах белого халата тесемки и не забывая поправить пышные светлые волосы перед тем, как надеть марлевою шапочку.

Татаринцев вошел в операционную, где больная лежала на высоком столе. Свет керосиновых ламп придавал ее телу желтый оттенок. Женщина была молода, с широкими плечами, с большими, матерински округлыми грудями. Темные веки плотно закрывали глаза. Губы проступали на лице бледной чертой. Она казалась мертвой.

После нескольких минут осмотра Татаринцев шопотом сказал Песковской:

— Аборт на шестом месяце.

Он накрыл женщину простыней и одеялом и велел затопить печь.

Стуча ногой, вытирая на ходу руки, доктор торопливо вышел в приемную. Парень стоял, распахнув широкий тулуп, и поигрывал гибким ременным кнутом.

— Вы знали, что она беременна? Я те... те...— сказал доктор, волнуясь и от этого, как всегда, особенно зайкаясь,— теперь не могу за нее отвечать. Кто сделал ей аб... аборт?

Широкое носатое лицо парня стало медленно краснеть. Он несколько раз переложил кнут из одной руки в другую.

— Не мой ребенок,— сказал он, исподлобья всматриваясь в доктора.— Меня год дома не было.

У доктора болезненно сморщилось лицо. Он закричал:

— Идите, и... и... идите домой. Потом при... при... приходите. Позже!

Парень оглянулся и шагнул к доктору.

— Ребенок был? Значит, кровь-то...

— Ступайте! — вскрикнул доктор.— Вы мне мешаете работать.

Парень не уходил и смотрел на Татаринцева зло и требовательно.

— Да говорят же тебе, что ты мешаешь,— раздался громкий голос сестры.— Вот ведь какой поперешный парень.

— Да тише вы, Пелагея Ильинична,— остановил ее доктор и скрылся в операционной.

— Да, да, не кричи,— сказал парень.

— Вот я тебе сейчас крикну,— проговорила Пелагея Ильинична, приближаясь к нему.— Ишь ты, какой смелый...

Вид ее был так грозен, так подействовал на парня ее громкий голос, что он отступил к дверям.

— Ступай, ступай...

Пелагея Ильинична слегка толкнула его в плечо, и он нехотя вышел.

Юрий Николаевич и Ольга Михайловна наклонились над больной. Тонко звенел инструмент, который доктор бросал на стеклянный столик. Пелагея Ильинична двигалась по комнате быстро и бесшумно, с полуслова понимая, что нужно доктору.

Больная пришла в себя, безразличным взглядом скользнула по лицу Песковской и закрыла глаза. Ее осторожно перенесли в палату. Она была все так же мертвенно бледна, неподвижна и тиха.

— Кажется, парень не отец ребенка,— сказал доктор, оставшись вдвоем с Песковской.— А я взял и все ему рассказал...

Ольга Михайловна стояла с изменившимся лицом, сцепив пальцы рук.

— Да, неприятная история,— проговорил доктор.— Кто мог сделать ей аборт? А я еще гордился, что у меня в районе нет бабок.

— Что с ней будет?

— Вы, врач, задаете такой вопрос. Вы же знаете, что даже в больничных условиях аборт на шестом месяце редко кончается благополучно.

— Кто мог сделать ей аборт? — повторил, помолчав, он снова свой вопрос.

* * *

В этот день доктор принимал больных без своих обычных шуток, строго и сердито. Часто он прерывал прием, хромя, проходил в палату к больной и надолго там задерживался. Песковская в своем кабинете принимала детей. Освободившись, она тоже шла в палату и сидела около больной.

Под вечер, когда прием больных уже закончился, к больнице подъехали на пароконной бричке председатель

сельсовета, усатый широкоплечий Морозкин с красным обветренным лицом, и молодой парень, председатель колхоза. «Ленинский путь» Степан Трофимович Юрасов, одетый в поношенную военную гимнастерку. Они приехали с поля. На крыльце больницы долго счищали грязь с сапог. Шумно и быстро прошли в кабинет доктора.

Морозкин выпил подряд два стакана воды, вытер ладонью усы и сказал:

— Скоро, Юрий Николаевич, сев начнем. Земля быстро сохнет...

Он налил еще полстакана воды и выпил ее залпом.

Доктор рассказал им об утреннем происшествии и спросил:

— Белоусова Ивана вы хорошо знаете?

— Еще бы не знать,— усмехнулся председатель сельсовета.— Да кто его в селе не знает? Верно, Юрасов?

— Знаю,— пренебрежительно отозвался Юрасов.

— Чужой для села,— сказал Морозкин.— Отец его жадный был мужик и детей своих боялся. Всех от себя поотделял. А Ивану все время хотелось отцовского богатства достичь. Когда отец сгорел с мельницей, он в город уехал извозничать.

Доктор рассказал о своем утреннем разговоре с Белоусовым.

— Он сказал, что ребенок не его...

— Как это может быть? — удивился Морозкин.— Вот здорово. А чей же он тогда?

— Но в деревне он давно не живет?

— Ну, это он брешет. Здесь он бывал, и она часто к нему ездила.

— В город она собиралась переехать,— добавил Юрасов.— Кажется, с квартирой у них там плохо было.

— А как ее состояние? — осторожно спросил Морозкин.

— Трудно сейчас сказать, потеряно много крови.

— А хорошая дивчина была,— сказал Юрасов.— В колхозе здорово работала. Раз снопы с ней вязал. Ох, дала же она мне тогда жару. Огонь была девка. И что она в нем сладкого нашла?

— Юрий Николаевич,— сказал Морозкин, прерывая разговор.— Мы ведь к вам на минутку... Хотели сообщить, что сельсовет отводит дом для приезжих больных. Нужен небольшой ремонт. Мы его быстро сделаем.

— Вот это уважили,— обрадовался доктор.— Ну, а уж ремонт в ударном порядке надо.

— Хорошо. Сами о том болеем. Поехали дальше, Юрасов?

Председатель приложил пальцы к козырьку фуражки.

— До свидания, Юрий Николаевич. Опять в поле. Полевые станы оборудуем. Когда с вами поедем?

— Как-нибудь,— неопределенно пообещал доктор. Он стоял, опираясь о стол. У него было очень усталое лицо.

Татаринцев ненадолго сходил домой и вечером опять пришел в больницу.

— Какой пульс? — спросил он Песковскую.

— Нитевидный.

— Грелки ставили?

— Да.

— Идите домой и отдохните.

— Но вы меня позовете, если ей станет хуже?

— Позову.

Он не успел снять пальто, как в кабинет вошла Пелагея Ильинична и недовольно сказала:

— Пришел он.

Доктор догадался, что пришел Белоусов.

— Просите его, пожалуйста, и приготовьте для больной горячий чай с вином.

Сестра открыла дверь и грубо позвала:

— Ну, иди...

В этот раз Белоусов явился щеголем — в коротких, гармошкой, сапогах, в кепке с длинным и широким козырьком. Все на нем было новенькое. Шаркая подошвами и развязно покачиваясь, Белоусов вошел в кабинет.

— Поговорить, доктор, надо,— фамильярно начал он.

— Давайте поговорим.

Пелагея Ильинична оставила их и, выходя, плотно закрыла дверь.

Минут через десять дверь кабинета с треском распахнулась, показалась спина Белоусова и послышался заикающийся, гневный голос Татаринцева.

— Покиньте не... не... немедленно больницу. И не смейте ко мне входить.

— Жаловаться буду, невинного человека подозреваете.

— Сестра! — беспомощно позвал доктор.— Вы... выведите его.

Но Пелагея Ильинична в комнате не было.

— Я уйду, уйду... А на тебя, доктор, управу найдем. Надел халат и задается.

— Вы пьяны,— поморщился доктор.— У... у... уходите!

В комнату быстро вошла Пелагея Ильинична.

— Идите скорее,— испуганно сказала она.— Опять началось. Ольгу Михайловну позвать?

— Подождите... Вот его выведите.

Доктор поспешно прошел в палату.

— Опять гамись,— с презрением сказала Пелагея Ильинична.

Белоусов, сразу притихнув, растерянно смотрел на сестру.

— Ну, доктор сказал, что надо уйти — уходи.

— Что с ней, скажи?

— Потом узнаешь, а сейчас ступай. И к доктору больше не лезь. Слышишь, ты, гамон!

Белоусов пошел, но у двери опять остановился.

— Скажи, как она?

— Трезвый приходи, ишь буркалы-то налил.

Он наконец вышел.

В палате больной на столе стояла лампа под абажуром. Небольшой круг света падал на блестящий пол. Женщина была в тени. На ее сером лице резко выступили синюшные губы. Распрямленные руки лежали поверх одеяла. Выделялись темные кисти с короткими круглыми пальцами. Пелагея Ильинична осторожно поправила подушку. Больная открыла глаза.

— Я виновата сама...— едва слышно произнесла она.— Я знала, что так кончится.

— Все страшное прошло,— сказал доктор.— Вам будет лучше.

Женщина слабо покачала головой. Она закрыла глаза, глазные впадины быстро наполнились слезами, и в них, как в озерах, заблестели отражения лампы.

Доктор и сестра вышли из палаты.

— Прогнали его?

— Ушел.

— Наглец. Пришел убеждать, что ребенок не его. Просил дать бумажку о какой-нибудь болезни жены. Ему, изволите видеть, надо в город ехать, и он ждать не может.

Они стояли в темной приемной. На улице, над крыльцом, горел керосиновый фонарь. Ветер раскачивал его, и по полу двигался фантастический рисунок теней березы.

— Это четвертый раз,— сказал усталым голосом доктор.— Нам не компенсировать потери крови. Я все испробовал.

В полночь у больной опять началось кровотечение, и в два часа ночи все было кончено. Женщина лежала на постели, вытянувшись, ее ноги высывались между прутьями спинки кровати. Простыня закрывала плоское тело.

2

Несколько дней шли теплые дожди, смывая последний снег, уцелевший в лощинах, оврагах, в лесу. По утрам над землей плавал синеватый туман. Казалось, что дождь и туман старательно обмывают и протирают каждый камень на шоссе, каждую веточку, доски заборов, крыши домов, окна. И когда кончились дожди и наступили ясные солнечные дни, все заблестело необыкновенно ярко и свежо.

В воскресенье Татаринцев проснулся поздно. В окно были видны голубое небо и ветка сирени, покрытая прозеленившимися почками.

Умываться доктор пошел во двор. Выйдя на крыльцо, он увидел Юрасова и Песковскую, сидевших на скамейке у сиреневых кустов. Председатель колхоза, одетый полетному в светлые брюки и в белую распахнутую рубашку, которая открывала его крепкую шею и сильные руки, и Ольга Михайловна, в белом, блестящем на солнце, платье оживленно разговаривали. Татаринцев подошел к ним.

— Погодка-то,— сказал Юрасов, счастливо улыбаясь и почтительно и крепко пожимая руку доктора.

В этот день они вдвоем собирались поехать по полевым бригадам колхоза.

Доктор быстро умылся, позавтракал и вышел в светлом костюме и белой кепке, которая делала его лицо моложавым и менее суровым.

— Вам обязательно надо носить светлый костюм. Вы совсем другой человек в нем! — заметила Ольга Михайловна.

— Ну, что вы пустое говорите,— сказал Татаринцев, нахмурясь, и отвернулся. Его волновало внимание, которое оказывала ему Ольга Михайловна.

— Когда вас ждать? — спросила она.

— Поздно,— ответил Юрасов.— Лучше нас не ждать. К ночи вернемся.

Бричка выехала за ворота и, гремя, покатила через Ключи. Триста дворов села вытянулись двумя ломаными улицами вдоль берега быстрой и светлой речки. В селе никого не было видно — все взрослые работали на полях, а ребятишки еще спали. За селом дорога поднялась к Напольной горе, где на вершине стоял памятник над братской могилой партизан, замученных Колчаком, и свернула в поля. Колеса мягко покатались по рыхлой земле.

Колхозные поля тянулись до самого горизонта. Коричневым блеском отливали зимние пары, вдали светло зеленели озимые. Копыта лошади и колеса поднимали легкую пыль. У самой дороги часто попадались тугие мешки с зерном, похожие издали на поросят, греющихся под солнцем. И обязательно где-нибудь недалеко от мешков с семенами пыхтел, выбрасывая синий дымок, трактор, тащивший за собой широкорядную сеялку, похожую на диковинный гребень. Изредка встречались подводы с бочками бензина и воды.

Все в это утро казалось доктору необыкновенно интересным и значительным, словно впервые видел он тракторы, свежие озимые, влажную землю. И председатель колхоза, такой внешне суровый в рабочей обстановке, и юношески восторженный наедине, казался доктору особенно милым и приятным человеком. Татаринцев никогда не упускал случая подтрунить над его восторженностью, но сейчас он молча слушал его, отдаваясь ощущению тепла и душевной легкости.

— «Золотой дождь» сеем,— говорил Юрасов.— Теперь у нас только сортовые семена будут. Мы, Юрий Николаевич, так решили, что нам надо все самое лучшее иметь. Тагилок зимой завели. Они нам удои поднимут. К осени плотину на озере разберем, вычистим его, а весной напустим туда зеркального карпа-годовика. И от него будем порядочный доход иметь.

— Помните, доктор,— продолжал Юрасов, поощряемый молчанием Татаринцева,— какими Ключи пятна-

дцать лет назад были? Теперь вот никто телят в избе не держит... А тогда... сарай-то худые были: Вы как-то у нас в избе отца с матерью крепко, помню, пробирали! Я ведь вас с того времени и помню. Уж очень вы сердиты были. А теперь вот больницу построили. Ничего больница, даже вы не жалуетесь. Построим и еще лучше и для вашей лаборатории целый дом отведем.

— Ух ты,— не удержался доктор и улыбнулся,— понесли, держи наших.

— Вы вот любите посмеяться,— продолжал говорить Юрасов, не обижаясь на доктора,— а я, как один останусь,— все думаю: какими наши Ключи лет через пятнадцать будут? Ведь теперь, Юрий Николаевич, грамотного народа много в селе. И не таких, как я. Разве я грамотный. Кончил три класса. Вот армия за три года еще помогла. Нет, теперь грамотные десятилетки кончают. У нас есть трактористы, доярки — десятилетку кончили. Вот они грамотны! А наши дети еще грамотнее будут. Все, что мы сейчас имеем,— для них. Понимаете, как жизнь дальше складываться будет?

— А что наши дети через сто лет сделают!...— опять не удержался доктор.

— Вы, Юрий Николаевич, все смеетесь...

— Милый ты мой, что и говорить, хорошо через пятнадцать лет будет. Надо вот сегодня все лучше делать. Вся наша работа для будущего. Ничто не пропадет! А вот с севом вы отстаете.

— Нас погода задержала. В пять дней посеем.

— Это надо потом считать.

Юрасов часто останавливал лошадь и шел к трактористам, смотрел глубину вспашки, проверял высев семян на гектар. Доктор молча всматривался в людей, с удовольствием отмечая черты хозяйской рассудительности, усердие колхозников в работе.

В полдень они приехали на полевой стан четвертой бригады и остановили лошадь возле нового дома. Доктор пошел осмотреть помещение, а Юрасов, крупно шагая, направился к группе людей, столпившихся на поле у трактора. Доктор отметил в книжке, что в стане не хватает обеденной посуды, что нужно бы украсить помещение: повесить занавески на окна, на голые стены — плакаты; побольше привезти книг, журналов, и вышел на улицу.

К стану подошли Юрасов и высокий старик — бригадир Баклушин, с узким бородатым лицом и большими прозрачными ушами.

— Разве можно так работать?—горячился Юрасов.— Поломался трактор, надо немедленно посылать человека в МТС. Чего же сидеть?

— На себя понадеялись, Степан Трофимович,— глухо сказал Баклушин.

— Не надо было надеяться. Времени вы не жалеете. Видишь, что теперь получилось? А если бы с утра послали в МТС, трактор давно бы уже работал. Нехорошо!

— Вернем это время.

— Конечно, надо вернуть. Я к тебе завтра заеду, посмотрю. Эх, а как я надеялся на вашу бригаду! Ну, думаю, кто-кто, а четвертая не подведет...

Из-за угла вывернулась бричка и остановилась. У крыльца тяжело спрыгнул на землю Морозкин.

— Видел? — спросил он Юрасова, торопливо поздравившись с Татаринцевым.— Я тебе говорил, что на кого больше надеемся, те скорее подвести могут.

— Это вы уж напрасно так про нас говорите — вернем свое время,— обиженно ответил бригадир.

— Я сейчас в МТС поеду,— сказал Морозкин, не слушая Баклушина.— Где у них все разъездные механики сидят? Все утро езжу и ни одного механика не найду.

У трактора закричали и замахали руками. Баклушин пошел туда. Морозкин хмуро посмотрел ему вслед.

— А здорово нас, Юрасов, четвертая бригада подвела...

— Ну уж и подвела. Они нагонят.

— Ну, известно, ты готов за всех заступиться. Посмотрю вот, когда вы сев кончите.

— Да уж как-нибудь кончим. Хуже других работать не умеем.

Они стали повышать голоса. Доктор с удивлением наблюдал, как между ними, казалось, такими дружными, готова вспыхнуть ссора.

— Ну, хватит,— оборвал разговор Морозкин и свирепо расправил усы.— Новость знаете, доктор? — спросил он Татаринцева.— Бабку нашли. На Сорочьих хуторах жила. Ну, я поехал. Вы далеко?

— Хотим с доктором все станы посмотреть,— ответил сквозь зубы Юрасов, все еще сердясь на Морозкина.

— Это хорошо. Вы нам, Юрий Николаевич, потом на сельсовете о станах расскажете. Вот здесь никак умышальника большого поставить не соберутся. Ну, в добрый час! Я — в МТС.

Когда Морозкин отъехал, доктор сказал:

— Странные вы люди, из-за пустяков чуть не поссорились.

— Какие же это пустяки? Придирается...

Они поехали дальше.

Некоторое время оба молчали. Потом Юрасов повернулся к доктору и спросил осторожно:

— Говорят, Юрий Николаевич, что у вас жена и дочь от туберкулеза умерли?

— Почему вы спрашиваете?

— В районе такой разговор шел, что вот вы себя по туберкулезу специалистом считаете, лечите таких, а жена и дочь у вас от туберкулеза умерли.

— Что ж в этом странного?

Доктор помолчал.

— Да, доктор Татаринцев интересуется вопросами борьбы с туберкулезом, охотно принимает к себе в больницу туберкулезников, лечит их. Государство не напрасно отпускало и отпускает на это ему деньги.

Всякий раз, когда заходила речь об этой стороне его жизни, доктор начинал горячиться и говорить о себе в третьем лице.

— В городе есть заведующий райздравотделом Сунцов, и он, извольте видеть, не верит в эту работу Татаринцева... Извольте видеть, Сунцова возмущает, что какой-то сельский доктор Татаринцев мечтает сделать и свой вклад в борьбу с этой болезнью. Он не верит, что Татаринцев поднимает на ноги даже тяжело больных. А он их поднимает, он за такими больными следит, не забывает их. Но Сунцовых фактами не убедить...

— Живем мы с вами, Юрий Николаевич, давно,— сердечно сказал Юрасов,— а вот никому из нас вы о своей работе не рассказывали. А мы видим, что к вам туберкулезники едут, верят вам. Нам вы тоже не верите?

— Что вы, что вы...— запротестовал доктор.— Мне нечего было рассказывать. Надо было все проверить. Теперь вот накоплен материал, можно поговорить о результатах.

На горизонте показались темные, разворачивавшиеся клубами тяжелые дождевые тучи. Дали потускнели, в степи стало холоднее и скучнее. Юрасов с беспокойством посматривал в сторону, откуда надвигался дождь.

— Может, вернемся? — предложил доктор.

— Теперь от дождя не уйти, — ответил Юрасов, погоняя лошадь.

Дорога постепенно спускалась вниз. Тучи быстро приближались, и скоро налетел дождь — крупный и холодный. Впереди мелькнула серая лента реки. По дороге уже бежали мутные пенистые потоки.

Бричка остановилась у края вздувшейся, шумно плескавшей в берег волнами, неширокой реки.

Рваные облака стремительно неслись над рекой. Кусты вытягивали по ветру гибкие ветви.

— Сорвало паром, — с досадой сказал Юрасов, вглядываясь вдаль.

Мокрая рубашка плотно прилипла к его телу. Он поеживался.

Сложив ладони рупором, Юрасов закричал сильным голосом:

— Эй! Лодка!

На противоположном высоком берегу стояла изба. Из трубы заманчиво тянулся дымок, среди кустов прыгали стреноженные лошади, высоко взбрасывая передние ноги. На горке виднелись два грузовика с бочками и несколько телег с оглоблями, поднятыми вверх. Телеги были покрыты брезентом. Юрасов закричал еще раз, и из избы показался человек. Он замахал руками.

— Лодку давай! — закричал Юрасов, обтирая ладонями мокрое лицо.

Человек медленно пошел к реке, где, прижатая течением к берегу, болталась на привязи лодка.

Подталкиваемая ударами весел, лодка быстро пересекла реку.

— Ох, как промокли! — с сочувствием сказал старый лодочник и протянул руку, чтобы помочь им.

Он поплевал на ладони и, подняв одно весло, усиленно работая другим, стал поворачивать лодку.

— Где же паром ваш? — спросил Юрасов.

— Ночью снесло. Верст за шесть поймали его. Берегом ведут.

— Нашли время паром терять.

— Разве его удержишь? Ишь, как река-то разыгралась. Наверху дожди сильные прошли и до нас добрались.

Лодка стала у берега, и Юрасов быстро пошел к избе, а за ним, проваливаясь во влажном песке, хромал доктор.

На крыльце Юрасов спросил доктора:

— Ругаете меня, наверное?

— Какие глупости! Мне даже понравился этот дождь. Давно уж я так не промокал.

В просторной, жарко натопленной избе сидели трактористы и шоферы с черными руками, колхозники и городские возчики, застрявшие на этом берегу с товарами для магазина. Все это был рослый народ, крепко сложенный, здоровый. На столе стоял самовар, весело фыркавший паром. Лица у всех были красные, распаренные. В избе пахло сырой одеждой.

Юрасов и Татаринцев поздоровались с ними. Черный, как цыган, бригадир шестой бригады Окунев предложил:

— Чайку хотите?

— Чаем потом напоишь. Рассказывай, как дела с севом. Сколько сегодня успели засеять?

— Строгий у нас председатель,— шутливо заметил Окунев.— Если плохо работаем, и чай пить с нами не будет.

Дела у Окунева шли хорошо, и он подробно стал рассказывать Юрасову, как они работали в эти дни.

— В пять дней мы сев кончим,— говорил Окунев,— хотелось раньше отсеяться, да не знаем — выйдем ли? Дождь этот не во-время, планы наши спутал. Ему денька через три пойти. Такое еще дело, Юрасов. В соседнем районе все больше лютесценс начинают сеять. Стойкая пшеница, засухи не боится. Да что тебе рассказывать — слышал. Нам бы тоже попробовать. Гектаров пять засеять — выйдем?

— Теперь опыты проводить некогда. Раньше надо было подумать. Отложим до будущего года.

— Жалко год терять.

Татаринцев прислушивался к этому разговору. Он подумал, что Юрасов поступает неправильно — сев в раз-

гаре и еще есть время, чтобы посеять новую пшеницу. Да и ничего не случится, если они эти пять гектаров засеют попозже. Он хотел вмешаться в разговор, но передумал.

Доктор вышел на крыльцо и долго стоял, любуясь быстрой рекой.

«Им не нужны мои советы,— думал доктор.— Быстро идут вперед. Разве можно было пять лет назад подумать, что Юрасов будет руководить таким большим хозяйством, что все они так быстро научатся хозяйничать? Было время, сев продолжался больше месяца, а теперь — хватает и пяти дней. А ведь засевают в три раза больше. И мне ли давать советы? Юрасову лучше видно, что сейчас важнее: посеять новую пшеницу или в срок кончить сев».

Но смутное чувство недовольства собой беспокоило доктора. Ему казалось, что Юрасов иногда проявляет излишнюю самоуверенность в колхозных делах и, занятый собственными мыслями о хозяйстве, не замечает интересных предложений колхозников и, как сегодня, отбрасывает их. А он из какой-то ложной деликатности не позволяет себе вмешаться, поправить Юрасова.

Дверь избы отворилась, и бригадир сказал:

— Пожалуйте кушать, доктор.

Юрасов уже сидел за столом. Посредине стола стояли две большие алюминиевые чашки, полные до краев пшенной кашей.

— Это слону на завтрак,— пошутил доктор.

— Кушайте. Больше ничего нет. К обеду нашему вы опоздали.

Юрасов быстро съел кашу, выпил стакан чаю и поднялся.

— Подите сюда, Юрасов,— позвал доктор.— Вы зачем меня по станам повезли? Показать, что почти ничего не сделали? Зачем же я тратил два дня на план оборудования станов, проводил курсы поварих? Ведь у вас везде пшеном кормят, поварих вы на другие работы послали. Обеденной посуды на станах не хватает, умывальников нет, грязно.

Юрасов, смущенно покраснев, слушал доктора.

— Не углядишь за всем, Юрий Николаевич.

— Сказки вы рассказывать мастер, о больших делах мечтаете, а денег на умывальники жалеете.

Смотрите, если эпидемии будут, по-другому с вами заговорю.

Юрасов чувствовал себя неловко. Подошел Окунев и что-то сказал ему.

— Вы отдохните, Юрий Николаевич,— сказал Юрасов,— а я схожу с бригадиром, посмотрю, что у него делается. Кажется, дела идут плоховато.

— Дождь еще сильный.

— Разве его переждешь...

Юрасов ушел с бригадиром. Вернулись они часа через два.

— Так вот и действуй...— говорил Юрасов, входя в избу.— Людей я тебе завтра пришлю. Смотри лучше за работой тракторов. Ручного сева не допускай. На этом урожае потеряешь.

Он повернулся к доктору.

— Можно и домой ехать.

Тот же лодочник перевез их на другой берег. Начало темнеть. Моросил мелкий холодный дождь. На дорогу им дали брезентовые плащи с высокими капюшонами. Лошадь медленно шагала по скользкой дороге, полной мутной воды.

От мерного покачивания брички доктор начал было дремать, как вдруг очнулся от голоса Юрасова.

— Спросить вас хочу, Юрий Николаевич. Только никому о нашем разговоре не рассказывайте. Хорошо?

— Кому же я могу рассказать?

— Скажите: может ли городская образованная девушка полюбить простого колхозника?

— Ну, любовь с образовательным цензом не считается,— ответил с улыбкой доктор.

— Значит, может?

— На такой вопрос сразу ответить невозможно. Это, извольте видеть, зависит от многих очень существенных обстоятельств.

Юрасов тяжело вздохнул.

— Ну, говорите прямо, что случилось? — предложил доктор, сбрасывая капюшон, чтобы видеть лицо Юрасова.

— Ладно,— с решимостью сказал Юрасов.— Только вы свое обещание помните.

— Говори, говори.

— Ну, не сейчас вот, а когда-нибудь может меня Ольга Михайловна полюбить?

— А, гот кто городская девушка и рядовой колхозник! — произнес нараспев Татаринцев, еще не зная, что ответить.

В первую минуту ему стало больно от этого внезапного признания Юрасова. Ведь и он не раз задавал себе подобный вопрос: может ли его когда-нибудь полюбить Песковская и может ли быть у них счастливый брак?

— Я вам на это ответить не смогу, — медленно сказал он. — Вы Ольгу Михайловну спросите.

— Разве можно? Я об этом и думать боюсь.

— И давно вы заметили, что... — доктор с трудом произнес последние слова, — любите ее.

— Не знаю. Я ведь только у вас ее вижу. Тянет меня к ней. Раньше я в больницу часто ходил, а теперь перестал. Я ее и словом боюсь обидеть. А меня в селе девчата храбрым парнем считают. Дорога она мне...

— Если вы ее так любите, надо с ней объясниться.

— Нет, что вы! Ей другой человек нужен. Она с высшим образованием, а у меня даже низшее не закончено.

— Это дело нехитрое. Вас в два года можно в университет подготовить. Ум у вас цепкий, цельный, хороший, всякой дрянью не напичкан. Моего Радищева прочли?

— Прочел. Я, Юрий Николаевич, хочу ее поближе узнать. Вот теперь лето наступает, сенокос будет, уборка. Она колхозную жизнь увидит, может, полюбит ее. Сейчас она еще от города отвыкнуть не может.

— А вы, значит, о ней кое-что знаете. Она городская девушка из интеллигентной семьи. В деревне живет только полгода, и, конечно, ей сейчас тут трудно.

— Ну, а если она согласится, что ее родители скажут?

— Что они скажут, трудно ответить.

— А вы свою дочь могли бы за меня отдать?

— Вам, Степан Трофимович, учиться много и серьезно надо. А вы, изволите видеть, занимаетесь от случая к случаю. Знаю, что хотите сказать: в колхозе надо работать. Хорошо. Правильно! Но не жалейте себя. Ночью занимайтесь, гуляйте меньше. Без жертв ничего не дается. Почитайте биографии большевиков — увидите, как они знания получали. Вопросами образования они никогда не пренебрегали, работали в подполье и все время учились. Вот если бы я видел, что вы так занимаетесь и

что моя дочь в этом вам помочь может,— отдал бы ее за вас...

— Эх, Юрий Николаевич! — воскликнул с силой Юрасов и хлопнул себя по шее.— Я каждое воскресенье, как увижу Ольгу Михайловну, вас, новым человеком ухажу. Прямо земля у меня под ногами танцует. И никакие дела тогда не страшат. Все легким кажется. И целую неделю потом о следующем воскресенье думаю.

Он еще долго и восторженно говорил об Ольге Михайловне. Доктор не прерывал его.

Они уже въезжали в ночное, молчаливое село.

У ворот докторского дома стоял легковой автомобиль.

— А у вас, видать, какое-то начальство в гостях,— сказал Юрасов, помогая доктору сойти с брочки.

— Сейчас увидим это начальство,— ответил доктор, недоумевая, кто может в такой поздний час ждать его.

* * *

В комнате его неприятно поразил беспорядок. На письменном столе стояла пустая бутылка из-под виноградного вина. Папиросные окурки валялись на письменном приборе, на полу. На стульях было разбросано белье. Казалось, что тут прочно поселился человек, считающий себя только со своими привычками.

— Здравствуй, мой дорогой! — услышал доктор сочный баритон.

Перед ним стоял Василий Сергеевич Сунцов, заведующий райздравотделом, его школьный товарищ. Это был среднего роста, цветущий, налитый здоровьем, мужчина. Мягкой, плавной походкой он подошел к Татаринцеву и крепко сжал своими большими и пухлыми руками его руки.

— Ехал мимо и решил, что надо навестить старого товарища.

Татаринцев молчал.

— Ты извини, что я без тебя тут хозяйничал,— сказал Сунцов, благодушно улыбаясь и смахивая окурки в газету.— Долго ждать пришлось. А ты неплохо живешь, очень неплохо. Соседка, знаешь, пикантная особа. Так сказать, неожиданное явление в сельских куцах.

— Я прошу тебя быть более сдержанным.

— Понимаю, понимаю,— замахал руками Сунцов.—

Буду деликатен и умолкаю. Ночевать ты мне здесь позволишь, надеюсь?

— Устраивайся на кушетке,— сухо сказал доктор.

— Вот и чудесно.

Татаринцев молча вынес из спальни подушку, одеяло, простыни и сложил все на кушетку. Затем ушел к себе в спальню и затворил дверь.

Утром доктор не стал завтракать и пошел в больницу. Проходя мимо Сунцова, он увидел, что тот еще спит, полуоткрыв рот и тяжело сопя. Одеяло сползло на пол, и была видна розовая грудь, заросшая рыжими волосами.

Часа два спустя, Сунцов явился в больницу. Он вошел в кабинет к доктору и, здороваясь, сказал:

— Так устал вчера, что не слышал, как ты утром ушел. Как в больнице дела идут?

— Посмотри,— коротко предложил Татаринцев.

Сунцов зашел к Песковской, посидел у нее с полчаса. Потом долго ходил по больнице, осматривал палаты, расспрашивал сестру о хозяйстве больницы, зачем-то пересчитал все салфетки. Пелагея Ильинична ходила за ним с испуганным лицом и отвечала на его вопросы таким тихим голосом, что Сунцов несколько раз сказал ей:

— Говорите громче!

Осмотрев больницу, он опять зашел к Татаринцеву и сказал строго:

— Очень неприятная история у тебя произошла.

— Что ты имеешь в виду? — удивленно спросил доктор.

— У тебя в больнице умерла женщина.

— Ты обстоятельства ее смерти знаешь?

— Обстоятельства, мой дорогой, обстоятельствами, а ее смерть — это факт.

— Какие глупости ты говоришь. Ты же врач.

— А тебе должно быть известно, как судят о нашей работе. Будь ты самый талантливый врач, но ни одной смерти тебе никогда не простят. И все твои заслуги в этом случае ничего не значат.

— Кто же это так рассуждает? Разве мало умирает людей? Ведь это же непроходимая глупость — так рассуждать.

— Однако весь район говорит об этой смерти, и везде упоминается твое имя.

— О чем нам спорить? Посмотри историю болезни, и конец всему разговору.

Татаринцев достал историю болезни Белоусовой. Сунцов начал читать, делая какие-то отметки в блокноте.

Кончив читать, он раздумчиво постучал пальцами по столу.

— История ясная, и тем не менее я не могу сказать, что не будет неприятностей.

— Ты меня сегодня удивляешь. Скажи прямо: в чем дело? А то, как кликуша, пророчишь, а в чем дело — понять невозможно.

— Мне нечего сказать. Но и в районе недовольны этой смертью.

Доктор рассмеялся.

— А здесь ты нашел довольных смертью Белоусовой?

— Не то, что недовольных, но спокойных. Ты меня не так понял.

— Тебя, действительно, чрезвычайно трудно понять. Больницу ты нашел в порядке?

— Я ее не обследовал. Я ведь в гости к тебе приехал.

— Ну, будь здоров,— сказал доктор, протягивая руку.— Мне надо еще больных принимать.

Они попрощались, и Сунцов, все с тем же выражением строгой озабоченности на лице, вышел из кабинета.

Вечером, закончив прием больных, доктор пошел в сельсовет. Земля после вчерашнего дождя успела просохнуть. На улице было по-летнему жарко. Доктор снял шляпу и расстегнул ворот рубашки.

На улице он встретил Песковскую. Она медленно шла навстречу.

— Проводите меня в сельсовет,— попросил ее доктор.— А потом вместе вернемся домой.

Они пошли вместе.

— Вам следует, Ольга Михайловна, побольше внимания уделять Юрасову,— сказал доктор, вспомнив вчерашние признания председателя колхоза.

Она удивленно подняла на доктора глаза, и на лбу у нее прорезалась тонкая морщинка.

— Юрасову? — переспросила она.

— Да, ему. Это, знаете, очень способный человек. Он только внешне на мальчишку смахивает. Колхоз своим

блестящим положением обязан ему. Вы понаблюдайте, как его колхозники слушают.

— Какое же внимание я должна ему оказывать?

— Ну, какое, какое...— пробормотал доктор. — Вы можете помочь ему учиться. Он учится, но без системы и плана. Я с ним уже год бьюсь и ничего у меня не выходит.

— Это — просто. Я поговорю с ним.

Они подошли к деревянному двухэтажному дому, где внизу помещалось отделение почты, а наверху — сельсовет, и поднялись по лестнице.

Не доходя до двери сельсовета, доктор вдруг услышал свою фамилию. Он приостановился и жестом задержал Песковскую. Отчетливо донесся до них громкий голос Сунцова:

— Вот почему я убежден, что Татаринцев, не приняв всех мер, несет моральную ответственность за смерть Белоусовой.

Татаринцев порывисто открыл дверь. В комнате за столом сидели Морозкин и Юрасов. Сунцов стоял посреди комнаты, заложив руки в карманы брюк. Он смутился, увидев доктора.

— Я, Юрий Николаевич, хотел перед отъездом еще раз зайти к тебе,— приветливо улыбнулся Сунцов.— Да вот у товарища Морозкина задержался.

— По... по... повтори, что ты сейчас здесь сказал,— потребовал Татаринцев, заикаясь и побледнев.

— Ты не волнуйся,— мягко остановил его Сунцов.— Ведь мы уже об этом говорили сегодня.

— Нет, э... этого ты не говорил.

— Успокойся, успокойся, мой дорогой. Я ничего плохого о тебе не сказал.

— Ты лжешь. Я все слышал. Значит, я не испробовал всех средств? Я виноват в смерти Белоусовой?

— Давай, Юрий Николаевич, пройдем к тебе в больницу и еще раз спокойно обсудим.

— Нет, именно здесь будем обсуждать. Вот,— показал Татаринцев на Морозкина,— говори все при нем и при мне.

— Что ты волнуешься? Не первый год я тебя знаю, и всегда ты вот так болезненно все к сердцу принимаешь.

Доктор пристукнул палкой.

— Ты чиновник, не вникающий в суть дела. От маленьких подлостей ты перешел к большим.

— Я прошу вас,— обратился Сунцов к Морозкину с изменившимся, злым лицом.

— Доктор, уважайте товарища Сунцова. Он работник райисполкома. Так нельзя разговаривать,— сказал, вставая из-за стола, Морозкин.

— Он для меня прежде всего пло... пло... плохой хирург,— выкрикнул, задыхаясь, Татаринцев.

— Правильно, доктор! — воскликнул Юрасов.— Надо прямо действовать.

— Помолчи, Юрасов,— резко оборвал его Морозкин.

— Здесь не место и не время для таких разговоров! — сказал Сунцов.— Об этой смерти я сообщу кому следует. Но считаю нужным сказать, что, если доктор будет меньше заниматься морскими свинками и фантастическими идеями, в больнице будет больше порядка.

— Что вы говорите! — ужаснулась Ольга Михайловна.— Вы не знаете, как работает доктор.

— Я верю вам,— нехорошо усмехнулся Сунцов,— но...

— Я вместе с Юрием Николаевичем дежурила у Белоусовой и знаю, что были приняты все меры, чтобы спасти ее. Вы не смеете так говорить о нем! Что же вы молчите, Юрий Николаевич? Скажите же, что он клеветает на вас. Обвинять вас в смерти Белоусовой!

— С ним говорить бесполезно...— Татаринцев опустился на стул.

— Посиди спокойно,— сердито сказал Морозкин, останавливая Юрасова, который опять что-то хотел сказать.

— Нехорошо, Юрий Николаевич, что ты себя так ведешь,— сказал Сунцов.— Мы с тобой на общей работе, у нас одни интересы, и мы должны помогать друг другу.

Он уже успел оправиться, и на его лице опять сияла ласковая и благодушная улыбка.

— Я не желаю с тобой разговаривать,— обрезал Татаринцев и отвернулся.

Сунцов развел руками и покачал с сожалением головой, словно говоря, что с таким человеком трудно иметь дело.

— Я буду очень рад, если это недоразумение быстро ликвидируется, и мы, надеюсь, останемся старыми школьными товарищами,— сказал он и повернулся к Ольге

Михайловне.— Вы меня превратно поняли. Я давно знаю и очень ценю Юрия Николаевича. Но с вами мы еще увидимся и поговорим тогда подробнее.— И он неторопливо вышел из комнаты.

Морозкин подошел к Татаринцеву.

— Мы все уважаем вас и верим вам, Юрий Николаевич. Но нельзя так с человеком разговаривать.

— Зачем это говорить? Он на всякие низости способен.

— Это ведь только вам известно.

— А по-моему, доктор правильно говорит,— вмешался Юрасов.— Что ты не видел, как он с самого начала финтил? Почему он такой лисой расстилался перед доктором, а за глаза ругал его?

— Ты, Юрасов, голова горячая. Выдержки-то у тебя не всегда хватает. Чего вчера вдруг надулся на меня, как мышь на крупу? Вы, Юрий Николаевич, не подумайте, что я сторону Сунцова держу.

— Я ничего не думаю,— доктор поднялся.— Я пришел узнать, как идет ремонт дома для приезжих больных.

— Заканчивают. Скоро получите.

— Он мне таким хорошим человеком показался,— сказала Ольга Михайловна Татаринцеву, выйдя из сельсовета.

Доктор махнул рукой и промолчал.

Дома Татаринцев долго не мог успокоиться. Сел к столу и взялся за свою работу о медицинском обслуживании сельского населения, но мысли разбежались, и он со вздохом отложил рукопись.

4

— Люблю? Это, пожалуй, не то слово, Ольга Михайловна,— говорил доктор.

Он сидел с Песковской на скамейке в густом саду при доме. Было раннее утро. На траве и листьях сверкала роса.

— Пятнадцать лет назад я сидел вот в такой же весенний день, на этом самом месте, и думал, как я буду здесь жить. Попал я в Ключи случайно. У меня умерла жена. И мне, извольте видеть, было очень тяжело. Хотелось переменить место работы и жительства. А тут как

раз набирали врачей в сельские больницы. Поехал. Тогда со мной была еще дочка.

Он рассказывал о себе сухо, словно излагал историю болезни.

— Привели меня в больницу. Грязное темное помещение. Персонал ходит в рваных халатах. Больных тьма, и болезни все тяжелые, запущенные. Здесь раньше, изволите видеть, была помещичья усадьба, и при ней три заводишка: спичечный, крахмально-спиртовой и кожевенный. Эти заводишки оставили тяжелое наследство — туберкулез, всякие профессиональные болезни, а они самые трудные. Начал я работать. Домой приходил в девять-десять часов. Стал понемногу к сельской жизни привыкать.

Был здесь до меня не особенно грамотный фельдшер, а кругом бабки орудовали. Действовали они больше травками, но были среди них настоящие убийцы, положившие в землю не одного человека. Повел борьбу с ними и стал присматриваться к здешним порядкам, в сельских делах разбираться. В вопросах социальных, признаюсь, я тогда разбирался плохо. В деревне сама жизнь заставляла меня задуматься, как крестьяне будут жить дальше. Жили они в то время, большинство, еще плохо. Земля здесь скудная. Даже урожайный год почти ничего не менял. Я тогда не думал, что в ближайшие годы все так резко изменится. Началась коллективизация. В деревне это была вторая революция. Но нам пришлось пережить немало страшных дней. Те годы были богаты пожарами, убийствами, преступлениями всякими. Кулаки сами, чтобы не доставалось колхозникам, жгли свои дома, сыпали в навозные ямы зерно, били скот, гноили мясо.

— Вон там, выше села,— показал доктор рукой на речку,— стояла двухэтажная мельница, а за ней разливался широкий пруд. Чудесное было место — рыбное, птица водилась. Мельница принадлежала Белоусову. Отцу того самого Белоусова... Человек этот на пятьдесят верст в округе людей в страхе держал. Боялись его железного характера так, как вероятно, только судьбы можно бояться. И вот сельсовет у этого человека вначале забрал за неуплату налогов дом, а потом мельницу. Дали ему, чтобы собраться для отъезда, суточный срок. Ночью загорелась мельница. Отстоять ее не могли. К утру прорвало плотину. Домов полсотни вода у нас

смыла и немало беды в соседних селах наделала. Позже выяснилось: Белоусов сам поджег мельницу. Первые, кто прибежал на пожар, пытались дверь мельницы открыть. Ну, где там! Белоусов крепко заперся. Так и сгорел с ней.

Наступили новые времена. Мне пришлось близко наблюдать, как начали работать колхозы, и я очень благодарен за это жизни.

Татаринцев вздохнул.

— Вот так и стал сельским жителем... Я, извольте видеть, увлекся тут одной работой,— доверительно сказал он.— Начал писать экономическую статью. Статья-то у меня вырастает в книжицу. Писательским талантом я не обладаю, но с цифрами обращаться умею. Я показываю, как меняются экономические, культурные и бытовые условия крестьянства. Вторая работа, по туберкулезу,— еще сложнее. Она меня и удерживает главным образом.

— Вы замечательный человек! — порывисто воскликнула Ольга Михайловна.— Столько сделали хорошего! Вас очень любят в селе.

Девушке хотелось обнять Татаринцева или хотя бы пожать ему руку, сказать какие-то особенные слова, которые растопили бы его сердце. Но вид его стал так строг, а глаза смотрели с такой холодной замкнутостью, что она подавила свой порыв, встала и пошла к дому.

Доктор остался один и закрыл глаза. Услышав хруст песка, чьи-то шаги, он открыл глаза и увидел Юрасова. Председатель колхоза весело шагал по дорожке, напевая.

— В шахматы будем играть? — спросил доктор.

— Можно.

— Пойдемте на веранду, здесь скоро будет жарко.

Они прошли на широкую веранду и сели за маленький круглый столик, закрытый от солнца тенью густых кустов сирени.

Юрасов бывал у доктора каждое воскресенье и засиживался допоздна, обедая и ужиная у него. Обычно они играли несколько партий в шахматы днем и вечером. Рядом с ними всегда была и Ольга Михайловна. Она была ласкова, внимательна с Юрасовым, и он чувствовал себя на седьмом небе от счастья, но иногда она начинала придирается к каждому его слову, безжалостно указывала на каждый неправильный оборот речи, на все неловкости, и он терялся.

Они сыграли несколько партий. Юрасов часто посматривал в сторону стеклянной открытой двери комнаты и, дожидаясь, пока доктор сделает свой ход, настороженно прислушивался.

Вздохнув и делая вид, что ничего не замечает, Татаринцев небрежно сказал:

— Сидит наша красавица сегодня за работой. Отчетное письмо пишет.

Юрасов смутился и, нагнувшись, стал сосредоточенно обдумывать свой ход.

Ольга Михайловна вышла только к обеду, в синем шелковом платье, с немного усталым лицом. Она приветливо поздоровалась с Юрасовым и стала следить за игрой. Лицо Юрасова посветлело, он стал играть осторожнее, а доктор не удержался и сказал:

— Ну, Юрасов, набирайтесь вдохновения. Добивайтесь победы.

Партия получилась ничья. Юрасов с досадой повалил фигуры.

— Вы меня, Юрий Николаевич, измором берете.

Обедали втроем, на веранде, весело болтая о пустяках. Доктор рассказал несколько забавных историй из своей практики, как в первые годы жизни в Ключах к нему приходили девушки и просили «приворотного» лекарства, как приходили жаловаться на Акулину с «черным глазом», которая хворь на детей напускала и молоко у коров портила.

К концу обеда во двор пришел письмоносец и вместе с пачкой газет и писем передал Ольге Михайловне почтовую посылку. Она недоуменно повертела в руках небольшой аккуратный ящик.

— Ничего не понимаю. Мама о посылках обычно предупреждает.

Юрасов помог ей вскрыть ящик. Ольга Михайловна вынула из посылки конфеты и письмо, лежавшее сверху.

— Угощайтесь,— предложила она конфеты и развернула письмо. Лицо ее внезапно вспыхнуло. Она вскочила и быстро засунула конфеты обратно в ящик. Из глаз ее готовы были брызнуть слезы. Она постояла с ящиком, не зная, что с ним сделать, стремительно повернулась и быстро ушла с веранды.

Доктор и Юрасов переглянулись. Юрасов хотел было пойти за ней, но Татаринцев удержал его.

— Подождите. Не надо ее трогать.

— Отчего она расстроилась?

— Не понимаю.

Ольга Михайловна вернулась к ним через полчаса с покрасневшими глазами, натянуто и смущенно улыбаясь.

— Позвольте вас оставить. Я пойду отдыхать,— сказал доктор, поднимаясь с места.

После обеда доктор, по заведенному обычаю, обязательно спал часа полтора и потом работал до двух-трех часов ночи, успевая много сделать и чувствуя себя бодро и легко. Но в дни отдыха он позволял себе ничего не делать.

После чаю и нескольких партий в шахматы Юрасов позвал Ольгу Михайловну и Татаринцева идти гулять в село. Но доктор от прогулки отказался.

Оттого, что над селом висела луна, а на столе горела лампа, нижние листья сиреневых кустов были зелеными, а верхние — черными, бархатными. Через светлую лунную дорожку сада перешла кошка, блеснула глазами и исчезла в густой тени дерева.

Доктор сидел за столом и мелким бисерным почерком вписывал поправки в свою экономическую работу. Книга казалась ему суховатой, лишенной аромата жизни. «Статистика, бухгалтерия,— недовольно морщился он,— и свежих-то мыслей нет». Он отказался бы от этой книги, но ему жаль было затраченного труда и хотелось обязательно запечатлеть для будущих поколений след жизни, которую ему пришлось наблюдать пятнадцать лет.

Раздались громкие голоса. Ольга Михайловна и Юрасов возвращались с прогулки. Луна уже ушла, в саду стало темно, деревья слились. Но небо было светлое,плыли волнистые, вытянувшиеся в одну линию, легкие облака.

Ольга Михайловна весело засмеялась, простилась с Юрасовым и прошла через веранду в свою комнату.

Юрасов ушел необычайно торопливо. Доктор окликнул его, но он не остановился и только крикнул:

— Спокойной ночи!

Из комнаты вышла Песковская.

— Мы ходили, ходили,— нараспев сказала она, бросаясь в кресло и вытягивая ноги,— страшно устали, а ночь такая хорошая, что и домой идти не хочется.

«Что у них произошло?» — подумал доктор и опять почувствовал знакомую боль. Что угодно он дал бы за возможность открыто ухаживать за любимой женщиной, говорить ей затаенные мысли, смело ловить ее взгляды и отвечать на них, не сдерживать желаний и не думать о том, что можешь быть смешным.

Она засмеялась.

— Вы знаете, я сегодня плакала.

— Я это знаю. Что вас расстроило?

— Это ваш приятель, Сунцов, прислал посылку. Какое он имел право присылать мне конфеты?

— Что же вы решили ему ответить?

— Ничего. Завтра все отправлю ему обратно.

5

Утром доктор получил из райздравотдела извещение за подписью бухгалтера, что «по решению президиума райисполкома, с июня прекращается дополнительное ежемесячное финансирование Ключевской больницы в сумме 3000 рублей».

Речь шла о деньгах, которые уже около трех лет Таринцев получал на стационар для туберкулезных больных.

«Несомненно, это его рук дело,— подумал доктор о Сунцове.— Этот трус побоялся даже свою подпись поставить».

Он внушал себе, что надо стать выше этой мелочной мести и что, если работникам райисполкома рассказать о том, какое значение имеет его практика лечения туберкулезных больных — они, вероятно, простые, очень хорошие люди дела, поймут свою ошибку и исправят ее. И все же ему не удавалось подавить в себе чувства обиды.

В этот день доктор чаще сердился на Пелагею Ильичну, с силой двигал стулом и раз даже крикнул ей:

— Говорите шопотом. Сколько раз вам напоминать надо. **Вы больных пугаете.**

В больницу заехал Юрасов. Он вошел в кабинет, как всегда оживленный.

— Соседи, «Яровой колос», на праздник нас зовут. В воскресенье десятилетие колхоза справляют. От нас делегация едет. Вас звали. Ольгу Михайловну захватим.

— Я очень занят и едва ли смогу принять это приглашение,— сердито ответил Татаринцев.

«В посредники, что ли, берет,— подумал он.— Зачем мне день себе портить. Прекрасно обойдутся без меня, третьего лишнего».

Но Юрасов так упрашивал его, что он согласился.

* * *

Юрасов заехал за ними рано утром.

Всю дорогу Ольга Михайловна дурачилась, была особенно ласкова с Юрасовым, училась править лошадей.

В колхоз они приехали в разгар праздника. В саду, под деревьями, стояли длинные, врытые в землю, столы. Девушки в ярких платьях, загорелые, крепкие, с лентами и цветами в волосах, мелькали между деревьями, встречали гостей и провожали их к столам, заставленным праздничной стряпней.

После завтрака гостей повели осматривать хозяйство колхоза — фермы, новые постройки в селе и звуковой кинотеатр. Им особенно гордились — это был, как-никак, первый звуковой кинотеатр в районе, построенный на колхозные средства. Юрасов был здесь своим человеком, многих знал, и его знали. Осматривая колхоз, он часто придирался и говорил, что они специально к празднику везде почистили и прибрали, а вообще в соревновании колхозов «Яровой колос» от соседей отстал.

Ольга Михайловна осматривала все с большим любопытством.

Доктор всюду ходил за ними. Он даже забыл о своей хромоте.

— Забывают вас соседи, забывают...— подогревал он Юрасова.

— Это пристрастно, Юрий Николаевич. В гостях всегда все лучше кажется. Мы к своему празднику тоже не хуже подготовимся.

На широком лугу, залитом солнцем, было в полном разгаре большое гуляние. Кооператоры удивили всех, когда выкатили огромные бочки с пивом. Оркестр немного врал, но ему прощали, гордясь, что вот свой духовой оркестр появился и не надо у соседей музыкантов занимать.

Подымая густую пыль, приближалась к месту гуляния легковая автомашина. Татаринцев увидел в ней Сунцова и хотел уйти. Но Сунцов уже вылезал, и доктор решил, что ему незачем избегать встречи.

— Тоже здесь? — улыбнулся ему Сунцов.

Он поздоровался с Ольгой Михайловной, она небрежно кивнула головой.

— Я ничего не мог сделать, Юрий Николаевич, — сказал Сунцов, обращаясь к доктору. — Я говорю об этих несчастных трех тысячах.

— Кто же может сделать? — иронически спросила Ольга Михайловна. — Ведь вы заведуете райздравотделом.

— Я уверен, эти деньги восстановят. Но если ты, Юрий Николаевич, сам лично обратишься в райисполком, это тоже окажет действие.

— Этого я делать не буду.

— Какие деньги, доктор? — спросил Юрасов.

— Больнице стали меньше отпускать денег, — неохотно ответил доктор.

— Не больнице, Юрий Николаевич, а туберкулезному отделению сократили дополнительные ассигнования, — поправил Сунцов.

— Это все равно.

— Нет, не все равно. Ты больничные деньги, пожалуйста, не трогай.

— Прекратим сейчас этот разговор, — сухо попросил доктор. — Я не за этим приехал сюда.

Когда стемнело, гулянье перешло в село. Доктор, Ольга Михайловна и Юрасов решили заночевать в колхозе, а рано утром выехать домой. Для ночлега мужчинам отвели сарай, набитый сеном.

Татаринцев одиноко ходил по селу. Он увидел Ольгу Михайловну с Сунцовым. Девушка сердито что-то говорила ему, а Сунцов слушал, улыбаясь с виноватым видом. Татаринцев свернул в сторону. На пути столкнулся с Юрасовым. У него было тревожное лицо.

— Вы Ольгу Михайловну видели?

— Она с Сунцовым гуляет, — жестко сказал доктор и показал, где он их встретил.

Юрасов торопливо пошел в ту сторону.

Доктор побыл еще некоторое время, следя за танцами, а затем, тяжело опираясь на палку, медленно пошел

к сараю, досадуя, что Сунцов все же испортил ему праздничное настроение.

Он старался не думать об Ольге Михайловне. Но это было сильнее его. Доктора тянуло на улицу, чтобы посмотреть, где они и что делают. Он даже скрипнул зубами, представив на миг, что Сунцов может обнимать ее в эту минуту. «Нет, нет, невозможно,— пробормотал он.— Она же видит, что это за человек».

Спать ему не хотелось, и он прислушивался к далеким девичьим голосам.

Тихо отворилась дверь сарая и вошел Юрасов.

— Вы здесь, Юрий Николаевич?

— Да.

— Одни?

— Один...

Юрасов закрыл дверь и лег, не сняв пиджака. Он молчал и только тяжело вздыхал.

Доктор понимал причину этих вздохов. Но сейчас он не жалел Юрасова. «Чепуха,— думал он.— Пусть пострадает».

Он стал вспоминать детство, свою первую детскую наивную любовь в школе. Эти воспоминания невольно вызвали в памяти тягостную историю большого горя из-за Сунцова.

— Хотите послушать одну историю с моралью? — сказал доктор.

— Слушаю,— отозвался Юрасов, и под ним зашуршало сено.

— В школе учатся два мальчика. Один сильный, здоровый, единственный ребенок в семье; второй мальчик унаследовал от родителей щедушное строение и постоянную хворь. Эти мальчики дружат, сидят на одной парте. И вот однажды на стол учительницы падает рыба кость. Учительница строго спрашивает:

— Кто бросил эту кость?

Толстый мальчик встает, показывает на своего товарища и говорит:

— Я видел, что это он бросил.

Худой мальчик говорит, что он не бросал, начинает плакать. В класс вызывается директор школы. Толстый мальчик упрямо стоит на своем. Решение учительского совета кратко: преступника за дурное поведение исключить из школы. Вот и конец истории. Мораль, извольте

видеть, сей истории такова: мальчики вырастают в мужчин, а маленькие подлости могут вырасти в большие.

— Я догадываюсь, о ком вы рассказываете.

— Очень рад вашей прозорливости.

Татаринцев повернулся на бок и закрыл глаза.

— Доктор! — тихо окликнул Юрасов.

Доктор не отозвался. Он, видимо, уже спал.

Юрасов повернулся на спину и лежал с открытыми глазами, наблюдая сквозь щели, как светлеет небо и на горизонте растет розовая полоска.

Ему стало так тягостно лежать в сарае, что он решил сейчас же запречь лошадь и ехать домой.

Он вскочил с постели и вышел на улицу. Легкий туман стлался над землей. Было очень тихо. Юрасов быстро пошел и, поворачивая за сарай, чуть не столкнулся с Ольгой Михайловной.

Оба остановились и посмотрели друг на друга. Ольге Михайловне не понравился испытующий, словно требующий ответа, взгляд Юрасова. Она отвернулась и пошла дальше.

— Скажите доктору, что я домой уехал, — сказал Юрасов и прислушался с замирающим сердцем.

— Хорошо, — беспечно ответила девушка. — Передам...

6

В следующее воскресенье Юрасов не пришел к доктору. Татаринцев ждал его целый день. Он сидел на веранде и передвигал по доске шахматы.

— Непохоже это на него, — говорил доктор, поглядывая на калитку.

Ольга Михайловна молчала, и доктор подозревал, что ей известна причина отсутствия его партнера.

Юрасов не пришел и во второе и в третье воскресенье. Ольга Михайловна наконец сказала:

— Куда это наш Юрасов прячется?

— Я подозреваю, что он на вас в обиде, — сказал доктор.

Она немного смутилась и пробормотала:

— Ему не за что на меня обижаться.

— Вы, молодежь, и без предлогов можете обидеться.

Дня через два Татаринцев пошел с Морозкиным осматривать дом для приезжих больных. Председатель

сельсовета только что вернулся из районного центра и рассказывал доктору, что им отпустили деньги на строительство новой школы.

— Ваша история закончилась,— сказал Морозкин.

— Какая история? — удивился доктор.

— Разве вы не знаете? Сунцов говорил со следователем...

— Да?..

— А вот и наш командир идет! — воскликнул Морозкин, увидев Юрасова.

Доктору хотелось узнать, чем закончился разговор Сунцова со следователем, но подошел Юрасов; при нем Татаринцев не хотел продолжать этот разговор.

— Что же это вы дорогу к нам забыли? — спросил доктор.

— Некогда, Юрий Николаевич. К уборке готовимся.

— Ой, отговариваетесь. Соседка моя о вас спрашивала.

Юрасов посмотрел на доктора и неуверенно пообещал:

— Может, в это воскресенье зайду.

— Вот и славно.

Они подошли к дому. Плотники уже кончили ремонт. В комнатах стояли железные кровати, на кухне блеснул медный самовар.

— Хорошо будет? — спросил Морозкин.

— Теперь заживем по-новому,— ответил доктор, довольный, что дом готов и теперь будет место, где смогут хорошо расположиться его приезжие больные.

Когда они расставались, Татаринцев опять напомнил Юрасову:

— Смотрите, не обманывайте, ждем в воскресенье.

Юрасов не обманул и в воскресенье пришел к доктору.

— Ольга Михайловна! — крикнул Татаринцев,— Степан Трофимович пришел.

Она не отозвалась.

Они сели играть в шахматы.

— Деньги вам так и не отпускают? — спросил во время игры Юрасов.

— Не отпускают,— ответил доктор и поднял голову.— А почему, собственно, вас это интересует?

— Вы, доктор, действуете неправильно. Ваша работа всему народу нужна. Поднимаете на ноги тяжелоболь-

ных. Вам мешают в этом, а вы молчите. Пусть мне кто-нибудь попробовал бы помешать. На вашем месте я бы им такой тарарам устроил! Главное, деньги-то пустяковые.

— Небольшие.

— Вот видите... Значит, эти деньги всегда у райисполкома найдутся. Для нашего колхоза и то эти деньги невелики. Вам обязательно надо самому в район ехать.

— Это лишнее. Постараюсь обойтись.

— Вот, обойтись... А зачем? Ведь это все Сунцов устроил. Не давайте ему спуску.

— Вот вы отвлеклись и допустили промах,— перевел разговор доктор.

С книжкой в руках на веранду вышла Ольга Михайловна. Она кивнула головой Юрасову и прошла к креслу.

Юрасов вспыхнул и хотел ей что-то сказать, но сдержался.

Доктор ничего не заметил и, усмехаясь, ведя наступление, приговаривал:

— Вот как мы вас сейчас разделаем.

Партия закончилась неудачно для Юрасова. Доктор встал и увидел Песковскую.

— Вот он явился, наш забывчивый друг.

Ольга Михайловна продолжала читать.

— Вы меня видеть хотели? — спросил Юрасов, подходя к ней.

— Я? — спросила она. — Нет, это доктор по вас скучал. Ему некого было в шахматы обыгрывать,— принужденно засмеялась она.

Юрасов вопросительно посмотрел на доктора и отошел от Ольги Михайловны. Татаринцев нахмурил брови, встал и, зачем-то взяв палку, сильно стукнул ею по полу.

— Я для вас книжки приготовил,— обратился он к Юрасову и увел его к себе в комнату.

— Вы на нее не обращайтесь, — сказал он. — Они в этом возрасте все немного сумасшедшие.

Когда Юрасов и доктор опять вышли на веранду, Ольга Михайловна гуляла по саду, не обращая на них никакого внимания.

На лице Юрасова было написано такое страдание, что доктору стало его жаль.

— Может быть, сыграем? — спросил он.

— Нет. Мне уходить пора. Сегодня днем бригадиры собираются.

Татаринцев не стал его задерживать.

Ольга Михайловна поднялась на веранду.

— Я должен вам сказать,— встал перед ней с палкой в руке доктор,— что так себя не ведут. Эти приемы кокетства надо было оставить в городе. Он простой человек, и вы не имеете права так себя с ним держать.

— В чем я виновата?

— Вы знаете. Он ушел.

— Но он к вам приходил, а не ко мне.

— Что вы притворяетесь! — закричал доктор.— Вы отлично знаете, для кого он приходит.

— Вы ошибаетесь, Юрий Николаевич,— холодно ответила она.

И вдруг умоляющим голосом, вся покраснев, схватив его за руку, она сказала:

— Больше ничего не говорите. Прошу вас!..

7

На другой день Татаринцева и Песковскую пригласили на заседание сельсовета.

Доктор опоздал к началу заседания. В комнате было очень тесно и жарко. У двери сидел бригадир Окунев.

— Садитесь, доктор,— сказал он; вставая.

Посреди комнаты стояла высокая статная женщина. Властное лицо ее показалось доктору знакомым.

— Скажи, как раньше жили? — обратился к женщине Юрасов.

— Жили, как люди живут. Работали, себя кормили.

— Что пустое спрашивать,— сказал Морозкин.— Что, мы ее первый раз видим?

— Забывать стали,— крикнул Юрасов.

— Ну, ладно, — отмахнулся Морозкин. — Спрашивайте.

— Хорошо жили? — опять спросил Юрасов.

— Всяко приходилось.

— Шесть лошадей держали?

— Семья была большая, делились все. Для детей держали.

— Где второй сын?

— Отбывает.

— За что отбывает?

— Отбывает и все,— резко ответила женщина, теребя платок.

— Тебя сельсовет спрашивает,— внушительно и с достоинством сказал Морозкин.

Все ждали ее ответа.

— Машинку швейную у соседки купили,— нехотя проговорила женщина.— А она вдруг в суд подала, что мы украли ее. И донесла, что краденое держим.

— На много осудили?

— Третий год отбывает. На пять лет.

— Ясное дело,— сказал Морозкин.— Кто говорить хочет?

— Мне бы уж только часть дома получить,— униженно попросила женщина.

— Теперь помолчи,— остановил ее Морозкин.

Женщина продолжала стоять посреди комнаты.

В заднем ряду поднялся пожилой мужчина.

— Тяжелое дело надо решить,— сказал он.— Дом-то колхозу отдали. Две семьи в нем живут. Этот дом Белоусовы бросили, а сельсовет национализации не провел. И выходит, что они наследники этого имущества и могут его от нас потребовать.

«А, это Белоусовы»,— вспомнил вдруг доктор.

— Мне весь дом и не нужно,— сказала женщина.— Пусть в одной половине живут.

Говорили еще несколько человек. Никто твердо не знал, как следовало поступить правильно. Один высказал мысль, что дом отдавать не надо, а пусть колхоз заплатит Белоусовой за него деньгами. Юрасов крикнул:

— Ишь, какой легкий на колхозные деньги.

Поднялся Баклушин и сердито сказал:

— Удивительно мне. Словно всем полбвой глаза засыпало. Кто дом у вас обратно просит? Жена Белоусова. Забыли, как он мельницу сжег? Убежали они тогда из села, и дом не нужен был. Семейная-то кровь во всех сказалась. Один сынок третий год за кражи отбывает, а второй за смерть человека скоро отбывать пойдет. А с домом-то что они сделали, помните? Полы порубили, крыльцо поломали, окна выбили. Одно только — подпалить не успели. А теперь отдавай его обратно? Эх, вы!

Старик хотел еще что-то сказать, но в комнате под-

нялся шум. Баклушин тяжело сел и блестящими злыми глазами смотрел на Белоусову.

— Верно! — крикнул бригадир Окунев. — В голод все село за фунт хлеба песок им на станцию возило.

Женщина все еще стояла посреди комнаты. Лицо ее то краснело, то бледнело.

Поднялся Морозкин. Постоял, подумал, потрогал усы и сказал:

— Знаете, почему она пришла в село? Многие бывшие кулаки решили, что для них старое время возвращается. Они получили все народные права. Но по глупости Белоусова сочла, что теперь она даже свое кулацкое имущество может обратно получить. Могу уверить, что общественную собственность мы и дальше будем крепить. Наши законы тверды. Этого дома ей не получить. Заявление Белоусовой могли и не разбирать. Сельсовет национализировал ее дом и передал его в собственность колхозу. Я хотел только, чтобы все ее увидели и поняли еще раз, что дорога назад для таких людей закрыта. А теперь приступим ко второму вопросу. Доктор находится здесь. Даю ему слово.

Женщина хотела что-то сказать Морозкину, но он отвернулся, и она быстро вышла из комнаты.

— Я, собственно, не знаю, почему мне дают слово, — сказал доктор, поднимаясь.

— Юрасов! — позвал Морозкин. — Ты говорил с доктором?

— Не успел, — смутился Юрасов.

— Что же ты молчал? — возмутился Морозкин. — Мы, доктор, хотим узнать о работе больницы. Можете сейчас рассказать?

— Я попробую, — ответил доктор, доставая записную книжку и вешая палку на спинку стула.

Доктор начал говорить. Плавному рассказу мешала мысль, как ему поступить: рассказать или нет про смерть Белоусовой. Так и не решив, он вдруг сказал:

— В больнице умерла Белоусова. В связи с различными толками о причинах смерти я должен внести ясность.

— Это лишнее, — прервал его Морозкин. — Вы, доктор, короче рассказывайте.

— Да, — поддержал Окунев. — Завтра народу рано вставать.

Татаринцев быстро рассказал о состоянии больницы, сообщил, что скоро в село приедут еще два врача — зубной и хирург, что пора подумать о расширении помещения больницы.

— О работе по туберкулезу тоже надо рассказать,— попросил Морозкин.

— Мне десяти минут не хватит.

— Можно и больше.

Доктор опять встал.

— Мне очень трудно говорить. Борьба с туберкулезом меня особенно интересует. Необходимо сказать, что туберкулез — распространенная и страшная болезнь. Неверно мнение, что туберкулез городская болезнь. В старой деревне туберкулез был так же распространен, как и среди городских жителей.

Чем дальше рассказывал доктор, тем с большим интересом все его слушали. Он вспоминал студенческие годы, свои прежние занятия в клинике профессора Орлова, первые свои наблюдения над больными. Он только опустил подробности личной жизни.

— Я веду многолетнее наблюдение за каждым больным, прописываю им определенный режим жизни. И, как видите, кое-чего добился.

Доктор кончил говорить, сел и оглядел всех, беспокоясь, что наскучил своей длинной речью.

— Доктор не сказал о средствах,— напомнил Юрасов.— Райисполком три тысячи на эту работу давал, а теперь отказал.

Опять поднялся Баклушин. Он рассмешил всех.

— Доктора мы уважаем,— сказал Баклушин.— Он многим мешает в землю ложиться. Хороший доктор!.. Все нам завидуют, что у нас такой доктор живет. Вот у меня слепая кишка была. Сейчас нет ее. Доктор ее так ловко разглядел, что я даже не заметил, как он ее вырезал. А райисполкому надо сказать: нехорошо он поступил. На малые деньги доктор большое дело ведет. Хочет сразу болезнь убить. О колхозных делах доктор тоже не забывает. Сколько он о клубе долбил. И сам о плане хлопотал, все лето от клуба не отходил. Построили мы его быстро, дешево и хорошо. Гордимся клубом. Соседи с него планы снимают. Доктор о селе все время думает и много нам помогает. И мы о нем тоже должны позаботиться. Нехорошо у нас вышло. Его денег лишили, а ни-

кто в сельсовете об этом не знает. Это тебе, Морозкин, упрек.

Татаринцев сидел, согнувшись, поставив локти на колени и опустив на руки голову. Он слушал, как выступавшие колхозники с жаром говорили об его работе, ругали Морозкина и райисполком, что они плохо помогают ему, вспоминали многие случаи удачных операций, быстрой помощи больным.

Татаринцев вспомнил разговор с Юрасовым. Да, он неправильно вел себя. Не дрался за свое дело. Он считал, что это его личное дело, и вот теперь эти люди собирались драться за него. Они считали его дело своим. А он-то полагал, что они нуждаются в нем только в минуты собственных страданий. И доктор думал, что нельзя жить так, как жил он, что мало еще и плохо он знает этих людей, что с ними он мог бы многое сделать быстрее и лучше. Он никогда не шел к ним за помощью, полагаясь только на свои силы, а вот они сами приходили к нему, замечали его затруднения и устраняли их.

Люди все еще говорили о нем, забыв, что время уже позднее и что скоро начнется ранний колхозный день.

Говорил Юрасов:

— Ты, Морозкин, этот вопрос на райисполкоме поставь. Тут, кажется, Сунцов воду сильно мутит. И в облисполком надо написать. А пока ты все это будешь делать, доктору надо помочь. Мы на правлении колхоза говорили и решили доктору дать эти деньги, чтобы он туберкулезного отделения не закрывал.

Собрание кончилось, и все торопливо стали выходить из комнаты. Ольга Михайловна на ходу шепнула доктору:

— Они замечательно говорили. Люди вас ценят. Как я рада за вас!

Татаринцев задержался в комнате и подошел к Юрасову.

— Вы почему перестали к нам ходить?

— Работы много, Юрий Николаевич.

— Проводите меня.

На улице доктор крикнул:

— Ольга Михайловна!

Она не отозвалась.

— Может быть, еще не вышла? — сказал доктор. — Подождем ее.

Но Песковской не было.

У своего дома доктор взял под руку Юрасова и сказал:

— Давайте вот сейчас и зайдем. Выпьем чаю, по-толкуем.

— Нет, вставать рано.

— Какой вы упрямый! — громко сказал доктор, увидев на веранде Ольгу Михайловну. — Может быть, вам у нас скучно?

— Вы напрасно так думаете, — пробормотал Юрасов.

Ольга Михайловна, заметив их, вдруг быстро вошла в дом. Доктор все еще уговаривал Юрасова посидеть, но уже не так настойчиво и громко.

8

Татаринцев долго сидел один на веранде. Он слышал, как опять вышла Ольга Михайловна, но не повернулся к ней, сердясь, что она поставила его в ложное положение перед человеком, которого он уважает. Несколько раз девушка выходила и снова входила на веранду. По звону посуды доктор знал, что она готовит чай. Ему казалось, что она намеренно так гремит стаканами, желая показать, что ничего не замечает. «Притворства, как у всякой женщины, достаточно», — думал доктор.

— Садитесь пить чай, — позвала его Ольга Михайловна.

Он ничего не ответил и не шевельнулся.

Наконец поднялся и стал медленно ходить из угла в угол. Ольга Михайловна сидела боком к доктору. Он видел ее сосредоточенное и погрустневшее лицо.

— Не понимаю вас, — заговорил доктор. — Всегда были с ним приветливы, почему же сейчас так грубо подчеркиваете нежелание его видеть? Что вы имеете против него? Он вас любит. Вы это знаете! Не понимаю...

— Зачем вы толкаете меня к нему? — тихо, с упреком произнесла Ольга Михайловна.

Доктор резко остановился и повернулся к девушке. Она сидела, полузакрыв глаза и положив руки на грудь, как будто ей было душно. «Что с ней?» — подумал он.

— Я? — переспросил Татаринцев.

Она порывисто развела руками и с каким-то отчаянием, задыхающимся голосом сказала:

— Вы обвиняете меня в кокетстве, бесчеловечности, сухости. А сами заставляете страдать другого человека.

Она повернула к нему лицо, и его поразили ее большие молящие глаза. Казалось, что она сейчас разрыдается. Доктор почувствовал, что у него кружится голова. «Может ли это быть?» — подумал он.

— Я отказываюсь понимать...

— Вот видите...

— Что вы хотите сказать?

Он подошел сзади и наклонился к девушке. Ольга Михайловна стремительно поднялась и быстро прошла в комнаты.

Татаринцев долго стоял у перил веранды и затем медленно пошел к себе. Первое, что бросилось ему в глаза, было письмо, лежавшее на письменном столе, уголком под тяжелой стеклянной чернильницей. На конверте было написано: «Юрию Николаевичу (лично)».

«Я не могу больше молчать,— писала Ольга Михайловна.— С каждым днем мне становится все тяжелее. Вы держитесь со мной, как с дочерью, беспокоитесь о моем здоровье и даже подыскиваете мужа...

Никогда мне не было так больно, как в эти дни.

Вы мне очень много дали за эти полгода. Вы научили меня разбираться в людях, любить их, показали, как надо жить. Теперь я по-другому смотрю на себя, на свою работу. Какая маленькая и глупая девчонка я была до сих пор! Я хочу быть во всем вам помощницей, быть вашим другом, все делать вместе. И мне хочется жить здесь долго-долго и чтобы о нашей больнице прошла слава по всем краям.

Письмо это было написано давно, но я все надеялась: наберусь смелости... Я не решалась все сказать вслух, боялась, а вдруг вы рассмеетесь, потреплете меня по плечу и скажете: «Ай, ай, что задумали! Как это вам в голову взбрело?» И спать пошлете, напомнив, что уже поздно.

Вот и все... И нечего мне вам больше сказать.

Когда прочтете письмо, то порвите его и **выбросьте**».

Татаринцев дочитал письмо и медленно вложил его в конверт. Затем быстро вышел в коридор и потянул к себе за ручку дверь комнаты Песковской. Дверь не откры-

лась. Он прислушался, не решаясь постучать, и вернулся на веранду.

Он хотел видеть ее немедленно, убедиться, что все это правда, что сокровенное его желание исполняется и настает конец недомолвкам и страданиям. Сколько боли он принес ей! Но теперь он постарается вознаградить ее за все эти дни, постарается быть ей другом. Она не заметит разницы возрастов.

Отсюда было видно окно ее комнаты. Освещенное изнутри, оно было закрыто плотной занавеской во всю ширину.

— Ольга Михайловна! — громко позвал Татаринцев.
Молчание.

Он опять позвал ее и долго еще стоял, надеясь услышать ее голос, заметить какое-нибудь движение за занавеской. Он все ждал, что вот дрогнет занавеска, рука девушки приподымет ее за угол и он увидит ее лицо. Ничего! Все так же ровно горела лампа, спокойна была занавеска, и ни одного звука не доносилось из форточки.

Он вернулся в комнату, перечел письмо и долго сидел неподвижно.

«А ведь действительно, она ровесница моей дочери», — думал Татаринцев, и то, что, казалось, уже было решено, вдруг стало невозможным. Какое счастье он может ей дать? Имеет ли право он воспользоваться ее незнанием жизни, отсутствием опыта? Он опустил голову, охваченный противоречивыми мыслями, не в силах найти правильный выход. Так хотелось отбросить все трезвые мысли и отдаться хоть на короткое время счастью, испытать полноту жизни. И что считать, сколько оно будет продолжаться, зачем заглядывать так далеко...

Под утро он вышел на веранду. Стаканы с желтым холодным чаем выделялись на белой скатерти.

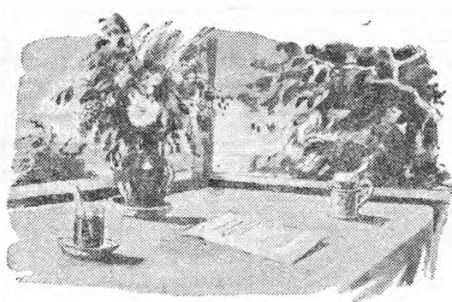
Он подошел к краю веранды и остановился у ступеней лестницы. Клубы тумана, скрывая стволы деревьев, ползли по саду. Острый утренний холодок проникал сквозь рубашку. Утро обещало жаркий день.

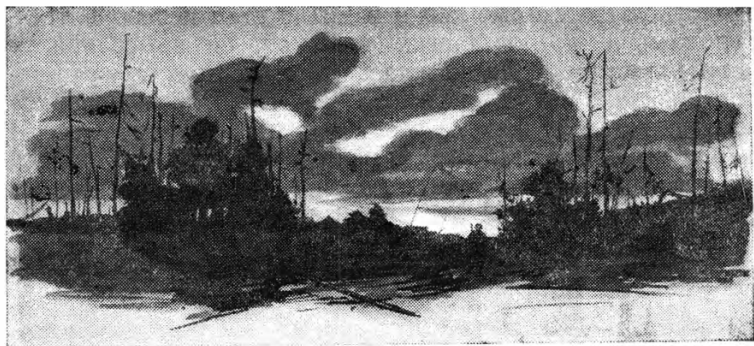
Тихо вставало солнце. Позолотели макушки берез, пронесся легкий порыв ветра, качнул деревья, и вдруг все кудрявые вершины засверкали тысячью росинок. Деревья с каждой минутой светлели и словно одевались в новый наряд. Туман расступался, уползал из сада, открывая чистые дали.

Доктор следил, как наступает утро и с туманом, который таял на глазах, уходили все тревожные сомнения этой ночи и зрело ясное и спокойное решение.

— Нет, нет,— почти вслух сказал доктор.— Она ошиблась! Все это пройдет: она разберется и поймет меня...— И он тихо пошел по саду, в тот угол его, где была калитка на околицу села: оттуда уже доносились голоса колхозников, собиравшихся на работу.

1939 г.





КРАСНЫЙ КАМЕНЬ

1

В глухую ночную пору в деревню вошел боец-пехотинец Иван Мохнашин. Он отстал от своих и долго скитался один по трущобным псковским лесам. Осторожно постучав в окно крайнего дома, он попросился на ночлег. Его долго спрашивали — кто, откуда, — наконец открыли дверь.

Мохнашин остановился на пороге избы и, вглядываясь в темноту, спросил:

— Немцев в деревне нет?

— Не бойся, солдат, — сердито отозвался старушечий голос. — Далеко ушли немцы. А ты куда путь держишь?

— До своих, — ответил Иван.

— Быстро же ты идешь! — язвительно сказала старуха. — Сколько ваших через деревню прошло!.. Думали — все, а вот и еще один явился.

— Ты, мамаша, дала бы мне что-нибудь на ноги. Сопрели у меня портянки, месяц сапог не снимал.

Она громыхнула крышкой сундука и бросила солдатку что-то под ноги. Нагнувшись, Иван в темноте наша-

рил рукой шерстяные носки и молча стал переобуваться. Голодный и злой от долгих скитаний, он не собирался уступать старухе. Он не ждал, что его встретят, как родного, желанного человека. Нё за что! Но и попреки тоже не хотел слушать.

Он не собирался кончать войну, не думал ни о плене, ни о возвращении в родной дом. Он, верный присяге, нес с собой винтовку, две запасных обоймы еще хранились в под сумке.

— Голодный? — спросила старуха.

— Да уж не сытый!

— Слазь-ка в погребицу, достань солдату молока,— сказала она старику.

И пока тот лазил, старуха молча в темноте собирала на стол, потом повелительно позвала:

— Иди к столу! Только огня не вздувай. В темноте теперь живем, а тут увидят, неровен час, кто пришел,— головы нам не сносить.

А когда Мохнашин наелся и в сытой дреме отвалился к стене, она сказала:

— Веди его, Ефим, в баню! Все дальше от чужих глаз.

Захватив во дворе по снопу, старик и Мохнашин прошли тропкой вниз, мимо кустов, к бане. Где-то рядом, невидимая, плескалась река.

В маленькой баньке было тепло, пахло мятой и въевшимся в бревна запахом распаренного березового листа.

— Как тебя звать, папаша? — спросил Мохнашин тихого и молчаливого хозяина.

— Ефим Яковлевич,— ответил тот.— А тебя?

— Иван.

— Ты, Иван, не сердись на старуху. Крута Наталья на язык, а в делах мягкая. Не суди ее строго,— ну что баба в войне понимает!

— Хозяйка...— неопределенно сказал Иван, растрouшивая по полку солому.

— Табаку у тебя, наверное, нет? — сочувственно спросил Ефим Яковлевич, видимо, не решившийся в избе предложить ему закурить.— На, у меня и бумага есть.

Они свернули по цыгарке, старик высек о кремень искру, и они закурили. Огоньки, разгоравшиеся при за-тяжках, освещали на миг темное скуластое лицо Ивана и черную бороду старика.

Старику хотелось смягчить неласковый прием, поговорить с солдатом о войне, отвести в беседе душевную тоску. Он не судил его так строго, как жена: знал по прошлой войне, что бывают поражения и отступления, на себе испытал. Старуха по-бабьи несет иногда несусветное, а не знает, как тяжело бывает на душе у солдата, отбившегося от части, от товарищей, от командира.

— Ты не горюй,— сказал он.— Доберешься до своих. А мать-Россия велика и сильна, не одолеть ее фашисту. Пришел он сюда, тут его в могиле и закопаем.

— Я не горюю,— сонно ответил Иван.— Я еще фашистов бить буду.

— Вот, вот... Ну, спи,— с сожалением, что не удался душевный разговор, сказал старик, затапывая ногой цыгарку,— а завтра я тебя лесочком мимо немцев проведу, а там — свободная дорога, только шагай...

— Как ваша деревня называется?

— Красный Камень.

— Красный Камень? — удивился Мохнашин.— Так и мою деревню зовут.

— Сам дальний?

— Дальний. С Урала.

Старик ушел. Мохнашин, задвинув палку в скобу двери вместо запора, загнал патрон в ствол винтовки, улегся на соломе, накрылся шинелью, закрыл глаза, но уснуть не мог.

Воспоминания не давали ему заснуть. От таинственной сени опочечких лесов, от болот с одуряющим запахом гонобобели, от озер, затерявшихся в камышах,— пристанищ диких уток — цепочка воспоминаний тянулась к последнему горячему бою на реке, когда они потеряли веселого молодого командира — капитана Мартынова, убитого осколком мины, к тихой смерти друга Васи Кунщик, простреленного автоматной очередью в живот...

Сон вдруг навалился на него душной тяжестью.

Кто-то прошел мимо Ивана,— он услышал скрип половиц, вскочил и схватился за винтовку. Старуха стояла возле него. «Вот, ведьма, как она вошла?» — подумал он, вспоминая, что, заложив палку, он еще попробовал: туго ли держится дверь.

— Крепко спишь, солдат,— сказала старуха.

Скупой свет хмурого дня едва проникал сквозь маленькое мутное оконце. Но можно было разглядеть, что

старухе лет под семьдесят, все лицо ее изрезано глубокими морщинами. В руке она держала узелок.

Иван молча смотрел на нее. «Ох, злая»,— подумал он, заметив темные и недобрые глаза.

— Исхудал же ты,— сказала она.— Щетиной, как еж, зарос.

Мохнашин невольно провел ладонью по запавшим колючим щекам.

Старуха, развязав узелок, выложила на лавку мясо, хлеб, яйца и поставила кринку молока.

— Поешь тут, из бани не ходи. Как затемнеет, старик придет и проводит тебя.

Она еще повозилась в бане, переставила деревянные шайки, поправила кирпич в каменке и ушла. Мохнашин подошел к двери. «Как старуха вошла сюда?» Секрет был прост: оконце открывалось, если повернуть в сторону гвоздь; рука легко дотягивалась до скобы в двери... На таком запоре, видно, всегда и держали баню.

В оконце виднелась река с крутыми обвалившимися берегами, а на той стороне, по горе, поднимался березовый понурый лесок, иссеченный дождями. Темная, вянущая трава блестела. Скучный, хмурый осенний день...

Иван сел на лавку и, хоть горек хлеб, поданный неласковой рукой, все же поел и стал ждать вечера.

Пошел дождь. Иван сидел у окна, по которому сбегали водяные струйки, чистил винтовку и слушал, не идет ли кто.

Стемнело, когда он услышал шаги в сенцах.

— Пойдем,— сказал Ефим Яковлевич и сунул в руки Мохнашина мешок.— Наталья на дорогу припас собрала.

Затянув поверх шинели ремень, взяв в левую руку винтовку, Иван поправил за плечами мешок и вышел вслед за стариком на улицу. Скользкой тропкой они прошли по берегу реки, по шатким мосткам перебрались на другую сторону и скоро свернули в лес. Темень была такая, что Иван задевал плечами деревья, оступался в ямины с водой и понять не мог, как это его проводник еще находит дорогу.

Часа три шли лесом.

— Теперь недалеко,— сказал старик.— Тут, за леском, плотина будет, а за ней и лежит твоя дорога. Сведу я тебя к леснику, а он уже дальше путь укажет. Деньков через пять будешь у своих.

— Спасибо тебе, отец,— растроганно сказал Иван.— Такое большое спасибо... Обидно было бы пропасть в этих лесах. До армии доберусь!.. Одна у меня теперь мысль: бить фашистов, пощады им не давать.

— Возьми табачку на дорогу! — старик сунул ему в руки кисет с табаком.— Бейте его, да скорее к нам возвращайтесь. Тяжело в фашистской неволе жить. Старосту у нас в деревне немцы поставили. Был у нас тут до колхозов мельник Ивакин. Самого-то услали на север, а немцы где-то его сына откопали. Ходит он теперь по деревне, над народом издевки творит, новыми порядками грозит. Девоч в Германию увозят — на фабрики работать. Ивакин девочек переписывает, говорит, что всех до последней мы гитлеровцам должны отдать!..

— Придем, отец, тогда уж не сдобровать Ивакину,— пообещал Мохнашин.

Лес кончился, и они вышли на дорогу. Потянуло речной сыростью. Грязь чавкала под ногами, дождь струился по лицу.

Старик вдруг потянул Ивана за руку и опустился на землю.

— Никак кто-то на плотине стоит,— испуганно шепнул он.— Неужто немцы?

Он долго лежал, всматриваясь и вслушиваясь.

— Немец ходит, в каске. Не выйдет, парень, надо назад подаваться.

— Один? — шопотом спросил Иван.

— Не поймешь. Кажись, один.

— Держи! — решившись на что-то, произнес Иван и сунул в руки старика винтовку.— Жди меня тут,— и он пополз по дороге.

Руки его окунались в жидкую грязь, волочились тяжелые полы набухшей шинели, промокли шаровары. Но Мохнашин полз и полз, иногда останавливаясь и вглядываясь в темноту. Зорки стариковские глаза, если так далеко заметили гитлеровского часового.

Возле плотины, справа, темнела будочка, но немцу что-то не сиделось в ней, и он похаживал взад и вперед по дороге, напевая. Мохнашин лежал в канаве, наполненной водой, и выжидал. Финский нож он переложил в карман шинели и старательно вытер правую руку, чтобы рукоять не скользнула в ладони.

Мохнашин бесшумно приподнялся, сделал несколько

шагов и присел. Когда часовой дошел до него и повернулся, Мохнашин вскочил и схватил его за шею, но не удержался на ногах и вместе с ним повалился в грязь, не разжимая рук. Немец хрипел и дергался, автомат, висевший на шее, мешал ему. Мохнашин и сам задышался, словно и его кто-то держал за горло...

В этот короткий миг немец успел крикнуть.

Его услышали. Где-то близко хлопнула дверь, мелькнула узкая полоса света. Мохнашин сорвал с часового автомат и побежал по дороге. Сзади уже раздавался топот ног и начиналась беспорядочная стрельба.

— Сюда! Сюда! — приглушенно крикнул старик.

Мохнашин свернул с дороги на голос Ефима Яковлевича и, спотыкаясь о кочки, побежал по полю.

Сзади гремели выстрелы. Оглянувшись Мохнашин увидел мелькающие огоньки на плотине и возле дома. Это гитлеровцы светили карманными фонариками.

Старик с Иваном достигли леса, когда над плотиной взвилась в небо осветительная ракета, заливая зеленым светом пустое поле с редкими кустами, плотину и мельницу. Ракета погасла, и они ходко пошли лесом, продираясь сквозь мокрые кусты, прислушиваясь к выстрелам.

— Убил фашиста, отец, и автомат унес, — восторженно сказал Иван. Он и сам не верил, что все кончилось так быстро и счастливо.

— Как бы нам, парень, до света домой успеть, — тревожно сказал Ефим Яковлевич.

Он казался испуганным и все оглядывался и прислушивался — нет ли погони? Но выстрелы уже смолкли, ничего не было слышно, только дождь шумел и шумел над лесом, да деревья сонно поскрипывали...

Рассвет застал их возле деревни. Только вошли они в баню, как появилась старуха. Видимо, она не спала всю ночь, дожидаясь Ефима Яковлевича.

— Немцы пост на плотине поставили, — виновато сообщил Ефим Яковлевич.

— Ой, Ефим, наделает он нам беды!..

— Сегодня другой дорогой поведу, — вздохнув, сказал старик.

Они ушли. Мохнашин вытащил из-под лавки тяжелый вороненый автомат, ласково похлопал его по прикладу, пересчитал патроны в обойме. Тридцать два патрона! С этим оружием он чувствовал себя сильнее. Достав из

мешка припасы старухи, закусил и опять взял в руки автомат.

«А ловко все это вышло»,— подумал он и засмеялся.

Надо было что-то сделать с дверью. Мохнашин осмотрелся, нашел палку, приставил ее к окну, а шайку привалил к ней боком. Теперь, если кто вздумает открыть оконце, отодвинет палку, она повалит со скамьи шайку. Сонным его не возьмешь!

Разбудили Мохнашина женские крики. Он вскочил с полка и подбежал к оконцу, но отсюда видны были только река и раскачиваемый ветром лесок. А вопли и плач над деревней не стихали. И звуки эти, словно ножом, резали солдатское сердце. Скинув палку и открыв дверь, Мохнашин прошел в досчатые сени и припал лицом к широкой щели. На улице женские голоса были еще слышнее, да и ветер дул со стороны деревни. А сквозь щель он видел лишь соломенные крыши изб, перекопанные огороды, где, как клубки спутанных веревок, валялись картофельные плети. Потом раздался сухой длинный треск автомата, и сразу наступила тишина.

В сенцах Мохнашина и застал Ефим Яковлевич, когда в темноте пришел в баньку.

— Что у вас там было?

— Беда приходила,— тихо произнес старик.— Говорил я тебе, что наших девок забирают. Вот и увезли их. Ему трудно было говорить, голос его прерывался.

— Зачем же дали? Отбить не могли?

— Эх, парень, против винтовок и автоматов что делаешь? Собирайся-ка! Дальняя у нас дорога будет!

— Надо бы с хозяйкой проститься.

— Покойницу обмывает. Убили они Дарьку, за дочь вступилась. Мужика дома нет, придет с войны, а у него ни жены, ни дочери. Да и еще трое малолеток осталось. Как вырастут?

Опять они двинулись в путь, обогнули дерезню и долго шли мягкой полевой дорогой. Небо вызвездило, коромысло Большой Медведицы над головой указывало им путь на восток, туда, где сейчас гремели бои с врагом. Что-то вдруг зашумело, и они свернули, притаясь в кустах.

Шум быстро нарастал. Невидимые самолеты гудели в вышине. Рев их был ровный, грозный.

— Свои, свои летят! — взволнованно шепнул Мохнашину старик.

Они смотрели в звездное небо, стараясь увидеть хоть тень самолетов, жадно вслушиваясь в удаляющийся рокот моторов. Затем они услышали отдаленный грохот разрывов, увидели всполохи огня и бледное, в полнеба, зарево.

— Это они по станции Чихачево бьют, — произнес старик. — По немецким поездам метят, сказывают — уж много вагонов разбили. И как это они дорогу находят, по звездам, что ли?

— У них, папаша, приборы такие, что и до фашистской столицы доведут. Эх, отец, повоюем мы еще, поплачут фашисты от войны, которую сами затеяли!..

— Ну-ка помолчи... Немцы едут, — сказал старик.

Теперь и Мохнашин услышал побрякивание железа, скрип колес и чужую речь. Обоз двигался навстречу широкой полевой дорогой. В темноте замелькали огоньки папирос.

И то, что враги так спокойно едут по русской земле, покуривая и болтая, наполнило лютой злобой сердце Мохнашина. Он властно взял за локоть старика и потащил его в сторону бугра над дорогой.

— Ложись, — прошептал он.

— Ты что задумал, парень? — прикрикнул было старик.

— Молчи, — уже резко приказал Мохнашин. — Стрелять будем. Вот тебе винтовка. Стреляй по моей команде.

— Оставь, парень!

— Один стрелять буду, коли так, а не пропущу врага!

Обоз был совсем близко. Огоньки папирос плыли в темноте прямо на них. Мохнашин лежал рядом со стариком, крепко прижав к плечу автомат. Он не видел, но чувствовал, что и старик держит на изготове винтовку, напряженно следя за огоньками.

— Огонь! — тихо скомандовал Мохнашин и нажал спусковой крючок.

Короткий треск автомата на миг оглушил его. И тут же ударил винтовочный выстрел. Мохнашин опять пустил короткую очередь, и опять ударил выстрел. Он видел, как огонек папиросы описал крутую дугу, слышал пере-

пуганные крики солдат, ругань, команду и бил по этим голосам,— и казалось ему, что вся широкая равнина наполнилась грохотом выстрелов.

Фашисты еще не сделали ни одного выстрела, когда автомат сухо щелкнул: кончились в обойме патроны. Старик и Мохнашин отбежали к кустам, и тут только первые пули просвистели у них над головами. Пригнувшись, они побежали быстрее. Позади них трещало дерево, храпели лошади. Немцы палили длинными очередями, рассыпая веером трассирующие пули, но старик и Мохнашин благополучно уходили все дальше и дальше.

— Ну, парень, рискован ты! — одобрил Ефим Яковлевич.

— Стукнули ладно! Спасибо, Ефим Яковлевич, за поддержку! В другой раз так не поедут!

— И опять ты у нас остался...

— Съест нас с тобой хозяйка.

2

Ефим Яковлевич сидел на лавке, щурил глаза, посмеивался важно в черную бороду и рассказывал:

— Вот, парень, дело какое ночью было. Едет, рассказывают, фашистский обоз, везет шнапс — водку свою, муку, крупу. Едут они этак спокойно, сказки рассказывают, здешние места хвалят — хороший, дескать, мирный народ здесь живет. А тут и начали в них стрелять, по людям, по лошадям. Били их, били... А когда засветало, увидели немцы, что из тех людей никого уже нет, а у них лошади разбежались, телеги поломаны, водка растеклась, мука с солью смешалась. Хоть и неизвестно, сколько убитых и раненых, а только на трех телегах их повезли.

— Кто же это их так? — усмехаясь, спросил Иван.

— Народ и спрашивает: кто? Видать, говорят, немалый отряд приходил, что так храбро на большой обоз напали. На деревне сегодня праздник. Уже партизан в гости ждут.

Третий день жил Мохнашин в бане и первый раз на свету близко, видел хозяина. Невысокого роста, худощавый, в черной бороде и на голове почти не было заметно седины. Темное лицо с раскосым разрезом глаз напоминало иконы древнего русского письма. Странно было, что

он позволяет хозяйке верховодить домом и даже как будто побаивается ее.

— Теперь фашистам не страшно,— вздохнув, сказал Иван.— Нет больше патронов у этих людей!

Почесав бороду, Ефим Яковлевич посмотрел в окно и нерешительно сказал:

— Немножко, может, и найдется патронов...

— Ефим Яковлевич! — взмолился Мохнашин.— Достань, сколько-нибудь. Ну, куда я безоружный пойду?

— Не знаю, может, их уж и нет. Ведь много вашего брата через деревню прошло. Давали им патроны, пока были, безотказно.

— Найдутся,— ты попроси, походи!

— А и бедовый ты парень! Встретишь чужаков — опять бить будешь?

— Буду, отец, буду! Ни одного мимо не пропущу,— сказал Иван со злостью, сверкнув глазами.— У меня с ними счет большой. Мы их сюда не звали и не просили. Да я...

— Вот он! — сказала, войдя, Наталья.— Дружка себе нашел для беседы! — Поджав тонкие губы, она недобро смотрела на старика черными вороньими глазами.— Ищу, ищу... Что же, тебе и делов других нет? Ночью ходишь, днем спишь. Ему что? — она показала на Ивана.— А тебе надо дом конопатить.

— Отконопачусь,— пообещал старик.

Мохнашину вдруг захотелось встать, взять винтовку и уйти, что бы там ни было впереди, какая бы беда ни стерегла его. Но он не встал, не взял винтовки, не шевельнулся, только сказал:

— Потерпи еще одну ночь. Уйду я сегодня.

— Это все я виноват,— сказал Ефим Яковлевич.— Уж такой плохой проводник!

Она пошла к дверям, но остановилась и сказала Мохнашину:

— Несет от тебя! Вся баня пропахла! Сними-ка белье, стираю... К ночи высохнет. А вечером баню истопим, суббота сегодня...

Старуха вышла. Мохнашин встал, потянулся, с хрустом расправляя плечи.

— Уходить надо,— задумчиво сказал он.— Загостился.

— Не со зла она это.

— Все равно надо уходить.

Ефим Яковлевич принес свои серые брюки, синюю рубашку, поясок с кистями. Мохнашин переоделся в чистое белье и стал ждать вечера.

За эти два дня он немного отдохнул, и злое чувство одиночества стало не таким острым. Ему захотелось поскорее покинуть эту баньку, чтобы не видеть старухи, которая так откровенно тяготилась его присутствием.

Она опять появилась в бане и молча, не глядя на Мохнашина, наносила дров, затопила печь и натаскала в большой котел воды. Она мылась первая, а Мохнашин просидел это время в сенцах. В других дворах, наверное, тоже топили бани, и людские голоса слышались совсем рядом. Иван держался настороже,— а вдруг кто-нибудь заглянет сюда по-соседски?

Потом пришел Ефим Яковлевич, и вдвоем они парились до изнеможения, выбегая несколько раз в сенцы, чтобы окатиться холодной водой. Никогда не мылся с таким наслаждением Мохнашин, как в этот день.

— Наталья тебя в избу зовет,— сказал Ефим Яковлевич, когда они уже одевались.— Что глядишь? Идем!

Было уже темно, поздно в дорогу, да и отдых после бани был очень соблазнителен.

Окна в избе прикрыли овчинами и дерюжками. На столе стояла маленькая коптилка. У старухи было странно помолодевшее лицо.

— Куда теперь идти,— милостиво сказала она.— Поужинай с нами, ночуй сегодня в избе.

Эта неожиданная доброта удивила и тронула Мохнашина. «Не такая уж она злая»,— думал он ночью, лежа на мягком тюфяке и вслушиваясь в громкое дыхание старика. От этой мирной ночи в чужом доме, где пахло хлебом и сухими травами, где трещал сверчок и мышь скреблась под полом, а во дворе громко вздыхала корова,— повеяло таким родным и милым, что он чуть не заплакал, вспомнив все мытарства и беды последнего времени, свой родной и далекий дом в уральской стороне.

«Как можно было бы жить, если бы не война»,— думал он. Но не было у него и мысли о возвращении домой. О войне, а не о мире думал и в эту ночь Иван Мохнашин.

Днем, когда старуха вышла из избы, Ефим Яковлевич хитро усмехнулся и достал из кармана винтовочные патроны.

— Сгодятся, парень?

А ночью они опять пошли искать лазейку через вражеские патрули и заставы. Ночь была звездная, молчаливая. Мохнашина не покидала уверенность, что и сегодня что-то случится у них и утром они, может быть, снова будут в Красном Камне.

Поэтому он даже не удивился, когда сквозь деревья блеснул неподвижный яркий электрический свет. Прокравшись, они залегли в кустах. На дороге стояли две грузовые машины, радиаторами друг к другу. Остановка, видимо, произошла из-за порчи мотора, свет фар был направлен на раскрытый мотор, и двое солдат возились с ним. Иван чувствовал себя очень спокойно. После тех ночных столкновений предстоящий бой казался нетрудным.

Неподвижный, мертвый луч фар освещал только переднюю часть машины. Все тонуло во мраке. Солдаты двигались не спеша, один из них куда-то ушел, но скоро вернулся. Подошли еще двое. Это уже осложняло дело!

Целясь, Мохнашин ждал, когда все четверо сгрудятся у мотора. В бою почти всегда запоминается только одно мгновенье, когда человек еще готовится, а потом уже какая-то иная сила руководит им. Мохнашин видел, как первый солдат повалился на мотор, второй упал на землю, затем попытался встать, ухватившись рукой за крыло: Мохнашин выстрелил по нему еще раз, и он уже не поднялся. Но если бы Мохнашина спросили, сколько раз он стрелял, он не сумел бы ответить.

Перезаряжая на ходу винтовку, Мохнашин перебежал на другую сторону, чтобы определить количество врагов и место, где они сидят. Стреляли двое из-за машин. Он передвинулся, дал несколько выстрелов и опять перебежал. Фашисты отходили, отстреливаясь, двигаясь вдоль дороги, потом побежали.

Станным показалось, что вдруг стало тихо. Фашист, уткнувшийся головой в мотор, так и застыл, у колеса валялся второй.

В кузове лежали тяжелые ящики. Мохнашин прикладом разбил один, запустил туда руку и нащупал патро-

ны. Он стал набивать ими карманы. Во второй машине лежали такие же ящики.

— Быстро огоньку, Ефим Яковлевич,—приказал Мохнашин.

Он искал баки, нашел их, разбил прикладом, пригоршнями набирал бензин и поливал машину.

— Огня! — нетерпеливо крикнул он.

Ефим Яковлевич высекал из кремня огонь, но руки у него тряслись, трут не загорался. Мохнашин вырвал у него кремень и трут, высек огонь, поднес его к бензину: жаркое пламя пыхнуло ему в лицо, загорелись руки и шинель. Иван, сбив пламя, побежал от машины.

В лесу, отойдя подальше, они остановились. Машины горели ярко, далеко освещая лес. Светлые языки пламени трепыхались над деревьями. Потом начали рваться патроны, и рой искр поднялся над пожарищем.

— Вот так делают! — озорно сказал Иван.— Домой, что ли?

В бане Иван снял шинель, повесил ее на гвоздик, достал обойму автомата и попробовал патроны: они пришлись впору.

— Вот и с боеприпасами! — громко сказал он.

Старик изумленно смотрел на него.

— Лихач!

...Так и установилось, что каждую ночь они выходили, молодой и старый, на лесные и полевые дороги, прокрадывались оврагами, пробирались берегами рек к мостам, обстреливали обозы и патрули. Они ни о чем не улавливались и не уговаривались. И старику все казалось, что он и в самом деле старается вывести Мохнашина на дорогу к своим.

Звездные сентябрьские ночи становились все длиннее и темнее, и два человека все дальше и дальше уходили от Красного Камня, все на новых и новых дорогах стерегли фашистов, неожиданно обстреливали их. Густые леса, овраги и кустарники помогали им легко уходить от огня, от преследователей. Да и трудно ли уйти двоим в глухую полночную пору!

По всей округе говорили о храбрости партизан, которые на всех дорогах бьют наглых оккупантов.

Старуха догадывалась, почему так загостился у них Иван Мохнашин, но виду не подавала. Она, правда, теперь его не осуждала, но и не стала с ним ласковее.

Встречаясь, они молчали. «В беду он нас втянет»,— думала она, жалея старика, который заметно похудел за это время,— нелегко ему давались эти ночные походы. Днем Ефим Яковлевич старался пораньше выйти на улицу, чтобы соседи чего-нибудь не заподозрили, и с усердием конопатил избу. Работа, правда, подвигалась медленно, но старуха помалкивала. А Мохнашину эти ночные походы, казалось, пошли на пользу. Щеки его округлились, в голосе появилась звучность, румянец играл на лице.

Однажды Ефим Яковлевич спустился к нему в баню и тревожно сказал:

— Фашисты вон что о нас пишут,— и протянул розовую листовку, в которой комендант предупреждал население окрестных деревень, что будет жестоко карать за помощь и укрывательство партизан.

— Солдат везде нагнали,— сообщил старик.— Здорово напуганы! По лесам с облавами ходят, партизанские отряды ищут.— Он засмеялся: то, что двое людей так могли напугать врагов, забавляло его.— А партизаны-то всего-навсего...— сказал он.

— Зато какие партизаны! Большого отряда стоят,— ответил с гордостью Мохнашин.

Как-то под вечер старик вошел в баню и сказал:

— Гостя привел к тебе, Иван.

Невысокий, коренастый человек в пиджаке и брюках, заправленных в сбитые сапоги, стоял за его спиной. Человек выдвинулся, оглядел внимательными быстрыми глазами Мохнашина и, лукаво улыбувшись, сказал:

— Здравствуйте, товарищ командир партизанского отряда.

Взгляд у него был открытый и располагающий к себе. Но Мохнашин молчал, встревоженный болтливостью старика.

— Племянник мой,— сказал Ефим Яковлевич.— Ты его не бойся.

— Нет уж, не племянник,— поправил его незнакомец,— председатель здешнего районного Совета Николай Иванович Горюнов. А теперь, Ефим Яковлевич, дай-ка нам вдвоем поговорить.

И когда они остались одни, он, все еще улыбаясь, сказал:

— В жмурки нам играть не стоит. Я — командир партизанской группы, но настоящей. Слышал о ваших делах. Вот не ожидал такого геройства от старика.

Они разговорились, и Мохнашин рассказал Горюнову, как он отбил от своей части, как шел, питаясь грибами и ягодами, плутал лесами и вот — застрял здесь.

— Так вам со стариком долго не продержаться, — строго заметил Горюнов. — Уходитесь он скоро. Да и зима на носу, надо вам о своей судьбе подумать. Мне кадровые военные нужны — хотите в наш отряд? Мы действуем отсюда в шестидесяти километрах.

Мохнашин подумал.

— Не хочется из этих мест уходить, — задумчиво сказал он. — И такая война помогает врага бить. Ладно, иду в отряд.

Ночью он с Горюновым ушел из Красного Камня.

3

Мохнашин и Горюнов добирались до партизанского отряда трое суток. Ночевали они в деревнях, и Ивана Мохнашина поразило, сколько везде знакомых у председателя Совета. Не таясь, люди приходили в избу, где они останавливались, чтобы узнать о новостях. Горюнов вытаскивал маленькую, в лист ученической тетради, газетку, отпечатанную в лесной типографии, и, гордо усмехаясь, говорил:

— А зачем рассказывать? Вот газетку прочти, в ней обо всех новостях написано. Неважная, правда, на вид, но читать можно. Извини, что другой дать не могу. Последняя осталась.

Кое-кому он говорил что-то по секрету, другим давал всякие хозяйственные поручения и всех просил прятать в ямы побольше зерна на зиму, собирать все оружие, какое попадется.

— Видать, немалая война тут затевается, — сказал ему Мохнашин.

— Давно идет. Народ воюет! А такую силу никакая армия не победит. Видел листовки о партизанах? Беспокойным врага крепко. Они тут против нас дивизию держат. Ты — солдат, и сам знаешь, какое это большое дело — дивизия.

— А я думал, что листовка-то про нас с Ефимом Яковлевичем,— простодушно признался Мохнашин.

Горюнов весело рассмеялся.

— Ну уж, это вы со стариком лишку приписали. А работа ваша все же заметна была. Только не думали, что вас там двое.

— Как же вы про нас узнали?

— Плохим бы я был председателем, если бы не знал, что у меня в районе делается. На следок ваш мы давно напали. Видели, что кто-то, кроме нас, тут воюет и все вокруг Красного Камня петляет. Подвернулось у меня дело в этих местах, вот я и расспросил, что о вас известно.

Вечером, когда они шли по лесу, Мохнашин вдруг очень ясно услышал, что где-то недалеко поют. Высокий голос вел знакомую с детства песню, и мужские голоса дружно подхватывали припев. Мохнашин так давно не слышал, чтобы люди пели, что остановился и растерянно посмотрел на Горюнова.

— Что вы?

— Да ведь поют!

— А чего же не петь, коли поется? Вот мы и пришли.

Штаб отряда помещался в низкой и тесной избушке, служившей когда-то пристанищем для охотников. В комнате было двое — пожилой чернобородый человек, что-то писавший за маленьким столом, и худощавый подросток, растапливавший железную печурку.

— Привел героя, комиссар,— сказал Горюнов, здороваясь с чернобородым.— Думал, там десяток разыскать, а их всего двое оказалось. Ну, а как у вас?

Пока командир и комиссар делились новостями, Мохнашин сидел на лавке у стены. Подросток одним ухом прислушивался к разговору и время от времени кидал на Мохнашина любопытный взгляд. Потом Горюнов поднялся и ушел куда-то по своим делам.

Комиссар встал из-за стола.

— Погуляй малость, Боря,— приказал он подростку.

Тот вышел. Комиссар подошел к Мохнашину и резко спросил, словно желая смутить его:

— Дезертир?

— Я сюда не каяться пришел,— оскорбленно сказал Мохнашин.— Ответ давать в армии буду.

— Ты не ерпенься,— отвечай. Мы тут всё — совет-

ская власть и армия. Почему в тылу остался?

— Пройти не смог.

— Не смог или не хотел?

— Как тут уйдешь, фашисты кругом. Какой дорогой не пойдём, все на них нарываемся. Ну, били их, само собой...

— Кем в армии был?

— Помкомвзвода.

— А в плену сидел?

— Нет.

— Партизанить хочешь?

— За этим и пришел.

— А мы тебе поможем в армию вернуться,— испытующе сказал комиссар.

— Еще лучше! — обрадованно откликнулся Мохнашин.

— Так и сделаем. Сейчас тебя проводят в роту, а утром приходи сюда.— Комиссар открыл дверь и крикнул: — Боря! Проводи его к Приходько! Скажи, чтобы накормили.

На улице Боря остановился и, заглядывая в глаза Мохнашину, с любопытством спросил:

— Это, значит, вы там действовали? А мы гадали, что за новые партизаны появились. Вы теперь совсем у нас останетесь?

— Еще не знаю.

— Оставляйтесь. Люди у нас хорошие, смелые, боевые,— рассказывал он увлеченно.— Вот сейчас увидите Приходько. Знаете, какой это человек! Два вражеских состава под откос пустил. Очень хорошо понимает взрывное дело. В Кривом Рогу бурщиком работал.

Тропинкой они прошли в лес, уже окутанный вечерней темнотой. Кое-где между деревьями светились огни маленьких костров. Кто-то окликнул Борю и спросил, куда он идет.

— Нового товарища к Приходько провожаю,— ответил Боря.— Я сейчас к вам, дядя Степан, приду. Я для вас книжку новую нашёл.

Приходько оказался степенным пожилым человеком. Он сидел у костра и, разгребая угли, вытаскивал печеную картошку. Боря присел рядом на корточки и сказал, кого привел. Приходько внимательно посмотрел на Мохнашина.

— Чем же накормить? Плохо у нас сегодня, только картошка и хлеб.

— А мне ничего и не нужно,— сказал Мохнашин.— Теперь всякая пища хороша, только бы жевалась.

Боре не хотелось уходить от них, и он все пытался заговорить с Мохнашиным. Но тот, все еще не успокоившись от обиды после разговора с комиссаром, неохотно отвечал на вопросы и, съев несколько картошек, притворно зевнул и сказал:

— Так спать хочется... Неделю не спал.

— С дороги,— отозвался Приходько.

Боря поднялся, попрощался и исчез в темноте.

Ночевал Мохнашин в шалашике вдвоем с Приходько. Он не сразу заснул, опять раздумавшись о своей судьбе. Стоило ли ему идти к партизанам, не лучше ли было попытаться самому перейти линию фронта? А то ведь так получается, что его вроде как беглого доставят в какую-нибудь воинскую часть, а там пойдут расспросы и допросы, почему и как остался, где так долго бродил...

Приходько, заметив, что он не спит, спросил:

— Ты не из третьей ли армии?

— Оттуда. А что?

— Выходит, мы с тобой по армии земляки. Ну, не тужи! Быть в партизанах — это все равно, что в армии служить. А ты теперь и не думай, чтобы фронт перейти. Фашисты дальше Старой Руссы продвинуться не могут, и столько у них там теперь войск, что и зайцу проскочить невозможно.

— А кто знает, что я в партизанах? Вот попаду в армию, начнут спрашивать, где был, что делал.

— А тебе что — рассказать нечего? Если ты перед собой честен, то и никакой суд не страшен. Ведь и я, вроде тебя, пристал к партизанам и знаю, что клятву свою военную не нарушил. А вот ежели человек перед самим собой сподличает, то тут никакой суд ему оправдания не найдет.

— Неизвестно, надолго ли она, эта война,— вздыхая, произнес Мохнашин.

— Ох, кажется, надолго. Много у гитлеровцев силы. Долго нам Гитлеру хребет ломать придется. Долго, земляк!..

— Не нравится мне здесь,— сказал Мохнашин.— Комиссар крепко меня остерегается.

— А это ты напрасно. Он — человек хороший. А остерегаться приходится. Вот пришел ты, человек никому не известный, неведомый. Может, ты от смерти бежишь, а может, смерть к нам за собой ведешь. А он за каждого человека и за все дело в ответе. Ты подумай, что мы тут делаем, какую войну ведем. Дивизия против нас стоит и ничего поделаться не может. На железной дороге каждую ночь поезда под откос валяются. А ты обижаешься! Понимать надо...

Рано утром Мохнашин пошел в штаб. Часовой сказал, что комиссар велел ему обождать. Мохнашин присел на ступеньку. Мимо него то и дело проходили люди. Подъехал молодой парень, высокий, с лихим чубом из-под кубанки, с маузером на поясе, лихо осадил жеребца у избы и, проходя мимо часового, бросил:

— Здорово!

— Здравствуй, Саша! — ответил часовой.

Из избы вышел Боря. Увидев Мохнашина, улыбнулся ему, как старому знакомому, и гордо сказал:

— В разведку ухожу.

Из избы крикнули:

— Мохнашин!

Он вошел в избу. Комиссар и командир отряда сидели за столом перед развернутой картой. Саша, стоя возле стола, отставив ногу, говорил:

— Все можно сделать в самом лучшем виде. Гарнизон небольшой, обложим — никто не проскочит, врасплох возьмем.

Он замолчал, оглядывая всех веселыми глазами.

— Ну, солдат, — сказал Мохнашину комиссар, — отложим временно твое возвращение в армию. Будешь у нас служить. Сегодня вот с ним и в дело пойдешь.

Так началась настоящая партизанская жизнь Ивана Мохнашина.

4

Налет на вражеский гарнизон был намечен на час ночи.

Командир партизанского отряда Горюнов и комиссар сидели в том самом лесочке, который были видны из окна бани Ефима Яковлевича, и ждали начала атаки. Ночь выдалась черная, тихая, холодная. Комиссар осторожно

посветил фонариком на часы, они показывали десять минут второго.

— Почему не начинают? — сказал он.

— Может, ушли фашисты из деревни, — ответил Горунов.

Всякий раз, когда начало боя задерживалось, командирам казалось, что врагов в деревне уже нет. Тишина была глубокой и мирной, — не верилось, что через несколько минут может начаться бой и будут убитые и раненые.

— Надо послать связного. Узнать, почему Мохнашин не начинает, — предложил комиссар.

— Подождем...

Было уже четверть второго. Просроченные пятнадцать минут казались вечностью.

— Придется, видимо, послать связного, — решил Горунов и поднялся. Но как раз в эту минуту за рекой, в центре деревни, раздался сильный разрыв противотанковой гранаты.

— Начали! — вскрикнул комиссар.

Тотчас и на других концах деревни загремели гранаты, раздались первые пулеметные очереди. Ночной налет начался дружно, хорошо.

В проулке, где залег с бойцами Мохнашин, бил вражеский пулемет. Гитлеровцы ничего не видели в темноте и вели обстрел по площади. Трассирующие пули стелились над огородами.

За соседней избой слышались крики, стрельба. Там завязалась рукопашная. На минуту пулемет умолк. Когда он заговорил снова, то Мохнашин уже был у стенки сарая, кинул в сторону пулеметчиков вторую гранату и упал на землю. Осколки просвистели над ним, а Мохнашина словно что-то кольнуло в ногу.

Все село наполнилось выстрелами, частыми разрывами гранат. Вспыхнул пожар. Стали видны перебегающие от дома к дому фашисты. Мохнашин вел по ним стрельбу из автомата. Загорелся еще один дом, на улице стало светло. На правом краю деревни все настойчивее и настойчивее били пулеметы. «Неужели наши не ворвались?» — со страхом подумал Мохнашин.

— За мной! — крикнул он, вставая во весь рост. И тотчас по ним открыли стрельбу из пулемета, установленного на крыше. Но в эту минуту на крыше

разорвалась граната, и языки пламени побежали по соломе.

На краю деревни в небо взвились красная и зеленая ракеты. Мохнашин увидел большую группу фашистов, перебежавших дорогу. Он опять побежал, прихрамывая, и увидел, как трое один за другим упали, остальные подняли руки. В деревне уже появились партизаны, слышался треск горящего дерева.

Партизаны захватили Красный Камень.

Все было кончено. Громко причитали женщины, плакали перепуганные дети. У горящих домов появились люди с ведрами.

Мохнашин шел по деревне, отбитой у врага, направляясь к дому Ефима Яковлевича.

Он столкнулся с Горюновым.

— Что хромаешь, командир? — весело спросил он Мохнашина.

И тут только Мохнашин почувствовал боль в ноге.

— Осколком задело, — ответил он.

— Сильно?

— Чепуха.

Мохнашин торопливо пошел дальше. Ему не терпелось скорее встретиться со стариками.

Мохнашин увидел памятный колодец и в недоумении огляделся. Здесь же стоял дом Ефима Яковлевича! Вдруг он все понял. Отсвет пламени освещал кучу черных бревен и печную высокую трубу. От дома Ефима Яковлевича осталась груда углей и кирпича.

Стало так больно ноге, что Мохнашин с трудом дошел до крыльца ближайшего дома, снял сапог, полный крови.

К Мохнашину подошла женщина.

— Зайди в избу, сынок, — пригласила она. — Избавили вы нас, слава богу!

— Дай-ка чем-нибудь ногу перевязать. Видишь — ранило меня.

Она побежала в избу и вернулась с полотенцем. Перетягивая ногу и слушая, как женщина благодарит его, он сказал:

— Тут дом Ефима Яковлевича стоял?

— Тут, сынок, тут. Сожгли его, окаянные. наших солдат он у себя хранил. Хороший был человек, царство ему небесное. Расстреляли его фашисты!..

— А жена его?

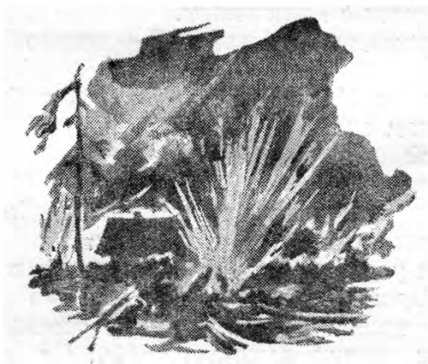
— Наталья?

И вдруг он услышал, как сзади назвали его имя. Мохнашин обернулся и увидел старуху. Она стояла на крыльце, опираясь на перила, и слезы текли по запавшим морщинистым щекам.

— Иван! Иван пришел! Говорила я — придет он...

Старуха припала к нему на грудь, доверчиво обвив его шею тонкими руками, и он почувствовал ее обжигающие слезы на своем лице.

1942 г.





ДАЛЬНИЙ ПОСТ

Дождь к полудню перешел в ливень. Все ущелье затянуло темносерыми тучами. Прямые струи ливня смывали глину и мелкие камни, густые пенистые потоки стремительно мчались к вздувшейся, сердито ворчавшей реке. Туман закрывал далекие цветущие сады альпийских предгорий.

Завернувшись в плащпалатку, старший сержант Лухманцев неподвижно сидел на камне. Темная зелень плащпалатки сливалась с листвой кустов орешников и густых папоротников. «Ох, уж эти Австрийские Альпы», — сердито думал старший сержант, поживаясь от сырости и чувствуя, как немеют от неподвижного сидения ноги.

По трехлетнему опыту жизни в этих горах Лухманцев знал, что непогода могла продержаться долго — неделю-две. Это было самое трудное время на заставе. Ненастными днями обычно старались воспользоваться для незаконного перехода демаркационной линии, разделявшей советскую и американскую зоны оккупации Австрии. Посты на это время удваивались.

В тумане дождя и облаков как будто мелькнула человеческая фигура. Лухманцев напряг зрение. Не ошиб-

ся ли он? Нет, вот опять показался и скрылся за камнем человек. Лухманцев чуть пошевелился, чтобы расправить онемевшие руки и ноги, и передвинул автомат к коленям. По тропинке к тоннелю торопливо шел человек, хватаясь руками за кусты и камни, оступаясь и падая.

Он шел прямо на часового, слившегося с кустами, и Лухманцев приготовился перехватить его.

Когда между ними осталось несколько шагов и стало слышно тяжелое дыхание нарушителя границы, Лухманцев поднялся во весь рост, вскинул автомат и приказал:

— Стой! — и по-немецки: — Хальт!

Человек пошатнулся, но во-время оперся о камень правой рукой и пальцами левой быстро протер залитые водой выпуклые стекла очков.

— Друг! — пылко и жалобно произнес он по-русски. — Я иду к вам. Проводите меня к вашему командиру. Пожалуйста!

Лухманцев с удивлением смотрел на него, не похожего на тех, кого они обычно задерживали при попытках нелегального перехода границы зон. Нарушителю было около шестидесяти лет. На запавших щеках пробивалась седая щетина, взъерошенные густые брови нависали над воспаленно блестящими глазами. Он был без шляпы, в потрепанном и испачканном глиной костюме. Крахмальный грязный воротничок обтягивал худую шею, черный шелковый галстук скрутился в жгут. Руки были в садах.

Обычно задержанные упрашивали часовых отпустить их, предлагали деньги, золото, вещи. Бывали, но реже, молчаливые.

Этот же человек, казалось, радовался тому, что его задержали.

— Отведите меня к вашему командиру, — еще раз попросил задержанный. — Меня преследуют американские солдаты, и я очень устал.

— Лаврентьев! — позвал Лухманцев своего подчаска, сидевшего неподалеку в кустах. — Отведи на заставу.

Скользя по крутой тропинке, упираясь каблуками сапог в размокшую глину, Лаврентьев подошел к ним.

Неизвестный спокойно ждал, все также опираясь на камень и тяжело дыша. Он провел рукой по лицу, размазывая грязь, и, вдруг улыбнувшись Лухманцеву, сказал:

— Спасибо, русский товарищ! — и пошел впереди

солдата, пошатываясь, тяжело ступая, словно вкладывая в каждый шаг последние силы.

Лухманцев следил за ними до тех пор, пока дождь не скрыл их, опять закутался в плащпалатку и опустился на камень. Еще никто из задержанных не вызывал в нем такого любопытства, как этот человек. Кто это мог быть? Почему он бежал от американских солдат? Где научился так хорошо говорить по-русски?

Дождь еще продолжался, когда часа два спустя Лухманцев сидел в светлой столовой заставы и обедал.

Застава помещалась в небольшом охотничьем домике графского поместья, брошенного владельцем незадолго до прихода советских войск. Густо разросшийся плющ лепился по наружной стене. Внутри, под низкими сводчатыми потолками, поддерживаемыми почерневшими от времени дубовыми балками, на стенах висели рога — охотничьи трофеи графа. Окна были забраны стальными витыми решетками. Перед самым домом рос большой каштан, выкинувший зеленые шандалы еще не распустившихся цветов.

На улице перед домом затрещал мотоциклет, и кто-то громко крикнул:

— Почту привезли!

Лухманцев отодвинул от себя тарелку, всгаль из-за стола и торопливо направился в комнату, куда уже шли толпой за почтальоном все свободные от дежурства пограничники.

Почтальон, бросив в руки солдат туго набитый брезентовый мешок, стаскивая с себя дождевик, рассказывал:

— Как река поднялась!.. Насилу перебрался. Теперь в батальон не попасть.

Мешок был уже развязан.

— Лухманцеву! — прочитал почтальон.

Старший сержант взял письмо и посмотрел на обратный адрес: письмо было из Сибири от брата-тракториста. Он отошел в сторону и вскрыл письмо.

Брат писал, что у них, в Кулундинской степи, уже сошел снег и все готовятся к выезду в поле. Письмо из Сибири в Австрийские Альпы шло двенадцать дней, и Лухманцев, подняв глаза и посмотрев на светлую зелень резных листьев каштана и на пузырившиеся лужи, подумал, что сейчас, наверное, брат уже живет в степи. В во-

ображении перед ним встала бескрайняя золотисто-бурая, под весенним солнцем, степь, светлоголубое небо над нею, синеватый дымок ползущих по степи тракторов, похожих издали на жуков, коробочки вагончиков шумного полевого стана.

— Что пишут? — спросил Лаврентьев, тоже получивший письмо.

— Батьку председателем сельсовета избрали, — улыбнувшись, ответил Лухманцев. — Пятьдесят восемь лет ему, а он на войне побывал, две медали заслужил, и дома ему спокойно не живется.

И почему-то он вспомнил старика, задержанного им несколько часов назад.

— А где этот задержанный? — спросил он.

— Сейчас опять к Шакурскому отвели.

— Лейтенанту два письма, — объявил солдат, разбравший письма. — Кто отнесет?

— Давай я, — вызвался Лухманцев. Ему захотелось еще раз посмотреть на задержанного им человека.

Он взял письма, прошел по коридору и открыл дверь в приемный зал начальника заставы лейтенанта Шакурского.

Лейтенант посмотрел на солдата. Лухманцев показал ему письма, и Шакурский качнул головой, чтобы он обождал тут.

Возле камина, в котором, потрескивая, горели дрова, спиной к Лухманцеву, на низеньком табурете сидел, устало опустив плечи, задержанный. На нем был чей-то чужой, не по росту, костюм. Озноб сотрясал его узкие плечи.

— Я сидел во многих лагерях, — рассказывал он глуховатым старческим голосом. — Освенцим, Бельзен, Майданек, Маутхаузен... Вам известны названия этих смертных лагерей? Я встречался с вашими товарищами... — Он помолчал. — Это были самые сильные люди, которых я знал в моей жизни. Они учили меня стойкости. Я видел, что ваш простой солдат был сильнее всех своих тюремщиков. Ни один из русских не боялся смерти.

— У вас есть доказательства, что вы были в гитлеровских концлагерях? — спросил Шакурский.

— С собой только одно. — Человек протянул худую руку, на которой синели вздутые вены, и отогнул край рукава пиджака. — Вот номер, полученный в первом ла-

гере. Эта татуировка — номер на всю жизнь. Под этим номером меня и перевозили из лагеря в лагерь. Имя я утратил.

Шакурский взглянул на руку с татуировкой.

— Кто может подтвердить вашу личность? — опять задал он вопрос.

— Профессора Штейнгартена знают в Вене. Нацисты преследовали меня как антифашиста. В тридцать восьмом году, когда они пришли в Австрию, они лишили меня кафедры в университете. Я — специалист по тюркским языкам. В сорок первом году мне предложили составить словарь-разговорник для солдат горных егерских дивизий, предназначенных для похода на Кавказ. За отказ я был арестован и осужден на восемь лет концентрационного лагеря. Об этом писали венские газеты.

Он говорил медленно, словно читал книгу и вдумывался в чужую судьбу.

Шакурский ничем не выдавал своего отношения к рассказу Штейнгартена. За три года службы на демаркационной линии он повидал много разных людей, переходивших границу, и привык не доверять своему первому впечатлению. Штейнгартена не обижала сухость советского офицера. Очевидно, он понимал, что так и должно быть.

— Вы вновь подтверждаете, что были осуждены американским военным судом?

— Да, подтверждаю. Они обвинили меня в том, что я веду антиамериканскую пропаганду и являюсь чуть ли не платным агентом русских коммунистов. А при аресте у меня нашли книги советских писателей, Ленина и Маркса на немецком языке, антифашистские немецкие издания и мои статьи. В них я, действительно, был антиамериканцем. Дружба с вами, по мнению американцев, сейчас преступление.

— Почему вас, австрийского подданного, судил американский военный суд?

— Наши вчерашние нацисты и люди, близкие им по духу, предпочитают пока убирать неугодных им людей американскими руками.

— Хорошо, — сказал Шакурский. — Все будет проверено. Я вынужден из-за разлива реки задержать вас у себя на заставе. Но это, очевидно, не больше, как на два-три дня.

— Я прошу об одном: не возвращайте меня американским властям. Я бежал из тюрьмы с помощью друзей, чтобы у вас искать справедливости. Я могу рассчитывать на вашу помощь?

Шакурский ответил на вопрос вопросом:

— Где вы изучили русский язык?

Штейнгартен улыбнулся.

— Россия — страна нового социального строя и давно интересуется меня. Я считаю себя уже многие годы вашим другом. С вашими учеными я переписывался на вашем языке. Я знаю вашу литературу, многое переводил на немецкий. — Он помолчал, поднял голову и тихо прочел:

Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!

Но и стихи, казалось, не произвели впечатления на лейтенанта.

— Вы хотели видеть того, кто вас задержал? — сказал Шакурский. — Он здесь.

Штейнгартен повернулся и медленно встал. Лухманцев поразила выражению усталости на его лице. Увидев старшего сержанта, Штейнгартен сделал к нему несколько шагов и сказал:

— Разрешите поблагодарить вас. Двое суток я скрывался от солдат американской военной полиции. Мне угрожает новый концентрационный лагерь. Некоторые наши газеты пытались вступиться за меня. Но ничего в нашей стране не изменилось после разгрома нацистов. Вы мне дважды спасаете жизнь: первый раз в сорок пятом году, когда советские власти взяли Австрию, и второй — сегодня, когда у нас господствует американская демократия, — горько закончил он.

Он сильно, с чувством пожал руку старшему сержанту. Лухманцев невольно покраснел. Он не понимал, почему надо его благодарить.

— Мне стыдно за свою родину, — продолжал Штейнгартен, обращаясь к Шакурскому и Лухманцеву. — Но люди моей родины все больше начинают понимать, кто их истинный друг, с кем им по пути. Ваши солдаты недаром пролили свою кровь в Австрии. Я, старый человек, всю жизнь посвятивший изучению языков давно живших народов, понял, что и я должен бороться за сво-

боду своего народа, за мир в мире, что в наше время нельзя никому стоять в стороне. Это же поняли тысячи людей, знающих жизнь лучше меня.

Он еще раз пожал руку смущенному Лухманцеву, взглядываясь в него, словно стараясь запомнить его лицо.

— Можете идти,— сказал Шакурский Лухманцеву, забирая у него письма.

Профессора отвели в маленькую угловую комнату, где обычно оставались все задержанные до тех пор, пока их не отправляли дальше. Там стояли кровать, стол, два стула и шкаф для одежды. Лухманцев в коридоре прислушивался к монотонному шуму дождя в сгущающихся сумерках, когда Штейнгартен прошел в эту комнату. Профессор дружелюбно улыбнулся старшему сержанту и остановился.

— Забыл спросить: нельзя ли у вас достать какую-нибудь книгу?

— Сейчас узнаю,— ответил Лухманцев и пошел опять к Шакурскому.

Лейтенант сидел за столом и читал письма.

— Выбери что-нибудь,— разрешил Шакурский и добавил: — Интересный человек... Похоже, что говорит правду. Отнеси, отнеси книгу,— вспомнил он о просьбе задержанного.

В комнате политпросветработы Лухманцев, открыв дверцу шкафа, долго смотрел на книжные корешки, не зная, что же выбрать профессору для чтения. Он отложил «Молодую гвардию» Фадеева и, подумав, добавил к нему томик военных стихов Симонова, потом передал книги и пошел читать газеты.

Через час лейтенант вышел из своей комнаты и передал телефонисту листок, исписанный столбцами цифр. Связи с командованием не было, и приходилось пользоваться шифрованными телефонограммами. Лухманцев слушал, как телефонист диктует цифры, и думал, что это, вероятно, сообщение о задержании профессора.

В комнате политпросветработы собрались солдаты, свободные от дежурства. В углу несколько человек играли в шахматы и шашки. К Лухманцеву подсел почтальон, обычно знавший все новости, и спросил:

— Кого поймали?

— Какого-то профессора. Из тюрьмы от американцев бежал.

— Вот что делают... Австрийцев в тюрьмы сажают.

— Не понимаю я,— Лухманцев в раздумье сморщил брови.— Старый человек, ученый... А они его в тюрьму, как нацисты.

— А может, брешет он?

— Нет, такой обманывать не может.

Лухманцев опять вышел в коридор и прошел мимо той двери, где стоял часовой. Повар пронес обед для задержанного. В полуоткрытую дверь Лухманцев увидел Штейнгартена, лежавшего на постели с закрытыми глазами. Книжки лежали на столике. Одна из них была раскрыта.

Повар вышел через несколько минут и обиженно сказал:

— Не желает кушать. Просит дать термометр. Надо лейтенанту доложить.

Шакурский торопливо прошел к Штейнгартену и пробыл у него минут десять. Когда он вышел, то вид у него был встревоженный.

Он увидел в коридоре Лухманцева и сказал:

— Беда с твоим профессором... Заболел он. Температура тридцать девять и шесть. И врача нельзя вызвать. В течение вечера он несколько раз заходил в комнату к Штейнгартену. Профессору становилось все хуже.

А около десяти часов вечера раздался телефонный звонок. Начальника заставы вызывал командир части.

Разговор был коротким. Лейтенант, выслушав, сказал:

— Понимаю, понимаю... Он устроен. Но ему нужна врачебная помощь. Очень высокая температура.

Ночью Лухманцеву не спалось. Он лежал, вспоминая все три года службы в Австрийских Альпах после окончания войны.

Тогда, три года назад, все казалось простым.

Война заканчивалась в разгаре весны. Цвели сады. Белые и розовые лепестки фруктовых деревьев кружились над дорогами чужой страны. Эта весна казалась весной всего человечества, тяжелыми испытаниями завоевавшего право на жизнь, на счастье.

Потом появились зоны оккупации Австрии, и оттуда, с американской стороны, стали просачиваться слухи о странностях вчерашних союзников, об их милосердии к тем, кто вчера держал против них оружие, о травле тех, кто был истинным союзником в борьбе с фашизмом.

«Не отдадут им профессора»,— подумал Лухманцев.

Ему захотелось пить. Он вышел в коридор, освещенный лампой, горевшей на столе у дневального. Сонный телефонист сидел, положив голову на стол. За окном все шумел и шумел дождь.

— Как профессор? — спросил Лухманцев у дневального.

— Все говорит что-то,— ответил дневальный.— Из-за него и наш лейтенант не спит. А ты чего ходишь? Утром тебе на пост.

— Не спится,— пожаловался Лухманцев.

— Иди, иди,— посоветовал дневальный.— А то на посту клевать носом будешь.

Утром, когда Лухманцев и Лаврентьев собирались на пост, Шакурский вызвал к себе старшего сержанта.

— Ну, Лухманцев,— сказал он,— помогай своему профессору. Плохо ему, видно, сильно простудился. Командование сообщило, что он известен всей Австрии. Крупный, прогрессивный деятель. Поезжай сейчас на переправу и помоги врачу к нам добраться.

— Есть! — ответил Лухманцев и торопливо вышел на улицу, где мотоциклист уже налаживал машину.

Тяжелые дождевые облака спустились еще ниже, деревья стояли словно с обрубленными вершинами. Кругом была вода. Перед домом в лужах плавали сбитые каштановые листья.

Солдаты подъехали к реке, поставили машину под деревом и пошли к берегу, оба промокшие до нитки. На том берегу солдаты и врач, капитан медицинской службы, уже возились у лодки. Мутная река, которую ребята в обычное время переходили вброд, бурля, шла поверх берегов. Деревья, указывая границы берега, стояли затопленные наполовину.

Лухманцев и мотоциклист остановились у воды, не зная, чем они тут могут помочь. Нельзя было и думать перебраться на лодке: снесет по течению и опрокинет.

— Держи канат! — закричали с того берега, и солдат, размахнувшись, швырнул канат, который развернулся в воздухе и упал в воду метрах в трех от земли. Канат вытянули из воды и снова запустили в воздух. В этот раз он коснулся земли, но Лухманцев не успел схватить конец, и он ушел в воду. Только в третий раз, когда канат опять упал на землю, Лухманцев схватил конец и,

откинувшись, чувствуя, как тянет его река, побежал к дереву. Он обмотал канат вокруг ствола несколько раз и завязал крепким узлом.

На той стороне с берега осторожно спустили лодку, связанную коротким тросом с натянутым над водой и задрожавшим, как струна, канатом. Солдат спрыгнул в плясавшую на волнах лодку, а за ним сошел с чемоданчиком в руках капитан.

Солдат, перехватывая руки на канате, вел лодку. Это стоило ему больших усилий, и лодка будто совсем не двигалась. Она то взлетала так, что видно было ее просмоленное днище, то проваливалась носом в волны, как будто бы идя ко дну.

Лухманцев и мотоциклист, волнуясь, ждали лодку у кромки воды.

Прошло, наверное, не меньше получаса, пока лодка пристала к берегу и обессиленный солдат вылез из нее и сел прямо на мокрую землю, тяжело дыша.

Капитан выпрыгнул на берег и спросил:

— Как больной?

— Не спадает температура, — ответил Лухманцев.

Капитан сел в коляску, а Лухманцев примостился на сидение сзади мотоциклиста.

Лейтенант Шакурский встретил их под порталом дома заставы и повел врача переодеваться. Пошел переодеваться и Лухманцев.

Послышался шум подъехавшей машины. Раздался резкий, повторенный несколько раз, сигнал сирены.

Лухманцев выглянул в окно.

У дома стоял зеленый крытый «виллис» с американским флажком.

— Майор Вульф спрашивает старшего русского офицера, — громко крикнул, открыв дверцу, человек в штатском.

— Сейчас доложу, — сказал часовой.

Через несколько минут из дома вышел Шакурский.

— С вами очень желает разговаривать майор Вульф, — сказал переводчик, все так же не выходя из машины. — Пожалуйста. Очень!..

— Прошу майора войти сюда, — пригласил Шакурский.

Маленький переводчик выскочил из машины. Вслед за ним из «виллиса» показались длинные ноги в зеленых

брюках и затем вылез владелец их, весь складывающийся, как перочинный нож, майор Вульф. Он медленно, словно не замечая дождя, поднялся по лестнице и небрежно приложил два пальца к пилотке.

— Майор Вульф!

— Лейтенант Шакурский! — назвал себя начальник заставы.

Переводчик, держа в руках шляпу, быстро сказал:

— Это является официальным визитом. Из американской зоны бежал преступник, осужденный судом. Пожалуйста! Фамилия Штейнгартен. Американское командование располагает сведениями, что он вчера перешел демаркационную линию и задержан вашим патрулем. Так!

Шакурский молчал. Майор Вульф вытащил из кармана ленивым движением пачку сигарет, разорвал целлофанную обертку и протянул Шакурскому. Лейтенант отказался. Переводчик услужливо протянул зажигалку, и майор закурил.

— Американское командование настаивает на его выдаче, — опять заговорил переводчик. — Штейнгартен есть преступник и должен вернуться в тюрьму.

Лухманцев с тревогой смотрел на лейтенанта.

— Профессор Штейнгартен, — медленно и сухо сказал Шакурский, — является австрийским подданным. Почему же американские военные власти настаивают на его выдаче?

— Он нарушил американские законы, — ответил переводчик.

— Разве законы Америки действуют и в Австрии?

— Эта страна под опекой Америки, — сердито сказал переводчик.

— Я веду переговоры не с вами, а с майором, — резко сказал Шакурский. — Будьте добры, скажите майору, что законы моей страны, которую я официально представляю здесь, осуждают всякие действия против антифашистов и, наоборот, охраняют людей, которые любыми, доступными им средствами боролись с фашизмом.

Вульф деревянно рассмеялся. Он похлопал по плечу Шакурского и что-то сказал переводчику.

— Он просит передать, — сказал переводчик, — что его не интересуют ваши политические убеждения. Преступник, кто бы он ни был, нарушивший американские законы, должен быть возвращен американским властям.

Майор и вы — солдаты. Оба вы выполняете свой солдатский долг. Майор надеется, что вы выполните свой солдатский долг.

— Да, я выполню его,— произнес Шакурский.— Мой воинский долг приказывает мне отказать в выдаче профессора Штейнгартена. Ни майор, ни я не имеем права судить австрийцев. У них есть свой суд.

Переводчик и майор посоветовались.

— Вы решительно отказываете в выдаче Штейнгартена? — спросил переводчик.

Каменное лицо майора Вульфа было неподвижно. Казалось, что весь этот разговор его мало интересует: не посмеет советский офицер отказать в требовании.

— Решительно!

— До свиданья! — сказал переводчик и надел шляпу.— Вы будете сожалеть.

Шакурский ничего не ответил.

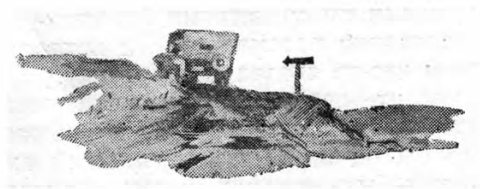
Майор, выкинув языком сигарету изо рта, не прощаясь, пошел к «виллису» и, опять согнувшись, как нож, влез в кабину и втянул ноги. Припрыгивая, перебежал лужи переводчик, вскочил в машину и захлопнул дверцу.

На полном газу машина круто развернулась у дома и стремительно помчалась по дороге, разметывая лужи.

Лухманцев с облегчением вздохнул.

Он взглянул на небо. Над Австрийскими Альпами все еще кучились тучи и шел дождь. Дождь мог продолжаться неделю-две. Темные тучи закрывали весь горизонт. Но в любой день они могли рассеяться, и тогда с вершин гор откроются далекие цветущие долины альпийских предгорий.

1948 г.





НАТАША

1

Наташа Мокроусова училась в Тульском машиностроительном институте. В комиссии, когда выпускники-инженеры получали назначение, Наташа попросила направить ее на уральский завод и назвала город, в котором жила ее замужняя сестра Варя. Наташа боялась попасть в такое место, где у нее нет ни родных, ни знакомых.

Ожидая назначения, она очень волновалась, плохо спала по ночам, почти ничем не могла заниматься. Но все разрешилось хорошо: ее послали на Урал.

На вокзале Наташу встретила сестра Варя.

Виделись сестры в последний раз давно. Наташа тогда училась в шестом классе, а Варя уже три года была замужем. Варя за эти годы внешне почти не изменилась, только в завитках черных волос на висках поблескивала ранняя седина, да когда она задумывалась, то под глазами прорезались тоненькие морщинки.

— Какая ты еще молодая,— удивленно говорила на вокзале Наташа, целуя сестру в сочные и холодные от мороза губы.

— Если не замечать седых волос и морщин,— шутливо поправила Варя.— А вот ты у меня молодец. Выросла-то как! Расцвела! Инженер! Натка — инженер!

Дома, забравшись с ногами на диван, прильнув друг к другу, сестры вспоминали детство, дорогие подробности жизни минувших лет. Наступил вечер, но зажигать огня не хотелось. Хорошо было сестрам сидеть вот так уютно, рядом, в спокойном полумраке теплой комнаты. От света уличного фонаря на паркетном полу лежала дымчатая тень тюлевой шторы и резкий темный рисунок фикуса. Сестры все говорили, говорили и никак не могли наговориться.

— Библиотекарем стала,— рассказывала о себе Варя.— Даже заочный институт окончила. Леонид уговаривал сменить профессию, а я не могу. Привязалась к книжным полкам, к читателям. Теперь и Леонид смирился, понял, что не быть мне инженером, махнул рукой.

Варя тихо рассмеялась и поцеловала сестру в щеку.

— Разболтались мы... Отвожу душу. Ну с кем же еще о детстве поговорить можно... А с Леонидом и разговариваем мало. Ему бы только о заводских делах поспорить. Веришь, еле удается его в театр вытянуть. Предпочитает, если свободен, дома на диване поваляться, в технических журналах порыться. Иной раз по неделе вечерами и не видимся — у меня то читательская конференция, то какая-нибудь книжная выставка, то беседы в общежитиях проводим. А он как будто и не замечает, что меня нет... А я очень рада за тебя, Натка. Очень! Выросла, вступаешь в жизнь. На заводе тебе понравится. Людей интересных, хороших много.

В коридоре раздался звонок.

— Мой тигр! — притворно испуганно проговорила Варя, соскакивая с дивана, и пошла открывать дверь.

Наташа быстро взглянула в зеркало. Так и есть — волосы спутались, блузка мятая. Как в таком виде покажется она мужу сестры?

Леонид Сергеевич, лохматый, крупнокостный, остановился в дверях, близоруко прищурясь, казалось строго и придирчиво рассматривал родственницу.

— Вот вы какие у нас беленькие,— добродушным баском протянул он, подходя.— На Варю-то совсем и не похожи. Не поверишь, что родные сестры. Она черненькая, а вы — беленькая. А сколько ямочек! Хороши, хороши!

Значит, к нам на завод. Вот и прелюдно, народ у нас приветливый.

И Наташе от этого добродушия, щедрого, широкого, стало необыкновенно легко и хорошо. Несколько минут спустя Леонид Сергеевич, приняв в ванной душ, появился в комнате и весь вечер трогательно ухаживал за ней.

Вечер прошел в оживленной болтовне. Наташа была счастлива, что все сложилось по ее желанию: здесь ей по-настоящему рады.

Утром, когда Наташа неторопливо шла на завод, всматриваясь в незнакомый город, где ей теперь предстояло жить, чудесное настроение не покидало ее.

Было тепло, и Наташа сняла перчатки. Вдоль тротуаров, после ночного снегопада, лежали крутые валы чистого снега. Наташе понравились широкие магистральные улицы, застроенные высокими домами, красивые чугунные фонари с матовыми шарами, похожие на старинные канделябры, увеличенные во много раз.

На шумном перекрестке улиц она остановилась. Пробегали, позванивая, трамваи, неторопливо проползали солидные троллейбусы, проскакивали торопливые такси. Милиционер, картинно повертываясь, распоряжался густым потоком машин. Куда тихой Туле до этого большого уральского города!

Все еще как-то не верилось, что этот город, его улицы и дома станут ей близкими, что здесь будут у нее, как в Туле, свои любимые уголки для прогулок в разных районах и, конечно, самые любимые актеры и актрисы в театре. Она постарается устроить свою жизнь разумно, хватит студенческой беспорядочности. Не реже раза в неделю будет бывать в театре, не пропустит ни одной новой пьесы, приезда интересного гастролера, литературной новинки и уж, конечно, не забудет продолжать учиться по специальности. В наше время про это нельзя забывать, — иначе отстанешь от всех безнадежно. А ведь завод, интересная работа — это главное.

Жизнь! Она удивительно светлая, радостная. Надо только строго относиться к себе, не совершать необдуманных поступков, не метаться от увлечения к увлечению, как это было в Туле, — один год спорт, другой — драматический кружок, третий — научное студенческое общество... Каждый год она особенно сильно чем-нибудь увлекалась, до самозабвения, а потом остывала и забрасывала... Так

нельзя, здесь этого не будет. В жизни много путей, все их не пройдешь, надо выбрать один и не сбиваться с него. Правильно говорят, что достигает цели тот, кто умеет настойчиво идти к избранному.

Здание заводоуправления из серого гранита, с мраморными колоннами подъезда, высокое, многооконное, выглядело величественно. Сверкал под солнцем чисто подметенный асфальт. На медных полосах, набитых на массивных дубовых дверях, играли солнечные лучи.

Смуглый молодой человек, начальник отдела кадров, обрадовался тому, что Наташа конструктор и назначена к ним на завод.

— Превосходно! — энергично сказал он, рассматривая ее диплом и направление министерства. — Конструкторы нам очень нужны.

Наташа долго заполняла четыре листа анкеты. Ее всегда смущали вопросы о службе в армии, о ранениях, ученых трудах, правительственных наградах. Сегодня, когда она собиралась вступить в коллектив большого, известного завода, было особенно стыдно на большинство вопросов анкеты отвечать одним коротеньким словом: «Нет... нет...»

Когда она возвращалась домой, уже стемнело, и на улице горели фонари. Медленно падал сыроватый и крупный, похожий на перья, снег. Главная улица в этот вечерний час была еще более, чем днем, красивая и оживленная. Наташа долго без всякой цели бродила по городу. Она останавливалась у витрин магазинов, расцветченных дрожащими неоновыми огнями, наблюдала вечернюю суету, прислушивалась к разговорам. В толпе она особо примечала студентов и студенток. Они проходили, самые шумные в уличной толпе, размахивая тугими портфелями, связками чертежей. Возле гостеприимно раскрытых дверей кинотеатров густо толпился народ. Девушка в меховом пальто медленно ходила от фонаря к фонарю и у перекрестка всякий раз нетерпеливо смотрела на круглые висячие часы. «Кого-то ждет», — посочувствовала ей Наташа. Она тоже знала волнение подобных минут. Инженер большого завода, она отныне не станет так легкомысленно тратить время.

На следующий день начальник отдела кадров поднялся с Наташей на верхний этаж заводоуправления в конструкторский отдел и представил ее начальнику группы.

— Борис Николаевич,— сказал он,— знакомьтесь. Товарищ Мокроусов. Вчера говорил вам о ней.

Узкоплечий человек, в синем костюме, сидел за большим столом возле окна. Он поднял голову, и Наташа прежде всего заметила темные пристальные глаза на бледноватом лице.

— Садитесь,— дружески пригласил он.— Ваше имя, отчество?

Наташа скромно сказала:

— Наталья Васильевна, но зовите Наташей. Меня все так зовут,— и вдруг смутилась от его улыбки.

— Хорошо, Наташа! С чего же вы у нас начнете?— спросил он, обращаясь скорее к себе, чем к ней.

Он выдвинул ящик в столе и долго перебирал бумаги. Наташа обратила внимание на его руки — небольшие, изящные, покрытые редкими черными волосками, с удлиненными ногтями.

— Вот, пожалуй, интересная работа,— задумчиво сказал Борис Николаевич, вынимая листок с эскизом и продолжая этот разговор с самим собой.— Да, тут есть о чем подумать...— он ободряюще улыбнулся.— Скучать вам не дадим. Рассчитайте нагрузку на этот канат. Вся трудность в том, что таких машин наши заводы не делали, а следовательно, и в таких канатах нужды не было. Справочники не всегда помогают. Приходится свои расчеты создавать.

Наташе отвели место возле широкого окна. Чертежные вертикальные доски стояли тесно, как нотные пюпитры в оркестре, с той, однако, разницей, что музыканты видят друг друга, а тут Наташа сидела как бы одна в крошечной комнате.

В окно виднелись застекленные крыши заводских корпусов, широкий, чисто подметенный асфальтированный проезд между цехами, высокая бронзовая фигура Серго Орджоникидзе и у горизонта кромка соснового леса.

В одиночестве и тишине прошел этот первый заводской день.

В обеденный перерыв Наташа спустилась в столовую. Кругом слышались шумные веселые голоса. Конструкторы сдвинули два стола и о чем-то оживленно беседовали, изредка бросая любопытные взгляды в сторону новой сотрудницы. Наташе взгрустнулось оттого, что она сидит за столом одна.

На лестнице, когда Наташа тихо поднималась в кон-

структорскую, ее нагнал легко и стремительно шагавший через несколько ступенек Борис Николаевич. Он что-то мурлыкал, галстук у него чуть развязался, черные волосы растрепались.

— Как ваши дела? — громко и весело спросил он.

— Скоро закончу расчеты.

— Вот и отлично. Сразу покажете мне. Сержант не растерялся... — непонятно сказал он, пропуская Наташу в конструкторскую, и сразу кому-то крикнул: — Сергей Иванович! Где чертежи цапфы?

В тесную комнатку к Наташе заглянул пожилой розовощекий инженер, похожий на концертного конферансье. Наташа уже заканчивала работу и собиралась пойти к Борису Николаевичу.

— Ваш сосед, — постучал он карандашом по чертежной доске. — Захаров! Чем вас Борис Николаевич нагрузил? — полюбопытствовал он, шевеля то одной, то другой бровью, почесывая карандашом за ухом.

Наташа показала. Инженер внимательно посмотрел расчеты и с сомнением покачал головой.

— Э! Какой вы блок, девушка, поставили! — сожалеюще произнес он. — Велик запас прочности взяли, не учли — здесь резких динамических ударов не бывает. Нагрузка всегда равномерная. Мне этот канат знаком, я им две недели назад занимался.

Наташа поняла, что Борис Николаевич проверяет ее. Сначала ей стало только неприятно, потом чувство возмущения и оскорбленной гордости охватило ее. С выражением решимости на лице она направилась к Борису Николаевичу.

— Я закончила! — с вызовом сказала она.

Борис Николаевич взял листок с расчетами и внимательно посмотрел на Наташу. Она стояла, выпрямившись, чуть откинув голову.

— Посмотрим, — протянул он.

Наташа молча ждала.

— Отлично! — оценил Борис Николаевич ее работу. — Справились. Сегодня больше ничего не успеете сделать. Посмотрите наш технический проект. Вам надо знать, какой машиной мы сейчас заняты. Придется скоро и вам в наши дела окунуться. — Он выдвинул ящик стола, потом неожиданно поднял голову и спросил: — А почему у вас такой сердитый вид?

— Борис Николаевич,— звонко, не узнавая своего голоса, сказала Наташа.— Зачем вы мне этот расчет дали? Ведь его до меня уже сделали.

Приветливое лицо Бориса Николаевича вдруг стало холодным и недружелюбным. Резкая вертикальная морщинка обозначилась у переносья. Очевидно, никто не позволял себе так разговаривать с ним.

— Возможно,— сухо сказал он.— Что из этого следует?

Наташа не знала, что можно ответить. Ей стало очень стыдно. Она стояла, все так же выпрямившись, и в волнении теребила пояс халата.

— Напрасно обиделись,— чуть смягчился Борис Николаевич.— К этому расчету вам, а может быть, и другим, придется вернуться. Вы только начинаете путь конструктора, и вам надо запомнить: мы должны семь раз отмерить, а уж потом отрезать. Нам, как саперам на войне, нельзя ошибаться.

Расстались сухо. «Дура, какая я дура!»,— укоряла себя Наташа, отходя от стола главного конструктора.

Вечером Наташа рассказала Варю о своем первом рабочем дне, умолчав о расстроившей ее размолвке с Борисом Николаевичем.

— Поздравляю!— торжественно произнесла Варя.— Борис Николаевич Соболев — знаменитый в нашем городе человек. Один из самых талантливых конструкторов на заводе, и мой самый жадный и самый аккуратный читатель. Вот подожди, как-нибудь я тебе подробно о нем расскажу. Да ты его и у нас, возможно, увидишь. Он Леонида иногда навещает.

Это еще больше расстроило Наташу.

2

В конце первого месяца жизни на заводе Наташа уже стала своим человеком в конструкторском отделе. У нее появились подруги. С ними Наташа ходила в заводской Дворец культуры и подумывала о вступлении в драмкружок. Теперь и она в столовой помогала сдвигать вместе несколько столов, хлопотать и устраивать коллективные посещения театра и концертов.

Жизнь большого коллектива конструкторов захватывала Наташу.

Она любила утром, войдя в конструкторскую, постоять у окна. Сквозь высокие и широкие стекла лились потоки света. По заводскому двору, щедро освещенному солнцем, густо шли люди. Что-то праздничное и торжественное было в этом утреннем шествии. Наташа испытывала волнующее чувство близости к этим людям и значительности участия в общем и важном труде.

Приятно было доставать и раскладывать на столе, готовясь к работе, чертежные принадлежности, тушь, остроочиненные карандаши, счетную линейку, лекала. Невольно она останавливалась на несколько минут у доски и смотрела на четкие линии начатого накануне чертежа.

Утром, когда конструкторы входили в зал, Борис Николаевич Соболев уже сидел за своим столом в свежем, хорошо выглаженном темносинем костюме. Ослепительно белел крахмальный воротничок рубашки. Кивком головы Борис Николаевич здоровался с входившими сотрудниками. В углу на вешалке висело его пальто — только он пользовался правом раздеваться в конструкторской.

В течение первого часа Соболев обходил сотрудников, проверяя выполнение заданий и поручая новые работы.

Наташа волновалась, замечая его приближение. Соболев останавливался позади Наташи и молча следил за работой. Случалось, что он брал из рук девушки карандаш и, не вступая в разговоры, что-нибудь поправлял в чертеже, показывая более удобный прием работы. Борис Николаевич отходил, и она облегченно вздыхала.

Теперь она многое знала о Соболеве, но не от сестры, которая только пообещала рассказать о нем, но так и не собралась, а от новых подруг. Его путь казался ей удивительным. Когда-то Борис Николаевич строил этот завод, работая слесарем-монтажником. Потом уехал учиться в институт, вернулся сюда уже конструктором. В годы войны ушел добровольцем в армию и служил в саперных частях. Однажды сотрудники прочитали в газетах, что за быстрое наведение переправ при форсировании Днепра Соболев получил звание Героя Советского Союза. После войны он снова занял свое место в конструкторском отделе и за первую машину мирного времени получил Сталинскую премию.

Сейчас конструкторы работали над мощной землеройной машиной. На заводе все только и говорили о почетном заказе строителей волжских гидроэлектростанций. Вслед за

первой опытной машиной цехи должны были за год выпустить шесть серийных.

Таких больших землеройных машин нигде еще не делали. Она была рассчитана на огромную производительность — замену десяти тысяч человек, вооруженных лопатами. В сущности, машина, оснащенная всем сложным хозяйством большого предприятия, являлась как бы заводом по выемке земли. Проект ее предложил Борис Николаевич, над отдельными узлами работали десятки конструкторов — специалистов в области энергетики, гидравлики, механики.

Дома Леонид Сергеевич, рассказывая о сборке землеройной машины, восхищенно разводил руками:

— Ничего еще похожего не было. Чудо технической мысли. Что ни узел — невиданное новшество. Голова кружится!.. Вот, например, как решаются, Варюша, сварные работы на выносной стреле...

И начинался рассказ об одном из узлов новой машины, поражавшей Леонида Сергеевича.

Наташа думала, как может один человек охватить всю сложность создания такой огромной машины? Борис Николаевич казался ей человеком, живущим в мире необыкновенной мечты. Ей случалось видеть, как иногда Борис Николаевич подолгу стоял у окна, о чем-то задумавшись, потом присаживался к столу и быстро что-то писал. Соболев часто уходил с конструкторами в цехи, где уже обрабатывались детали новой машины и собирались отдельные узлы. В конструкторский отдел заглядывали работники исследовательских институтов. С ними Соболев исчезал на весь день в цехи.

Наступили самые напряженные рабочие дни. В конструкторском зале всегда стояла тишина, какая бывает в операционных. Мягкие дорожки глушили шаги. И как в операционных, все сияло чистотой — стекла, переплеты окон, потолок и стены, паркетный пол. Даже листы ватманской бумаги на чертежных досках казались выкрашенными белой краской.

Редко-редко удавалось за весь день на короткое время оторваться от чертежной доски. Незаметно летели минуты. Наташа не успевала оглянуться, как уже звучал резкий звонок, извещавший окончание рабочего дня. Большой зал наполнялся сдержанным гулом голосов.

Хорошо было после такого трудного дня неторопливо

пройтись по улице, вдыхая свежий воздух и прислушиваясь к городской вечерней разноголосице.

И все же, как ни захватывала Наташу работа, чувство неудовлетворенности не покидало ее. Она все еще не получала настоящего дела. Инженер Захаров, с которым Наташа познакомилась в первый день, руководил ею. Соболев же просто не замечал молодого конструктора.

Захаров занимался разработкой системы гидравлики и немного этим хвастал, подчеркивая всю сложность ее в новой машине. Наташе доверялась только копировка чертежей с законченных эскизов, подготовленных другими конструкторами. Она безропотно и терпеливо выполняла работу, даже увлекалась, когда особенно отчетливо понимала чужую мысль. И все же горечь, что ей еще не доверяют самостоятельной работы, не оставляла Наташу, отравляя вечерние часы.

Обижало и то, что по вечерам некоторые инженеры и даже чертежники оставались для выполнения срочных работ в конструкторской, а ее ни разу не попросили задержаться. Значит, особой нужды в Наташе не было.

Захаров, замечая, с каким разочарованным выражением лица Наташа принимает задания, отечески внушал:

— Наберитесь терпения. Будет у нас посвободнее время, сдадим эту машину — найдем и для вас более интересное задание.

Обратиться к самому Борису Николаевичу с какими-нибудь просьбами Наташа не решалась. Она видела, что Соболев всегда очень занят. Чем больше Наташа узнавала Соболева, тем сильнее росло к нему чувство почтительного восхищения и уважения.

И увидеть еще раз, каким холодным и недружелюбным становится его взгляд, услышать его сухой, неприятный в такие минуты голос? Нет, нет! Ни за что! Лучше вот так сидеть и сидеть все на тех же чертежах с чужих эскизов.

Наташа работала терпеливо — все же она училась. Однако она ждала, что когда-нибудь Соболев вспомнит о ней.

И этот час настал.

Как-то утром, когда Наташа, надев халат, еще только раскладывала чертежные принадлежности, Захаров сказал:

— Зайдите через тридцать минут к Соболеву. У него для вас срочное задание. Только будьте аккуратны — ров-

но через тридцать минут: Борис Николаевич не любит опозданий.

Наташа сидела за столом, перекладывая с места на место лекала, и не спускала глаз с круглых часов, висевших под потолком посредине конструкторской. Она заметила, что в этот день Соболев не совершал своего обычного обхода. Что он может ей поручить? Справится ли она с его заданием?

Ровно через тридцать минут Наташа подошла к столу Соболева. Он, в пальто и с пыжиковой шапкой в руке, заканчивал разговор с одним из конструкторов. Лицо Соболева было озабоченным более, чем обычно, под глазами темнели круги, словно он провел бессонную ночь.

Закончив разговор с конструктором, Соболев повернулся к Наташе.

— Вот вам эскиз червячной передачи. Расчеты нужно сделать побыстрее. Мы задерживаем модельный цех, а потом можем задержать и сборку. Я заметил — вы умеете быстро рассчитывать. Но будьте повнимательнее, обойдитесь без больших допусков.

Наташа, зардевшись от неожиданной похвалы, взяла эскиз, исписанный почерком Соболева, и сразу увидела, что работа предстоит большая.

Соболев терпеливо ждал, что она скажет.

Наташа молча кивнула головой.

— Значит, взялись? — оживился Соболев. — Возникнут затруднения — обращайтесь ко мне, — и, приветливо кивнув ей, торопливо направился к выходу.

Вернувшись к себе, Наташа, счастливая и ликующая, присела к столу и, разложив перед собой эскиз, долго всматривалась в него. Да, это была большая работа, не та, какую давал ей болтливый Захаров. Надо самостоятельно рассчитать двухметровую червячную передачу. На других заводах о таких червячных передачах и понятия не имеют. Вот Соболев и вспомнил о ней. Вот и пришел ее час: она должна показать, что годна и для серьезной работы.

Захаров заглянул к Наташе узнать о поручении, пошевелил бровями, по привычке почесал карандашом за ухом, похмыкал, но пожелал удачи.

В этот день Наташа не пошла обедать. Подруга принесла ей из столовой бутерброды. В конце рабочего дня резко и настойчиво прозвучал звонок. Наташа увидела,

что она не сделала и половины. От волнения у нее даже кончики пальцев похолодели: «Какой позор!»

Конструкторы, переговариваясь, собирались домой. Никто из них не обратил внимания на расстроенное лицо Наташи.

Набравшись решимости, готовясь выслушать самые неприятные и резкие слова, справедливо заслуженные ею, Наташа пошла к Борису Николаевичу. Его место за столом пустовало, не было на вешалке и его пальто. С утра Соболев ушел в цех, где испытывался один из готовых узлов, и больше не появлялся.

Наташа вернулась к себе и несколько минут растерянная, подавленная неподвижно сидела за столом. «Что же делать? Попросить Захарова?» Эту мысль Наташа сразу же решительно отвергла — ведь поручение дано ей, у Захарова своих забот достаточно.

Она спустилась в столовую и заставила себя проглотить полухолодный, невкусный обед и вернулась в конструкторскую.

Борис Николаевича все еще не было.

Верхний свет в зале был выключен, и горели лишь в нескольких местах яркие лампы над рабочими местами конструкторов. В полумраке никем не замеченная, Наташа прошла к своему столу, включила свет и погрузилась в работу. Сначала она ждала, что с минуты на минуту к ней подойдет Соболев, но скоро забыла о нем. Изредка выпрямляясь, Наташа смотрела в окно на городские огни. Они виднелись далеко-далеко в вечерней темноте. К ночи город как бы раздвигал свои границы. Над заводом, над освещенными крышами цехов лежало теплое зарево.

Наташа просидела несколько часов, пока кто-то не тронул ее за плечо. Она вздрогнула, подумав, что это Соболев. Рядом с ней стоял Захаров.

— Вам, голубушка, кто это разрешил? — сердито спросил он. — Сидите до такого часа! Хотите от Соболева выговор получить? Получите! Быстро все убирайте. Уже двенадцать.

— Борис Николаевич пришел?

— И не показывался. Сегодня сессия горсовета. Выполняет депутатские обязанности.

Наташе стало легче. Неприятный разговор переносился на утро.

— Покажите-ка, что уцелил? — заинтересовался Захаров.

Наташа показала.

— Славно поработали! Однако пора домой.

Его похвала не тронула Наташу, не до этого ей было.

Возвращаясь домой с чертежами, свернутыми в трубочку, Наташа укоряла себя: вот доверил ей впервые Борис Николаевич срочную работу, которую ждут модельщики и сборщики, и она не справилась с ней. «Вы умеете быстро работать», — сказал ей Соболев. И ошибся. Вероятно, сейчас он еще сидит на сессии горсовета или у себя дома спокойный и уверенный, что его поручение выполнено. Не знает Борис Николаевич, что на завтра она приготовила ему неприятность. Как-то все будет завтра?

Дома Наташа быстро поужинала, вошла к себе в комнату, постояла минутку задумчивая, потом решительно достала чертежную доску, наколола на нее принесенный чертеж и села за работу.

К рассвету все было закончено. Наташа еще раз просмотрела цифры, все эскизы и даже себе не поверила — все же справилась, не опозорилась.

Она положила голову на голый локоть и устало, умиротворенно смотрела, как за окном светлеет небо, слушала возню и щебет проснувшихся воробьев и звонки первых трамваев. Так и уснула.

Варя вошла к сестре и, увидев бумаги на столе, несмятую постель и спящую Наташу, все поняла, всплеснула руками.

— Это что за фокусы? — рассердилась она. — Так всю ночь и просидела?

— Да ведь нужно, Варя, милая, — спросонок счастливым голосом протянула Наташа. — Очень срочное задание Соболева. Если бы тебе все рассказать...

— Что это такое — работа без отдыха? Сегодня Борис Николаевич зайдет за книгами в библиотеку — поговорю с ним. Какое безобразие!

— Не надо, милая! Ничего не говори. Ну, пожалуйста! Пообещай!..

Испугавшись, что Варя выдаст ее Борису Николаевичу, Наташа начала ласкаться к сестре, прижимаясь щекой к щеке, целуя ее, и добилась своего.

— В первый и последний раз, Натка,— сдалась Варя.— Иди, умывайся, приводи себя в порядок. Посмотри на себя в зеркало, на кого похожа — пугало огородное!

Пускай огородное пугало! А вот работу сделала в срок. Краснеть перед Борисом Николаевичем не придется. Не придется!

Наташе захотелось покружиться по комнате. Она это непременно сделала бы, будь у нее в запасе хоть одна лишняя минута. Но уже пора было на завод.

Гордо и торжественно Наташа вошла в конструкторскую. Соболев был на своем месте. Наташа спокойно и независимо поздоровалась с ним и прошла к себе. Она надела халат и, не приступая к работе, ждала, что сейчас Соболев придет за ней. Но Соболев никого не присылал, сам не шел, и Наташа не выдержала. Со всеми расчетами она пошла к Борису Николаевичу.

Он рассматривал какие-то чертежи.

— Вот, — равнодушно, стараясь не выдать радостного волнения, сказала Наташа, остановившись в двух шагах от стола.

• — Что? — не понял Борис Николаевич, подняв голову от чертежей.— Какие-нибудь неясности?

— Закончила расчеты.

— Как? Все уже готово?— недоверчиво и даже с тревогой спросил Соболев, отодвигая в сторону все бумаги на столе. — Покажите.

— Да, все.

Соболев взял у Наташи расчеты, кинул на них беглый взгляд, потом внимательно посмотрел в лицо девушки.

— Вы ведь ночь не спали? Признайтесь. Правда? Не спали? То-то, смотрю, у вас лицо такое...— он встал.— Зачем же это нужно? Тут работы на три дня — не меньше. Я так и рассчитывал.

Он перебирал Наташины листки, виновато посматривая на девушку, неодобрительно покачивая головой.

— Не знал, Наташа, вашего характера. Теперь буду осторожнее и осмотрительнее.

Наташа, обескураженная, молчала. Все ее волнения оказались до смешного ненужными.

Соболев опять виновато посмотрел на девушку.

— В общем, спасибо! Но вы мне дали урок. Надо быть более внимательным. Да, Наташа, дали урок.

Наташа, грустная, расстроенная, вернулась к себе и не сразу смогла приступить к работе, отложенной накануне.

В середине дня Соболев подошел к Наташе и остановился, как и всегда, за ее спиной. Она сделала вид, что не замечает главного конструктора. Наташе почему-то было стыдно перед ним, и она чувствовала, как краснота поползла у нее от шеи к горящим щекам.

— Расчеты выполнены очень аккуратно, — мягко произнес Соболев. — Хорошо справились. Сегодня сделаете, что успеете, а завтра приступите к новой работе. Захарову я уже сказал. Копировальная работа, верно, здорово надоела?

Наташа ничего не смогла ответить. Она даже не смогла обернуться.

3

Наташа дремала на диване.

Нелегко приходилось ей в эти дни. Соболев сдержал свое слово, дал настоящую конструкторскую работу, и теперь, к концу дня, Наташа, уставала так, как в пору выпускных экзаменов в институте.

«В неделю успею?» — прикидывала Наташа, думая о новой работе, которую только вчера поручил ей Соболев. «Ой, надо успеть...»

Громко щелкнул замок входной двери, и в передней послышались мужские голоса. Наташе не хотелось вставать, она только приоткрыла тяжелые веки, прислушиваясь и стараясь угадать, с кем мог придти Леонид Сергеевич.

В дверь просунулась лохматая голова Леонида Сергеевича.

— Дома кто есть? — громко спросил он и, заметив Наташу, огорченно добавил: — Одна? Вари нет? Наточка, милая, покорми нас, чем найдется.

Леонид Сергеевич явился домой прямо из цеха, не сняв даже синей куртки из плотного материала. Из всех карманов куртки торчали бумаги, мерительные инструменты. Грязными пальцами Леонид Сергеевич провел усталое по голове и позвал:

— Мельников! Проходи. Чего в передней застрял? Наташа стремительно поднялась с дивана.

В комнату уверенно вошел среднего роста человек, крепко сбитый, лобастый, начинающий лысеть, с очень живыми и добродушными серыми глазами. Наташе он понравился с первого взгляда.

— Мой бригадир — Мельников! — представил его Леонид Сергеевич. — Так покормишь нас, Наточка?

Она вышла на кухню.

Леонид Сергеевич увел гостя в ванную комнату. Наташа слышала сквозь плеск воды, как Леонид Сергеевич тяжело вздыхал и ворчал на кого-то, а Мельников весело возражал ему.

Наташа много слышала о Мельникове. Леонид Сергеевич рассказывал о нем так часто и подробно, как будто хотел убедить, что без бригадира Мельникова он давно провалил бы все в цехе. И в конструкторской не раз с уважением упоминали о бригадире Мельникове, как о лучшем рабочем цеха металломонтажа, которому можно смело доверить любую сложную работу.

Наташа с особым любопытством смотрела на Мельникова. Он сидел за столом в спокойной позе, облокотившись на локоть, а Леонид Сергеевич, причесывая влажные волосы, расхаживал крупными шагами по комнате и ворчливо убеждал:

— И нечего тут мудрить и гадать, себя и людей мучить. Надо вызвать всех сегодня и начать демонтаж плиты. Вот навязалась работенка на нашу голову. Только напрасно время потеряем. Ведь это все равно, что в небе облако ловить. Нужно десять дней, а от нас хотят в сутки — в двои.

— Прикинуть надо, Леонид Сергеевич, — попытался возразить Мельников.

— Тогда думай. На то и бригадир, — Леонид Сергеевич как будто еще больше рассердился.

— Какой же окончательный срок даете?

— Да разве во мне дело? Месяца не пожалею. Жизнь срока не дает. Ну и машина досталась!..

Мельников хитро улыбнулся и потер гладко остриженный затылок.

— Посмотрим, посчитаем, Леонид Сергеевич, — нараспев произнес он. — Меня тоска берет, как о демонтаже подумаю. Центровые разойдутся, обязательно материал покарежит. Начинай тогда все сначала. Первый раз делаешь в охотку, а повторять — это как плохую книгу

дважды читать. А машина хороша. Соседи завидуют, что такую красавицу строим.

Леонид Сергеевич перестал ходить, присел к столу и, заглядывая в глаза Мельникову, доверительно предложил:

— Давай пошлем все к чорту! Будем делать, как планировали. Все признают, что не меньше десяти дней нужно. Мало ли что побыстрее хочется...

Мельников согласно улыбнулся своему начальнику и готовно поддержал:

— Давайте пошлем к чорту. В самом деле! Звоните директору.

Леонид Сергеевич с недоумением посмотрел на бригадира и даже чуть опасливо отодвинулся от него.

— Ты — серьезно?

— Звоните, звоните... Облака в небе не поймаешь.

— Не понял ты меня,— с досадой заговорил Леонид Сергеевич.— Помнишь, как мучились с монтажом поворотного круга? Не легче было. Тоже ходили, мудрили... А сказали конструкторам — придумали все по-другому. Пусть и теперь учитывают реальные возможности. Соболев никого слушать не хочет.

Наташа, услышавшая о Борисе Николаевиче, внимательно прислушалась. Но Леонид Сергеевич замолчал. Критически прищурив глаз, он оглядывал накрытый стол, недовольно покачивая головой, и пошел на кухню. Вернулся он с графином водки и двумя рюмками.

— Может, в голове посвежеет,— иронически сказал он.

Мужчины выпили и добродушно посмотрели друг на друга.

— Ладно, нечего расстраиваться, бригадир,— утешительно сказал Леонид Сергеевич.— Разве нам впервые? Придумаем что-нибудь.— Убери, Наточка,— попросил он, показывая на графин.— А то Варя скоро явится, поднимет шум, в пьяницы нас запишет.

Раздался звонок, и Наташа пошла открывать дверь.

На лестничной площадке она увидела Бориса Николаевича.

Он растерялся, остановился, не решаясь войти.

— Разве вы тут живете? Дома Леонид Сергеевич?

Снимая в передней пальто, Соболев все поглядывал на Наташу, словно стараясь понять, как могла она попасть сюда и чем эта девушка в сером платье отличается

от той, которую он видит каждый день в синем халате за чертежной доской. А Наташе бросился в глаза загрязнившийся воротничок, небрежная прическа, и она подумала, что, наверное, и он пришел к Леониду Сергеевичу прямо из цеха.

Леонид Сергеевич встретил позднего гостя сердитым и мрачным молчанием. Наташе стало неловко от такого приема. А Соболев делал вид, что ничего не замечает.

— Что же это вы меня покинули? — спросил Борис Николаевич.

— Свое сделали, — вызывающе ответил Леонид Сергеевич. — Завтра начнем демонтаж. А сегодня решили отдохнуть.

— Можно присесть? — усмехнувшись, спросил Соболев.

— Милости прошу, — сухо пригласил хозяин. — Наточка, еще один прибор.

Когда Наташа пришла из кухни, Леонид Сергеевич стоял за своим стулом, опираясь на спинку большими руками, упрямо наклонив голову, и раздраженно говорил:

— Что ты хочешь от монтажников, Борис Николаевич? Вы — конструкторы — такой народ: вас беспокоит машина, а как ее будут собирать — вас мало трогает. Монтажники сделают! Вот мы и делаем, что можем. Проверь все наши нормы, все в ажуре. Четыре километра сварного шва сделали. Минутки лишней не прихватили! Наоборот — почти двести процентов выполнения плана. И это на такой сложной машине. Ведь четырнадцать тысяч деталей поставили!

— Нелюбезно встречаешь, Леонид Сергеевич, — опять усмехнулся Борис Николаевич. — Я тоже хочу отдохнуть. Дай же поужинать.

— Вот это дело другое, — как будто даже обрадовался Леонид Сергеевич и засуетился. — Наточка, прими командование за столом.

Наташа охотно села за стол. Борис Николаевич с ласковым вниманием следил за ней. И от его взглядов ей было хорошо и тревожно, она боялась совершить какую-нибудь оплошность. Выбрав минуту, она даже посмотрелась в соседней комнате в зеркало. Серое любимое домашнее платье сидело хорошо, и волосы были в порядке. Только лицо горело. Наташа вернулась в столовую.

Мужчины добродушно беседовали о заводских новостях, забыв, казалось, о том, что свело их в такой неурочный час в будний день.

Леонид Сергеевич временами выключался из общего разговора и начинал постукивать костяшками пальцев о стол. В такие минуты Борис Николаевич бросал на него быстрый взгляд, ожидая, что сейчас они вернутся к прерванному разговору о монтаже.

Наташе было приятно видеть Соболева в этой домашней обстановке, ухаживать за ним, предлагать ему закуски, выполнять роль хозяйки, угадывая желания. Встречая его внимательный и благодарный взгляд, она чуточку смущалась и краснела.

Наташа встала, чтобы принести чай.

— Все это интересно,— услышала она спокойный голос Бориса Николаевича.— Но я хотел бы узнать, когда все же мы закончим монтаж? Ведь обязались сдать досрочно...

— А что ты от нас, собственно, хочешь? — взорвался опять Леонид Сергеевич.— Предложи, послушаем...

Наташа внесла чайник. Хозяин и гости стояли у письменного стола. Борис Николаевич попросил:

— Наташа, возьмите, пожалуйста, карандаш, подсчитывайте. Мельников занятную вещь предложил.

— Считайте, считайте,— насмешливо посоветовал Леонид Сергеевич. Он отошел вглубь комнаты и закурил, стараясь не показывать, что его интересует разговор Мельникова и Соболева.

В монтажном цехе вели работы по оснащению опорной плиты землеройной машины. Большая по площади — двадцать метров в ширину и десять в длину,— весом в сто двадцать тонн, собранная, она лежала сейчас нижней частью на специальных бетонных столбах. Ее надо было перевернуть в рабочее положение. В цехе имелся только пятидесятитонный кран. Немыслимо и представить, что с помощью этого крана можно перевернуть плиту. Оставался самый обычный и простой путь — произвести демонтаж плиты, разделить ее на три составных части и начать повторную сборку. Это могло занять около двух недель. Этот-то срок и не устраивал завод.

— Как сделаем? — быстро говорил Мельников, оглядываясь на Леонида Сергеевича в поисках поддержки. От волнения лоб у него покрылся испариной.— Приварим к плите уши с двух сторон. Понимаете? Потом кладем не-

сколько шпал с одной стороны, и за ушко поднимаем кра- ном плиту и кладем ее на шпалы; потом с другой стороны также подкладываем шпалы и за другое ушко поднимаем плиту. Понятно?

— Сколько же это шпал понадобится? — сердито воз- разил Леонид Сергеевич. — Да и как вы плиту повернете? Поползут ваши шпалы.

— Повернем, повернем, и шпалы не поползут, — спо- койно, и все так же лукаво щуря глаза, ответил Мельни- ков, с нетерпением следя за возникающими под рукой Наташи колонками цифр и вытирая платком лицо.

А колонки цифр все росли и росли, и уже Наташа на- чинала понимать всю нереальность предложения Мель- никова. Выходило, что понадобится для опор уложить около восьми вагонов шпал.

— Вы мне весь цех дровами завалите, — съязвил Ле- онид Сергеевич, но на него не обратили внимания.

Длинные тонкие пальцы Наташи, с ногтями, окрашен- ными светлым лаком, торопливо двигались по бумаге, выписывая цифры. Мельников напряженно, не мигая, пе- рестав улыбаться и оглядываться на своего начальника цеха, следил за колонками цифр. Бориса Николаевича, казалось, больше интересовали руки Наташи, чем то, что они делали. Он смотрел спокойно и почти равнодушно на цифры. Подошел и Леонид Сергеевич, заглянул через пле- чо Соболева и презрительно хмыкнул.

— Ясно, — спокойно подвел итог Соболев. — Спасибо, Наташа. Ничего не выходит.

— А может, как по-другому? — с надеждой спросил Мельников.

— По-другому надо поставить еще кран на семьдесят тонн, — ответил Леонид Сергеевич.

— Ты, действительно, очень устал, — впервые за весь вечер не сдержался Соболев. — А если металлические стойки с упорами? Знаете, такие, как на стадионах для прыжков в высоту. Это лучше шпал. Как, Мельников? А?

Соболев стал быстро набрасывать рисунок. Наташа, следя за рукой Бориса Николаевича, впервые заметила, что один палец в суставе не разгибается, и эта маленькая беспомощность руки вдруг почему-то тронула ее сердце.

— Стойки? — быстро спросил Леонид Сергеевич и за- курил новую папиросу, прикурив ее от своей же. — Вот это ценное дополнение. Подожди-ка, Борис Николаевич, я

сам,— произнес он решительно, подходя и забирая у конструктора карандаш.— Стойки, стойки... Значит, мы имеем сто двадцать тонн... Просто, как в учебнике...

Борис Николаевич отошел к окну, присел на подоконник и закурил. Встретившись глазами с Наташей, он улыбнулся ей, кивнул в сторону Леонида Сергеевича, как бы приглашая полюбоваться на то, как тот весь преобразился.

— Выйдут стойки!— с торжеством воскликнул Леонид Сергеевич, отбрасывая карандаш с такой силой, что он покатился по столу и упал на пол.

— Сержант не растерялся,— весело сказал Борис Николаевич и звучно рассмеялся.

Леонид Сергеевич откинул свисающую прядь волос и с удовлетворением сказал:

— А ты, Мельников, говорил — облако ловить.

— Да ведь это вы говорили.

— Разве? — искренно удивился Леонид Сергеевич.— Ну, а уж директору ты звонить советовал?

— Не отрицаю.

Наташа заметила, что Леонид Сергеевич все время приписывает Мельникову те чувства, которые сам переживает. Ей очень нравились отношения Леонида Сергеевича и Мельникова, дружественно-поощрительные, словно они все время, играя, проверяли друг друга. И Борис Николаевич был у них своим человеком. Они могли и поссориться, но остаться друзьями. Наташа была довольна, что в этот вечер она оказалась дома.

— Вот так-то, дорогой Борис Николаевич,— громко говорил Леонид Сергеевич, радуясь, что нашел выход из трудного положения.

Лицо его повеселело.

Борис Николаевич взял исписанный листок, внимательно посмотрел его и спросил вполголоса:

— Завтра начнем?

— Завтра и закончим с вашей опорной плитой, будь она трижды неладна! Так, Мельников?

— Срок устраивает,— поддержал своего начальника бригадир.

Леонид Сергеевич позвонил в цех и отдал распоряжение, чтобы начали готовить металлические стойки.

— А накурили, накурили,— услышали они голос Вари. Она стояла в пальто и шляпе.— Что это у вас? Техническое совещание?

— Варюша знает, когда должна появиться хозяйка,— сказал Леонид Сергеевич, обнимая за плечи жену и окидывая глазами стол.— Ужин, товарищи, надо продолжить.

4

Утром Наташа, проходя мимо Соболева, чуть замедлила шаги. Соболев, здороваясь, многозначительно улыбнулся ей, а в середине дня подошел и спросил:

— Хотите посмотреть, как поднимут опорную плиту?

Наташа быстро взглянула на него. Взгляд Соболева был ясный, веселый и довольный. Вчерашний вечер сблизил их, новые, еще неясные отношения возникали между ними. Сейчас Соболев не казался Наташе замкнутым и суховатым человеком, всегда очень занятым. А вчера Наташа видела, как Соболев может от души смеяться.

С волнением и гордостью Наташа приняла предложение идти в цех. Соболев дорогой о чем-то говорил ей, Наташа почти не слышала его.

Ослепительное солнце сияло над заводом. К привычным запахам дыма и горелого железа примешивался тонкий смолистый запах набухающих почек.

«Уже весна!» — радостно подумала Наташа.

Множество солнечных столбиков, похожих на прозрачные трубки, по которым уходил голубоватый воздух, прорезали высокий и гулкий цех. Где-то сердито шипело пламя электросварки, и торопливо, звонко стучали клепальные молотки.

Большая опорная плита, вся ребристая от наваренных на нее полос металла, с множеством деталей непонятного для Наташи назначения, приподнятая над полом на бетонных тумбах, лежала в центре цеха.

— Видите, какая это махина,— сказал Соболев.— Никогда еще наши монтажники с такими большими деталями дела не имели. Вот и поднимай и повертывай такого слона.

Плиту только начали поднимать. Леонид Сергеевич почти не обратил внимания на родственницу. Он мелькал во всех уголках цеха. Мельников, молодцеватый, упругий, с раскрасневшимся от волнения лицом, стоял в центре плиты и с нее сигнализировал крановщику и рабочим у стоек.

— Как все просто! — не удержалась Наташа и смутилась, что, может быть, этого не следовало говорить.

— Когда дело сделано — все кажется простым, — поправил ее Борис Николаевич. — Теперь-то все получается быстро, выгодно. А без этих стоек монтажники провозились бы недели две. Хорошо придумал Мельников!

— Почему Мельников?

— Идея его. Мне такой простой способ и в голову не приходил. Очень способен он на выдумки. Прирожденный изобретатель.

Мельников заметил Соболева и Наташу и приветственно помахал рукой. Крановщик, приняв это за сигнал, прекратил подъем и встревоженный выглянул из кабинки. Бригадир обеими руками приказал ему продолжать подъем.

Все в цехе с интересом наблюдали за подъемом этой, еще не виданной по размеру и весу, детали новой машины. Кран приподнимал плиту с одной стороны, в металлическую стойку вкладывался упор, и на него ушком сажалась плита. Потом кран переезжал в другой конец и повторял ту же работу.

— Отлично придумано, отлично! — похвалил Борис Николаевич, как бы разговаривая с собой. Временами он действительно забывал, что рядом с ним стоит Наташа.

А плиту поднимали с двух сторон все выше и выше. Мельников стоял теперь на земле, задрав голову, и внимательно следил за всеми действиями рабочих. Его лицо чуть побледнело, только скулы горели, словно обожженные. Борис Николаевич уже давно держал в руках потухшую папиросу. Казалось, что в цехе становится все тише, не так уж громко шипит пламя электросварки и глуше стучат клепальные молотки.

Борис Николаевич нервно повел плечами и пробормотал:

— Ну, ну, хорошенько крепите... Не провороньте.

Он вдруг взял Наташу за кисть руки и так сильно сжал, что девушка охнула. Борис Николаевич оглянулся, опомнился и тут же отпустил руку. «Как он волнуется!» — подумала она.

Теперь плита была примерно на половине высоты цеха, и казалось, что ее поддерживают не стойки, а упругие солнечные столбики, пробивавшиеся сквозь щели железной крыши. Они были так ярки, что слепили глаза.

Мельников тихо спросил:

— Командовать?

Леонид Сергеевич ответил не сразу. Он тревожно оглядел цех, пожевал губами и тихо, решительно произнес:

— Давай!..

Мельников отступил в сторону, затоптал недокуренную папиросу, зачем-то привстав на носки сапог, развел руки в стороны и покрутил кистями.

Большая плита стала медленно, словно нехотя, поворачиваться вокруг своей оси. Наташа оглянулась. Все стояли, задрав головы, затаив дыхание. Она опять посмотрела на плиту. Казалось, что солнечные столбики, теперь переместившиеся, уже не поддерживают плиту, а помогают ей повернуться.

— Чудо! — нервно сказал Борис Николаевич, нарушая тишину. — Честное слово, чудо!.. — и облегченно рассмехался. И всем вокруг стало вдруг легко от этого смеха.

Леонид Сергеевич похлопал Мельникова по плечу.

— А ты все боялся, чужак!

Мельников только добродушно усмехнулся, на миг перестав следить за поворотом плиты.

Леонид Сергеевич не мог скрыть своей бурной радости.

— Что скажешь, Борис Николаевич? Ловко сделано? Вот как монтажники работают!

— Одно скажу — сержант не растерялся...

— А ну тебя — с поговоркой...

Плита уже повернулась, и Мельников начал командовать спуском.

Леонид Сергеевич умчался куда-то в глубину цеха, но и оттуда доносился его веселый голос.

— Шумный у вас родственник, — одобрительным тоном заметил Соболев. — А работать с ним хорошо.

Солнечные столбики исчезли, в цехе стало сумрачнее и строже.

Уже опять стоял шум, неразличимыми стали людские голоса. Самый напряженный момент поворота плиты прошел, все вернулись к своим делам. Только небольшая группа рабочих во главе с Мельниковым продолжала медленно опускать плиту.

— Теперь все просто и самому кажется, — повторил Борис Николаевич. — А эта плита мне неделю спать не давала. И ничего не мог придумать. А Мельников нашел... Вот, Наташа, как, бывает, мы свои дела решаем.

Плиту уже устанавливали на бетонные столбики. Рабочие что-то размечали на металле, подтаскивали детали, устанавливали электросварочные аппараты.

— Идемте,— позвал Борис Николаевич,— нам тут теперь нечего делать.

Коротенький весенний вечер кончился. Голубые сумерки охватывали завод. В воздухе еще держался клейкий аромат почек, и к нему примешивался запах легкого весеннего морозца, пропитанного душистой свежестью подмерзающей капли.

— Весна! — сказала Наташа.— В воскресенье обязательно поеду за город.

— С целью?

Наташа рассмеялась.

— Да разве за город с целью ездят, Борис Николаевич? Гулять.

— И как вы это делаете?

— Сажусь на автобус, еду до конечной остановки, а потом иду пешком по тропинкам, какие нравятся.

— И они вас не обманывают?

— Наоборот, всякий раз открывают чудеса.

— Вот как, оказывается, можно гулять,— с завистью сказал Соболев.— А я избаловал себя. Захочу отдохнуть — сажусь за руль и еду километров сто... Ведь надо как-то оправдывать владение машиной. Надо ваш способ испытать: автобусно-пеший.

— Уверена, что мой лучше.

— Не спорю — нужно проверить.

В конструкторской почти никого не было. Таинственная темнота лежала в углах зала. На чертежных досках белели большие листы бумаги с еле заметными линиями чертежей. Наташа подумала: как же велик общий труд! Сначала мысли конструкторов воплощаются в чертежи, потом переходят в детали и завершаются вот так, как это она видела сегодня в цехе.

— А день-то и пролетел,— с сожалением сказал Соболев.— Устали? Идите-ка домой, а я еще поработаю...

Она поняла это, как желание Соболева побыть наедине, и не обиделась.

Наташа прошла к своему месту, прибрала все и направилась к выходу. Борис Николаевич сидел за своим столом. Свет лампы бросал большой светлый круг на стол.

Только один чистый лист бумаги и остро очиненный карандаш лежали перед Соболевым.

Борис Николаевич услышал легкие шаги Наташи и поднял голову, но ничего не сказал девушке, только кивком протиснулся с ней.

Наташа тихо закрыла за собой дверь.

Потом, когда она шла по весенней улице, уже чистой от снега, она думала о вчерашнем вечере и нынешнем дне. Ей казалось, что произошло что-то очень важное и большое в ее жизни за минувшие сутки, и старалась понять, что же именно...

5

Трудные это были дни. Наташа только заканчивала очередную работу, а на столе уже лежало следующее задание. Так работали и все конструкторы.

Теперь Наташа редко видела Соболева. Приближалось время сдачи машины, и Соболев, минуя конструкторскую, проходил прямо в цехи. Конструкторы тоже вызывались в цехи и пропадали там целыми днями, уточняя на месте чертежи, разрешая все неясности. Несколько раз бывала в цехах со своими чертежами и Наташа. Соболев разговаривал со всеми коротко, нетерпеливо, выглядел усталым.

Дома Варя сокрушалась о Леониде Сергеевиче.

— Совсем закружился!.. Все ли у него там в порядке? Ведь он правды, если у него плохо, не скажет. А уж заговорит — значит, никуда дело не годится.

— Через месяц машину на Волгу отправляют, — сказала Наташа. — На два месяца раньше срока сборку заканчивают. Все сейчас так работают.

В воскресенье Наташа собралась поехать за город. Варя одобрила ее намерение. День выдался ясный, светлый. «Буду обязательно каждое воскресенье уезжать из города», — думала Наташа.

У остановки автобуса стояло несколько человек. Наташа заняла очередь.

— Собрались? — услышала она знакомый голос.

Соболев стоял рядом с Наташей.

— Решил проверить ваш способ отдыха.

На автобусе они доехали до большого пригородного опытного хозяйства и пошли по тропинке к лесу. За низким забором виднелись фруктовые деревья, розовели набухшие почки, готовые вот-вот выбросить цветы.

— Еще два-три таких дня, и все зацветет,— сказал Соболев, мечтательно оглядываясь. Он снял шляпу, ветер шевелил его темные волосы.

У сосны тропинка разбежалась на три дорожки. Соболев остановился, чему-то улыбнулся, и Наташа поняла его. Она свернула на левую тропинку, и Борис Николаевич пошел за ней.

Они шли медленно — ведь впереди целый день. Миновали темные, деревянные двухэтажные домики в сосновом лесу и так же неторопливо, шагая в ногу, долго поднимались в гору.

С камня, на который они присели, виднелось шоссе. По нему проносились легковые машины, автобусы, мелькали фигуры велосипедистов. Дальше лежало разлившееся, вышедшее из берегов, озеро, на берегах которого стоял голый сиренево-дымчатый лесок, а еще дальше, на угорьях, щетинился лес.

Солнце то и дело прорывало хмурую тонкую пелену, и тогда все окрашивалось светлыми красками. Блестело озеро, расцветал березовый лес, наливались синевой дальние сосновые леса. Все дали преображались.

Наташа молчала, замороженная этой игрой света. Она все еще не могла побороть смущения от этой неожиданной прогулки наедине с Соболевым.

Молчал, отдыхая, и Соболев.

В лесу бродили горожане. Первый весенний день привлек в лес многих. Пробежали девчушки в коротеньких байковых курточках, с букетами первых желтых цветов. Прошли солдаты, на ходу перекидываясь мячом. Пожилые люди, видимо, две семьи, уютно расположились среди камней на толстых корневищах сосен, расстелили скатерть, собираясь закусить на свежем воздухе.

Соболев взглянул на Наташу, собираясь спросить — не холодно ли ей, и не спросил. Робкая и доверчивая она вдруг стала ему особенно близка. Не задумываясь об этом, он в последние дни нетерпеливо ждал появления Наташи в конструкторской. Когда же это началось? Не с того ли вечера у Леонида Сергеевича, вернее, не с той ли минуты у двери, когда он увидел Наташу в сером платье. Нет, ведь запомнил девушку в первый день ее появления на заводе и особенно тот разговор о первом задании. Тогда он подумал: «Молодец, девушка! Не давай себя обижать».

Наташа чему-то мягко улыбнулась.

— Вы чему улыбнулись? — подозрительно спросил он.

— Вспомнила, что вы часто говорите: «Сержант не растерялся». Что это такое?

— Фронтная шутка... Журналисты привязались к фразе: «Сержант не растерялся...» Пишут, бывало, что вот навалился фашист на нашего связиста, но сержант не растерялся. Или — появились три вражеских самолета над переправой, но сержант не растерялся и сбил один самолет. Вот и пошло...

Соболев сидел немного ниже Наташи и веткой чертил контуры какой-то машины, стирал, опять чертил. Наташа следила за движением его руки.

— Скоро сдадите новую машину, — сказала она. — А что потом?

— Надо делать новую машину. — Соболев тихо рассмеялся. — Начинаем уже думать. Первая сделана, скоро уйдет на Волгу. Понимаете, на Волгу. В раннем детстве я на Волге увидел землечерпалку. Запомнил ее скрежет, неповоротливость... А вот теперь и мои машины будут работать на Волге. Горжусь! Понимаете?

Он заговорил о себе. Рассказывал, как мальчишкой пришел на завод, как, уступая желанию и настойчивому требованию прораба строительного участка, пошел учиться. Два года назад, в Москве, он встретил этого бывшего прораба, теперь руководителя крупной стройки, и какой же хороший вечер провели они, вспоминая годы совместной работы.

Он опять внимательно посмотрел на Наташу и спросил:

— Мечтать любите? Не просто мечтать, а о чем-то очень вещественном, без чего и жить нельзя. Мечтать так, как будто вот таким лесным воздухом дышишь. У меня бывает такое. А потом влезешь в работу — об всем забудешь. Говорят, угрюмым становлюсь. Мы с вами как раз в такое время встретились. Сняты всякие узлы, кажется, что наделал сотни ошибок, просчетов. Чуть свет — летишь на завод. Так месяц, два. А с этой машиной мы уже год не расстаемся. И вот в такие самые трудные дни, когда уже видишь машину, вдруг начинаешь думать о следующей. Кажется, что следующая будет, действительно, настоящей, не будет совестно перед целым светом. А в этой, которую заканчиваешь, уже видишь тьму недостатков и

удивляешься, как мог их допустить. Хочется скорее завершить старую и взяться за новую.

— Думаете о новой машине?

— Уже пора... Нам надо двигаться вперед, наступило время делать новую.

Потом Наташа и Соболев пошли дальше. Он взял ее под руку, а затем мягко сжал в ладони пальцы и уже не выпускал их. Обоим было весело, легко, как старым-старым друзьям.

Кое-где среди сосен еще лежали остатки плотного и голубоватого льда. Зеленели подушечки мха, на бурой земле поблескивали острые травинки и первые листочки земляники.

С высоты им открывалось то озеро, то дальние и ближние леса, то каменные громады города.

Поднялся порывистый ветер, скрылось солнце. В низинах между горами стояла тишина. И они радовались, когда уходили от ветра, а на вершинах Соболев заботливо заставлял Наташу плотнее застегивать пальто, закутывал шарфом шею. Потом вдруг налетел короткий дождь, но, увлеченные разговором, они даже и не заметили его.

— Вы о своей жизни думали?— спросил Соболев.

— Каждый человек, вероятно, думает.

— Конечно... Вот пришли вы к нам на завод. Дело у вас пошло. А дальше? Как теперь будете строить жизнь? Через год-два?

— О, я так далеко не заглядываю,— призналась Наташа.— Справиться бы с настоящим.

— Заглядывайте вперед, если хотите быть конструктором. Знаете, чем я занимался, когда пришел и получил вот такой, как ваш, стол и чертежную доску? Начал чертить все машины, которые видел. Ох, сколько извел бумаги! Это очень полезная работа. Чертишь и думаешь — это не так решено, а вот это очень здорово.

Наташа смотрела на Соболева и не узнавала его. Вот и замкнутый, вот и сухой... Наговаривал на себя.

Когда Соболев и Наташа спускались к шоссе, на пути им встретились два художника. Они писали первые весенние этюды.

— Весна открыта! — засмеялся Соболев.— Это верный признак, что весна пришла.

В городе, прощаясь, Соболев сказал:

— Мы тоже открыли весну. Славную придумали вы

прогулку. Хороши ваши неизвестные тропки. До новой встречи!

— Когда? — смело спросила Наташа.

— А вот уж и не знаю! — Соболев развел руками.— Хорошо бы в следующее воскресенье. Но ведь утром-то непременно увидимся?

Варя и Леонид Сергеевич обедали. Сестра пытливо взгляделась в Наташу и спросила:

— Что с тобой? У тебя случилось что-то хорошее?

Наташа, не отвечая, прошла в свою комнату и там долго стояла у окна, глядя, как темнеет улица и в окнах противоположного дома загораются огни, стараясь разобраться в своих чувствах. Она поднесла руки к горящим щекам и так долго простояла у окна.

Несколько дней спустя, Соболев, совершая свой обычный обход по конструкторской, остановился возле Наташи и несколько минут молча наблюдал за ее работой.

— Вернемся к нашему разговору,— сказал он.

Наташа стояла у чертежной доски за только что начатой работой — чертежом крепления ковша. Она не поняла Соболева — к какому разговору он собирается вернуться?

— Помните, в лесу, я бормотал что-то бессвязное о новой машине? Теперь можно вести более практический разговор.— Он взял Наташу за локоть, подводя к столу и усаживая на стул. И сам сел рядом.

Солнечный жаркий свет лился сквозь широкое окно. Соболев сидел против окна, приставив к бровям ладонь, чтобы защитить глаза. Наташа опустила штору.

— Спасибо,— поблагодарил Соболев.— Так давайте вернемся к тому разговору.

Он положил на стол руки, с пальцами, покрытыми черными волосками, и одним пальцем, искривленным в суставе, и загадочно произнес:

— Хотите настоящую работу? Чтобы она вас зажгла, чтобы вы покой потеряли?

Наташа молчала.

— Ну, хотите?

— Если вы мне доверяете...

Соболев снял руки со стола и повернулся так, что Наташа стала видна ему в профиль.

— Через неделю наша машина уходит на Волгу. И пора нам готовить новую. Стройки торопят...

Он встал. Удивительно, как помолодело его лицо, и, верно, дело было не только в украинской рубашке, которую впервые Наташа увидела на нем. Даже припухлости под глазами почти не были заметны.

— В ближайшие дни,— заговорил он деловито и почти сухо,— конструкторский отдел переключаем на другие дела. Мы должны внести некоторые очень серьезные изменения в свою машину. В частности, лебедочное хозяйство. Помните свою первую работу — расчеты канатов? Я обещал вам, что еще не раз придется вернуться к ним. Необходимо пересмотреть все лебедочное хозяйство, все расчеты по канатам.

Он опять сел возле Наташи.

— Увлекает?

— Еще не знаю. Но я готова взяться и за канаты.

Соболев весело, как в тот вечер у Леонида Сергеевича, рассмеялся.

— Не знаете и не понимаете всей увлекательности этого задания. Сегодня вечером задержитесь. А сейчас отложите это,— показал он на чертежную доску,— и возьмите в архиве все, что найдете по канатам. Вечером поговорим...

Весь день Наташа была занята разбором материалов о канатах. Груда чертежей, справочников заняла стол.

«Какую же я тогда глупость сказала!» — ужасалась она, вспоминая свой первый разговор с Соболевым. Теперь она увидела, сколько труда было вложено в это пустяковое, как тогда показалось ей, дело.

— Я запуталась,— откровенно призналась она, когда после вечернего звонка подошел Соболев.

Он ободряюще улыбнулся.

— В канатах не мудрено запутаться. Но распутаетесь... Разве я был неправ? Это ведь очень интересно.

Они сидели близко за столом, локоть в локоть, и Наташа внимательно слушала его.

— Это все уже сделано,— говорил Соболев задумчиво,— я перед вами другую задачу ставлю. В новой машине две лебедки соединяются в одну, уменьшается количество канатов. Вот вы их и будете рассчитывать. Наши конструкторы на пятнадцати заводах побывали, изучали работу канатов в различных условиях. Вам, думается, тоже придется поехать на заводы, да и на Волгу, заглянете, посмотрите нашу машину в работе, проверите канаты.

Они сидели долго, потом вместе возвращались домой.

Синело вечернее небо над городом. Трамвайные и электрические провода казались вычерченными на густой синьке неба. Наташе представлялось, что она уже давным-давно живет здесь, в этом городе, где ей теперь знакомы многие уголки. И Бориса Николаевича она тоже знает давным-давно.

Соболев проводил Наташу до дому, но войти с ней не захотел, только сказал:

— В счастливый путь! Да?

Она ответила крепким пожатием на это напутствие.

Потом, уже дома, лежа в постели, Наташа вспоминала события своей жизни в этом городе. И почему-то особенно отчетливо видела тот день, когда она шла по заснеженным улицам, впервые вглядываясь в дома нового города, лица горожан. Она даже помнила, что небо тогда отливало перламутром.

Наверное, вот так приходит счастье. Она еще не знала глубины своего чувства к Соболеву, но ощущение счастья от близости к нему все сильнее овладевало ею.

Такие дали и такие просторы открывались перед Наташей, что у нее захватывало дыхание, словно перед полетом.

1952 г.





В ТАЕЖНОМ ГОРОДЕ

1

Переезд в семье доктора назначили на конец августа, чтобы на новом месте мальчики могли с первого сентября пойти в школу.

Лето стояло холодное, дождливое. Пожалуй, самое плохое за пятнадцать лет их жизни на севере. В конце июня вдруг ударили сильные заморозки, и высокая картофельная ботва на огородах сникла, почернела, словно опаленная огнем. За все лето и в лесу не удалось побывать: из-под каждой кочки там сочилась вода.

Утром Марья Васильевна, собираясь на службу в банк, с радостью думала:

«Последнее лето... Наконец-то! Столько времени собирались уехать!»

Муж обещал вернуться из поездки по лесному участку через три недели. Не торопясь, Марья Васильевна готовилась к дальней дороге и жизни на новом месте. Она разбирала книги, журналы, решала, какие возьмет с собой, какие можно подарить больничной библиотеке.

Трудно было с вещами. Их накопилось немало, надо отобрать самые необходимые и самые лучшие. Всякий раз, как Марья Васильевна пыталась решить, что именно взять, ее одолевали сомнения.

Не следовало, конечно, брать громоздкий, потускневший и подтекавший самовар. Но как можно бросить старого друга? Ведь столько передумано и переговорено под его неутомимые песни в длинные осенние вечера, в зимние вьюжные ночи...

Еще труднее с Барсиком. Он появился в доме пятнадцать лет назад, на второй день приезда, и все привязались к нему. В осеннюю и зимнюю пору, когда Марья Васильевна надолго оставалась одна с детьми, ей было спокойнее, если с улицы доносился лай.

Ребята и слышать не хотят, чтобы оставить Барсика. А как его возьмешь? Барсик одряхлел. Редко-редко слышен теперь его голос. Он мало бегаёт, больше спит на подстилке в сених. Но, когда Марья Васильевна выходит в сени, Барсик обязательно встает и смотрит на нее преданными мутными глазами. Попрежнему для него самая большая радость — побыть в комнатах. Как быть с ним? Марья Васильевна ничего не могла придумать.

После длительного ненастья вдруг наступила ясная погода. Низкие серые тучи куда-то ушли, весь день сияло жаркое солнце. Стали видны далекая горбатая вершина Гумбы и острая, словно петушиный гребень, вершина Куралая, заросшая щетинистым лесом.

Марью Васильевну неудержимо потянуло в тайгу. После работы, сделав все по дому, отпустив мальчиков гулять, она пошла за реку.

На деревянном мосту через Вагран Марья Васильевна остановилась. Быстрая вода бурлила у свай. Желтая пена, похожая на хлопья ваты, пропитанной иодом, кружилась в воронках, застревала в затопленных кустах. Течение было стремительное. Казалось, что мост, вспарывая ледорезами воду, быстро несется по реке. У Марьи Васильевны даже закружилась голова.

Послышался треск. По крутой красноватой дороге из леса спускался мотоцикл. На мосту мотоциклист сбавил газ, и Марья Васильевна узнала по светлым волосам, выбившимся из-под берета, геолога Ирочку Гунину. На багажнике сидел в желтой куртке и желтых сапогах ее муж, тоже геолог. Ирочка помахала Марье Васильевне рукой в

кожаной перчатке, а Гунип, несколько смущенный своим положением пассажира, только улыбнулся.

Не успели они скрыться, как на мосту со стороны города показался Василий Михайлович Пророков, заведующий отделом народного образования — рослый мужчина в теплой ватной куртке, в высоких охотничьих сапогах, с ружьем за плечами и патронташем за поясом. Впереди него бежала лайка.

Василий Михайлович остановился и поздоровался.

— Не вернулся Афанасий Семенович? — спросил он.

— Жду. Пора бы.

— Говорят, Котва сильно разлилась. В Крутом мост снесло. Мои учителя не смогли на совещание приехать. Вот и воспользовался свободным временем, решил тайгой себя побаловать.

— Что же, ни пуха вам, ни пера.

— Спасибо... Твердо решили уезжать?

— Да, готовимся в путь.

— Правильно. Послужили северу. Позовите на отвальную чарку. Хорошими соседями были.

— Как можно, Василий Михайлович? Обязательно! Но столько с этим переездом забот! Сегодня Барсик расстроил. Что с ним делать?

— Да мне оставьте. Прокормится лишняя собака у охотника.

— Правда, возьмете? Вот спасибо...

Они вместе перешли мост и попрощались. Марья Васильевна свернула на береговую щебенистую тропку, а Василий Михайлович, подсвистывая собаке, зашагал дальше по дороге.

Сначала тропка вилась вдоль высокого каменистого берега, потом поднималась в гору и исчезала в густой тайге. Марья Васильевна хорошо знала и любила эту дорожку к старому кирпичному заводу. С мужем они часто гуляли здесь.

Деревьям тут было тесновато — так много их росло. Стояли высокие и прямые, как свечи, лиственницы с нежной зеленью мягкой хвои. Несколько кедров держались обособленной группой, сомкнув в большой шатер свои густые кроны. Между мачтовыми соснами густо росли елки, опустив до самой земли зеленые лапы; переливался на солнце голубоватый ягель. Ближе к берегу, среди белых камней и зеленоватых от моха острых каменных гребеш-

ков, раскинулись кусты черемухи и шиповника. На самой круче приютилась высокая рябина.

Марья Васильевна подошла к каменному обрыву и села на пенек. Внизу шумела река, от заплотицы доносились звонкие ребячьи голоса. Сверкала на солнце мелкая галька. Краски — белая обрывистого берега, зеленая прибрежных трав, красная леса и голубая неба — создавали такое разнообразие оттенков, что можно было долго сидеть, отдыхая душой, и любоваться.

На противоположном берегу на покатой возвышенности виднелся город, нарядный, веселый. Ближе всех к реке протянулась улица деревянных одноэтажных домиков с небольшой церковью на площади. За улицей вставляли новые кварталы каменных двух- и трехэтажных домов с балконами, большой Дворец культуры, с фигурой горняка у входа, больница, школа. А еще дальше — недостроенные каменные коробки нового квартала. Над ними повертывалась стрела ажурного подъемного крана. На лесах виднелись люди. Левее блестел шпиль нового вокзала. Шахты расположились в стороне.

Вот как вырос город! А пятнадцать лет назад, когда они приехали, стояла только одна улица деревянных домов таежного села с церковью, тоже деревянной, на площади. Им тогда долго пришлось искать подходящую квартиру. Даже почты не было в этом далеком от железной дороги селе. А теперь на всех картах можно прочесть название нового города.

Тогда к ним, как на огонь маяка, заходили по вечерам в гости геологи и рассказывали свои новости, мечтали о будущем. На их глазах сюда подтянули железную дорогу и начали добывать руду. Теперь тут три рудника, два закладываются. Говорят, что через пять лет население города удвоится. Строятся еще школы, готовятся жилые дома. Растет и хорошеет с каждым годом город...

Впрочем, все это будет уже без них.

Марья Васильевна испытывала особый душевный покой. Вот только сообщение Василия Михайловича о разливе Котвы немного встревожило ее: не задержится ли из-за этого муж? Она привыкла к длительным его отлучкам в любое время года, в любую погоду и была уверена, что ничего с ним не случится. Но все же досадно, если он задержится. Многие дела, связанные с переездом, ей придется решать одной.

Не верилось, что через месяц их здесь не будет. Без них в сентябре отпразднуют открытие красивого вокзала железной дороги, новой школы.

Вот и уедут они из города, в котором прожили много лет, где родились и выросли их дети. Ехали на три года и вдруг застряли.

В конце третьего года Марья Васильевна начала собираться в обратную дорогу. Ей хотелось вернуться в родной город в низовьях Камы. Легче жить рядом с родственниками. Но муж убедил ее остаться еще на год. Ему хотелось пожить немного в этих таежных местах. Да и есть ли смысл трогаться, когда зима на носу? Марья Васильевна, подумав, согласилась.

А там пошло: с весны начинались разговоры о переезде, а осенью отъезд откладывался еще на год.

Вот так и пролетели годы. Обоим теперь уже за сорок. Хотя муж и мало изменился, Марье Васильевне казалось, что она очень постарела. Хотя и уверяли ее, что она хорошо сохранилась для своего возраста, но где там, да и в самих заверениях этих было признание годов. Женщины сильнее чувствуют ход времени.

Муж полюбил летние поездки по тайге, исчезал на два-три месяца. Так продолжается до сих пор. Все ему нипочем, едет в любую погоду. Марья Васильевна не понимала и не одобряла этого увлечения. В прошлом он был обязан совершать поездки по отдаленным местам, так как был единственным врачом на всю округу. Теперь в городе большая больница, с солидным врачебным персоналом. Муж заведует одним из отделений. В тайгу могли бы выезжать и более молодые врачи. Но муж и разговоров об этом не допускает. Сейчас, отправляясь в последнюю поездку, он сказал:

— Поеду проститься с тайгой, со всеми знакомыми... Может, больше и не придется побывать...

Подходя к дому, Марья Васильевна увидела Барсика. Он ждал у ворот. Значит, кто-то посторонний был в доме, и Марья Васильевна ускорила шаги.

Барсик, виляя хвостом, вошел во двор, поднялся на крылечко и улегся у перил на солнышке.

В комнате сидел геолог Константин Сергеевич Смыслов. По сумрачному загорелому лицу Константина Сергеевича Марья Васильевна догадалась, что он явился не с добрыми вестями.

Смыслов поднялся навстречу Марье Васильевне.

— Только не волнуйтесь,— неловко начал он.— Ничего страшного. Видите ли...

— Что? Скорей!.. Что случилось? — спросила Марья Васильевна, схватившись за спинку стула. Сердце часто забилось, и вся комната тихо закружилась перед ней, она почти не различала лицо Смылова.

— Афанасия Семеновича привезли... В тайге подобрали. Очень болен, сейчас в больнице.

— Что с ним? Скажите правду!

— Говорят, простуда.

— Я так и знала... так и знала,— растерянно повторяла Марья Васильевна.— И почему в больницу, а не домой?

Геолог только руками развел.

— Проводите меня,— попросила Марья Васильевна.

Афанасий Семенович лежал в отдельной палате. Марью Васильевну тотчас провели к нему. Она не сразу узнала мужа — таким желтым и осунувшимся стало его лицо. Слышалось затрудненное дыхание. Открыв глаза, Афанасий Семенович попытался улыбнуться и приподнять голову.

— Лежи, лежи,— овладев собой, спокойно и властно сказала Марья Васильевна.

— Что дома? — спросил тихо Афанасий Семенович.

— Все хорошо... Ах, зачем ты поехал,— невольно вырвалось у нее.— Говорила...

— Да, Машенька,— виноватым шопотом ответил он.

2

Афанасий Семенович уехал, как он всем говорил, прощаться с тайгой. Поездка выдалась очень тяжелая. Там, где обычно летом проходили пешком, теперь доктор с трудом пробирался на лошади. Земля густо напиталась водой, а дожди все лили и лили. За три недели не выдалось ни одного сухого дня.

Все же Афанасий Семенович выполнил намеченный план. Он пробрался к изыскателям железной дороги, побывал в трех геологических партиях, на отдаленном золотом прииске, в таежных небольших селах. Оставалось только навестить на лесном кордоне старого приятеля —

охотника, у которого заболела старшая дочь, и тогда можно повернуть назад.

Афанасий Семенович был доволен своей поездкой, но с удовольствием думал, что скоро будет дома. Приедет, вымоется, наденет свежее белье и выйдет к чаю. За столом, возле большого самовара, соберется вся семья. Расскажет он ребятам, что ему пришлось увидеть в тайге, выложит перед ними всяческие таежные редкости, образцы руд. Потом у себя в комнате займется разбором накопившихся писем, газет, журналов...

Лошадь осторожно шла по узкой лесной дороге. Ноги ее глубоко проваливались.

Мелкий, нудный дождь моросил и моросил. Сырые испарения поднимались от земли, плотный туман лежал во всех впадинах. Лес по обе стороны стоял молчаливый, хмурый, темный. Стволы деревьев почернели. Попряталось все живое, только какая-то большая птица сорвалась с голой вершины сухого кедра и поднялась над лесом, тяжело взмахивая намокшими крыльями.

Показалось огороженное поле. Рожь росла на грядках. Это делалось для того, чтобы она не вымокла. Зеленые стебли лежали на раскисшей земле, спутанные, смятые, как водоросли, выброшенные на берег.

Лошадь пошла веселее.

Через полчаса езды за деревьями мелькнули три знакомых тесовых дома. Афанасий Семенович остановился у крайнего. Хозяин — старик с черной, без единого седого волоска, бородой в колечках — говорил нараспев:

— Вот спасибочки... Не побоялись в такую непогоду заехать.

В доме с утра протопили печь, и Афанасий Семенович, войдя в комнату, почувствовал всю прелесть тепла и потянулся своим крупным телом. С трудом стянул он мокрые сапоги и, оставшись в носках, прошелся по комнате, застеленной половиками. Одну стену занимали распластанные крылья глухарей — охотничьи трофеи хозяина. «Да, красиво», — подумал Афанасий Семенович.

— В такую мокреть поехали, — опять сокрушенно сказал старик.

— Ладно, ладно, Кузьмич, — добродушно отозвался Афанасий Семенович. — Не ворчи на незваного гостя. Где больная?

— В той горенке

Высокий, веселый, Афанасий Семенович, охотник и рыбак, везде был своим человеком. В тайге его знали и любили. Когда он выезжал на участки, по тайге передавали:

— Наш доктор едет.

Таежники так привыкли к его наездам зимой и летом, что удивились бы, если бы доктор вдруг прекратил эти поездки. Афанасий Семенович знал о своей таежной славе и гордился ею, пожалуй, не меньше, чем удачными операциями.

Когда жители таежных поселков приходили в больницу, то просились на прием только к Афанасию Семеновичу, и это доставляло ему истинное удовольствие. Семейство Арсения Кузьмича доктор знал хорошо — двух сыновей, двух дочерей и появившихся зятьев. С мужчинами он провел не одну ночь на рыбалке и охоте.

Афанасий Семенович осмотрел молодую женщину, болевшую ангиной. Три недели назад она родила у них в больнице мальчика. Поговорив и пошутив с больной, взглянув на ребенка, похвалив его, Афанасий Семенович направился в остальные дома. Доктору везде были рады, приглашали переночевать. Но Афанасий Семенович всегда останавливался у стародавнего друга Кузьмича, и на этот раз ему не хотелось обижать старика.

Вечером Афанасий Семенович, в самом прекрасном расположении духа, и Арсений Кузьмич сидели в комнате с глухаринными крыльями на стене, слушали по радио музыку и беседовали о жизни. За окном шумел заунывно дождь.

— Уговаривают пойти в разведку,— рассказывал Арсений Кузьмич.— Хороший оклад сулят. Сына соблазнили, ушел с геологами. Теперь и меня сманивают. Не знаю, как быть...

Разговоры о житейских делах Афанасию Семеновичу приходилось вести со всеми пациентами.

— В разведку? Ну что же, иди,— посоветовал Афанасий Семенович, поблескивая живыми синими глазами.— Большую пользу принесешь. Пора из тайги уходить, в поселок переселяться. У тебя и внуки растут, им скоро в школу. Как же они без деда жить будут?

Но старик с сомнением покачал головой.

— А чем тайга плоха? Пусть внуки сюда приезжают.— И хитро улыбнулся.— Вот и вас тайга манит. Вижу, что

манит. Ведь каждое лето и зиму вот так приезжаете. А зачем? У вас теперь больница большая, недосуг вроде по тайге бродить.

— Ради таких таежников и езжу. Не бросать же вас комарам на съедение. А перейди ты в разведку, другие — кто к горнякам, кто в леспромхоз, и я перестану ездить. Да скоро и совсем уеду. Прощаюсь с севером.

— Что так?

— Жена просит давно. Да и сам думаю, что зажился. Поработал.

— Неужто уедете? — не поверил Арсений Кузьмич. — Не полюбили, значит, наши места? Не легло сердце?

— Не то, Кузьмич, не то. Ехали с женою на три года. Так условились. А потом как-то случилось, что еще на два года договор подписал. Даже жена не знала. А тут геологи начали работать, попросили возле них пожить. Да и сам заинтересовался: что тут с тайгой собираются делать, что в таежных болотах найдут? Помнишь, какая тут глушь была? А потом все откладывал и откладывал. Вот и зажился. А жену в родные места тянет. Да и самому вроде надо в новых местах побывать, а не только в тайге.

— Оно, конечно, — согласился Арсений Кузьмич, — человек вы еще молодой.

Утром, узнав, что доктор приезжал в последний раз, провожать его вышли все жители.

День стоял такой же пасмурный, как и накануне. Сеял все тот же мелкий дождь, и за ночь озимь поникла еще ближе к земле. «Не поднимется», — с огорчением подумал Афанасий Семенович. «Через четыре дня буду дома», — прикинул он остаток пути.

С утра доктору было как-то не по себе, да и спалось плохо, слегка познабливало. Афанасий Семенович старался не придавать значения этому недомоганию. Болезней он не любил, старался переносить их на ногах. «Вечером прогреюсь в бане, все и пройдет», — думал он.

К вечеру, однако, ему сделалось совсем плохо: ломило в глазах, голова стала тяжелой. Афанасий Семенович с трудом держался в седле, хотелось лечь и закрыть глаза. А однообразная тяжелая дорога тянулась и тянулась, и реки все не было.

Подъехав к Жотве, Афанасий Семенович удивился: когда она успела так разлиться? Несколько дней назад

доктор спокойно вброд переехал через нее. Сейчас река вздулась, и камни, служившие ориентиром брода, скрылись. Мутная вода журчала между затопленными стволами.

Афанасий Семенович слез с лошади и подошел к воде. Быстрое течение подмывало крутой песчаный берег, отваливало от него комья земли. Длинные корни сосны висели в воздухе, и она все больше наклонялась к воде.

Ближайший мост находился в пятнадцати километрах вверх по реке. Если бы доктор был здоров, он непременно направился бы в объезд. Теперь он боялся, что сил на такой путь у него не хватит.

Разобрав повод, Афанасий Семенович с трудом сел в седло — голова кружилась. Лошадь неохотно подошла к берегу и, нагнув голову, стала нюхать воду, с шумом втягивая воздух. Доктор толкнул ее, заставляя войти в воду.

Глухой шум слева привлек внимание доктора. Сосна продолжала медленно клониться к реке, словно кто-то сильный сталкивал ее, а дерево все еще пыталось удержаться, цепляясь корнями за осыпающуюся землю. Но вот сосна повалилась, всплеснув воду, и, подхваченная течением, повернулась несколько раз и понеслась вниз.

Осторожно переступая ногами, лошадь вошла в воду и остановилась. Доктор опять толкнул ее.

Он смутно помнил все, что случилось потом. Вскрапнув, лошадь решительно двинулась вперед, но сразу споткнулась, и Афанасий Семенович вывалился из седла. На миг перед ним мелькнула морда лошади с оскалом желтых зубов и расширенными фиолетовыми глазами. Работая отчаянно руками и ногами, Афанасий Семенович пытался повернуть к берегу. Он задыхался, намокшая одежда мешала плыть, тянула вниз.

Вдруг ноги коснулись дна, и Афанасий Семенович, все еще разводя руками, спотыкаясь, выбрался на мокрый щебенистый берег и прислонился к сосне, тяжело дыша. Лошадь несло течением к низкому затопленному берегу. Еще раз мелькнула ее голова и скрылась за поворотом. «Выберется, — подумал Афанасий Семенович. — Но что предпринять мне?»

Он старался спокойно оценить положение. Вернуться к Арсению Кузьмичу? Не дойти. Здесь через реку не переправиться. Оставалось одно — двигаться к мосту. По дороге есть небольшое селение, где-то близко работают

геологические партии. Может быть, он встретит кого-нибудь, и ему помогут.

Выжав воду из одежды, доктор двинулся вдоль берега.

Озноб усилился еще больше. Голова горела, веки давили на глаза. Идти было трудно, ноги проваливались в мягкую моховую подстилку, и коричневая вода при каждом шаге звучно чмокала.

Тайга только казалась безлюдной. На поляне Афанасий Семенович увидел следы костра — несколько головешек и черный круг обгорелой травы. Попадались участки, где брали живицу. Один раз Афанасию Семеновичу показалось, что люди должны быть особенно близко. Он вышел на визирку — просеку, прорубленную в молодом сосновом лесу. На месте крайней скважины белела свежая деревянная пробка с номером и датой окончания бурения — репер, по выражению геологов. Везде валялись свежие стружки, окурки, спичечный коробок. Афанасий Семенович отдохнул тут, прислушиваясь.

Он шел до тех пор, пока деревья не слились в сплошную темную стену.

На ночь он прикунул возле сосны. Здесь было несколько суше. Изредка Афанасий Семенович забывался коротким тревожным сном. В минуты забытья перед ним возникали бессвязные картины встреч, разговоров, споров. Он попадал в какие-то опасные положения. Мелькнула мысль, что все это — дурной сон, что стоит только собрать всю волю и открыть глаза, как призраки исчезнут, и он увидит себя дома, в спальне.

Открывая глаза, Афанасий Семенович убеждался в другом: тяжелый сон продолжался и наяву. Ему, действительно, угрожала опасность.

Дождь кончился, но стало очень холодно. Афанасий Семенович вставал, делал три шага вперед и три шага назад, чтобы согреться. Обессиленный, он опять присаживался, прижимался спиной к теплему, как ему казалось, стволу сосны, вытягивал ноги и закрывал тяжелые веки. Временами ему слышались близкие голоса людей, стук топора, бречание сбруи... Он открывал глаза и прислушивался. Нет, ничего! Обман слуха! А ведь люди где-то близко...

«Температура не менее сорока», — вяло соображал доктор.

Рассвету Афанасий Семенович обрадовался. Тайга молчала, ни одна птица не подала своего голоса. Он встал и медленно двинулся дальше. Во всем теле чувствовалась боль, ноги ломило.

Опять вода преградила путь. Река далеко вышла из берегов. Между стволами желтела неподвижная вода, поверх которой плавал лесной мусор.

Афанасий Семенович стал медленно обходить новое препятствие.

Так он брел весь день, позволяя себе лишь короткие отдыхи. Он знал, что должен идти и идти. Если только он остановится и присядет, то вряд ли уже сможет встать и двигаться дальше.

Под вечер Афанасий Семенович снова вышел к реке. Вода попрежнему бурлила и клокотала. На противоположном берегу стоял угрюмый и молчаливый лес. За весь день доктор никого не встретил, хотя следы людей попадались чуть ли не на каждом шагу. Он не знал, какое расстояние прошел, далеко ли до моста.

Афанасий Семенович присел на корточки и долго смотрел на воду. Он настолько обессилел, что не мог держать даже голову, и она клонилась все ниже и ниже. Афанасию Семеновичу вспомнилась сосна, упавшая в реку. Он хотел одного: прилечь. И он откинулся навзничь, хотя понимал всю гибельность своего поступка. Земля показалась ему мягкой, теплой и доброй.

...Геологи набрали на лежавшего без сознания у самой воды Афанасия Семеновича. Только через три дня они смогли привезти его в больницу.

3

Из больницы Афанасия Семеновича выписали раньше срока, в средних числах августа.

Начало осени на севере всегда хорошее. Теплый душистый воздух шел из тайги, хотелось дышать и дышать. С каждым вздохом сила и бодрость вливались в тело. Леса стояли приветливо зеленые. Облака, как отары овец, шли весь день над ними.

За воротами звонким, залиvistым лаем захлебнулся Барсик. Марья Васильевна, с утра поджидавшая возвращения мужа, поняла, что Барсик встретил Афанасия Семеновича, и вышла на крыльцо.

— Вот и попрощался, Машенька, с тайгой,— не удержался Афанасий Семенович от шутки, обнимая жену за худенькие плечи.

— Прощался? — Марья Васильевна не могла так легко отнестись к тому, что случилось.— Как ты можешь шутить?

— Да ведь это уже прошлое... Вот я и снова дома! Она только покачала головой.

В доме пахло пирогами, а в столовой на накрытом столе Афанасий Семенович увидел бутылку вина, фрукты.

На пороге своей комнаты Афанасий Семенович остановился и с удивлением посмотрел на связки книг.

— Что это?

— Ты же просил отобрать книги, которые обязательно надо взять. Вот и приготовила.

— Ах да, забыл, забыл...

И пошел во двор умыться. Он так мечтал о том, что дома первым делом умоется у колодца.

— А где наши ветрогоны?

— Где они могут быть? На реке или в тайге.

— Это хорошо, очень хорошо. Пусть бегают... А осень-то началась какая. Чудо! У кедров, говорят, ветки от шишек ломаются.

Потом Афанасий Семенович долго сидел один в своей комнате. Марья Васильевна, повеселевшая и помолодевшая, заглянула в комнату. Муж, положив похудевшие руки на подлокотники кресла, о чем-то задумался.

Прибежали сыновья — старший Валентин, двенадцати лет, и младший, восьмилетний Геня. Послышались веселые восклицания, смех, шум. И громче всех звучал голос Афанасия Семеновича.

Марья Васильевна заглянула в комнату и застала всех за горячим спором.

— Позволь, позволь,— говорил Афанасий Семенович старшему сыну, рассматривая его самодельный приемник, смонтированный на куске фанеры.— В доме имеются трансляционная точка, радиоприемник... А зачем детекторный нужен? Ведь это вчерашняя техника. Такие и в деревнях теперь не найдешь.

— А вот пойдем в лес, захочется радио послушать... Антенну закинул, заземление сделал, и можно слушать.

— Он спать ляжет, наушники наденет и слушает,—

вставил младший Геня, с завистью смотревший на приемник брата.— Мама даже ругается.

— Обширная область применения,— сказал, добродушно усмехаясь, любуясь ребятами, Афанасий Семенович.— Все же, брат, это вчерашняя техника.

— У нас в лагере все слушать приходили. Сколько мы их наделали... На всех деревьях антенны висели.

Обедали на застекленной веранде, с которой открывался вид на скалистый берег Ваграны и на лесистый увал. Марья Васильевна с тревогой смотрела на мужа. Он был молчалив и рассеян за столом.

— Пойду вздремну,— сказал виновато Афанасий Семенович после обеда.— Приучили меня к режиму в палате.

В течение дня непрерывно раздавались телефонные звонки. Сослуживцы, друзья и знакомые поздравляли доктора с возвращением домой и интересовались здоровьем.

Марья Васильевна подходила к телефону и всем говорила, что Афанасий Семенович спит и просила позвонить попозднее. Но, заглянув в спальню, она увидела, что муж лежит с открытыми тревожными глазами. Что-то беспокоило его.

Раздался стук в окно. Марья Васильевна выглянула и увидела старика с черной в кольчиках бородой.

— Дома ли хозяин?

Афанасий Семенович, услышав голос гостя, вышел.

— Арсений Кузьмич! — обрадовался он.— Заходи, пожалуйста!

У порога Арсений Кузьмич взял веник, которым сметали мусор с крыльца, и начал старательно обмахивать сапоги.

— Да входи, входи,— смеясь, приглашал доктор таежного гостя.

— Слышал о беде с супругом вашим,— сказал Арсений Кузьмич, обращаясь к Марье Васильевне.— Уж не пеняйте, от нас тогда Афанасий Семенович поехал. Как в тайге-то нашли его?

— Довольно, довольно, Арсений Кузьмич,— вмешался Афанасий Семенович.— Скажи, как твои живут? Что с дочерью?

— Поправилась... Попрошаться пришел, как вы рассказывали, что уезжаете. Может, правда, больше не уви-

димся, а ведь пятнадцать годков, как один день, рядом прожили.

— Прощаться? — спросил доктор, тревожно оглядываясь на жену. — А как сам решил — уходишь из леса?

— Долго думал, так и этак прикидывал. Не могу лес бросить. Что ж сыновья, у них своя жизнь, у меня своя. Боюсь, что помру без леса. А мне еще жить хочется. Иду в Калью сыновьям решение объявить. В письме-то всего не скажешь. Знают они о вашем отъезде — просили привет передать.

— Спасибо, спасибо! — растроганно проговорил Афанасий Семенович, опять оглядываясь на жену.

— Осуждаете меня?

— Что ты, Арсений Кузьмич! Думал я о тебе и понял, что трудно тебе будет без леса. Ведь вся твоя жизнь там прошла. Тебя понять можно. Не подумал, когда тебя уговаривал.

Когда Арсений Кузьмич, несмотря на уговоры остаться переночевать, ушел, Афанасий Семенович задумчиво сказал:

— Хороший старик. Вот пошел пешком в Калью... А знаешь, сколько ему лет? Под восемьдесят. А в бороде седого волоска и не бывало. И семья у него хорошая, здоровьем в него, крепкая. В тайге первый охотник. Нелегко ему от тайги оторваться.

Доктор вздохнул и, помолчав, сказал:

— Машенька, нам необходимо поговорить...

Но поговорить им не дали. Зашел Константин Сергеевич, тот, который подобрал доктора в тайге, потом товарищи по работе, соседи.

Разошлись гости поздно. Врач-сослуживец перед уходом сказал:

— С поручением к вам от всех коллег. В октябре собираем научную конференцию. Хотели просить вас быть председателем оргкомитета.

— Разве вы забыли, — чуть нахмурившись, заметил Афанасий Семенович, — что я уезжаю?

— Совсем упустили, — смутился сослуживец. — Извините...

Афанасий Семенович постоял на крыльце, проводил всех гостей и вернулся в комнату.

Марья Васильевна убирала со стола посуду.

— Как хорошо дома! — сказал Афанасий Семенович,

обнимая жену за плечи и заглядывая в ее глаза, весь день с молчаливой тревогой следившие за ним.— Как вы тут жили? Расскажи. Пойдем, посидим.

Он помог жене надеть шерстяную кофточку. Они вышли на улицу. Афанасий Семенович положил ковер на верхнюю ступеньку, и они сели рядом. Так они часто проводили летние и осенние вечера.

Сияли крупные звезды. Слева светили огни, поднимавшиеся все выше и выше, к холодно блестящим звездам. От леса тянуло сыростью и прелью — запахом близкой осени. Со станции доносились ясные в холодноватом воздухе гудки паровозов и звонкие перестуки колес проходивших поездов.

— Я много думал о нашей жизни, Машенька. О нашем переезде. Мне кажется, что мы поторопились с решением,— и Афанасий Семенович облегченно вздохнул, словно был рад, что сказал главное.

— Это повторяется каждый год,— с обидой ответила Марья Васильевна.— Я с утра поняла твое настроение. Угадала?

— Угадала, умница,— признался Афанасий Семенович.— От тебя ничто не укроется. Но послушай... Какие доводы за переезд? Нам пора покидать север. Какие мотивы против?

Афанасий Семенович придвинулся и обнял жену.

Первый довод против отъезда был тот, что у него собрался большой материал о травмах горняков. Афанасию Семеновичу тяжело думать, что все материалы попадут в другие руки. Никто не сможет в них разобраться, как он, показать закономерности снижения травм, изменение характера их. Да и будет преступлением не довести до конца эту начатую несколько лет назад работу.

За этим первым доводом шло множество других. Почему надо покидать место, где ему хорошо живется и работается. Заметила ли Марья Васильевна, что старожилы у них в городе не так мало. Что-то они не помышляют об отъезде. Ему даже неловко перед ними. Да и сам он не одобрял людей, снимавшихся после двух-трех лет жизни. Правда, они прожили больший срок, но особой разницы нет. Наконец, его тревожит и состояние проекта новой больницы. Ведь несколько лет они добивались ее.

Во всем виновата давняя навязчивая мысль, что им надо уехать с севера. Она, пожалуй, даже несколько мешала им жить все эти годы. А ведь мотив отъезда единственный — быть поближе к родственникам.

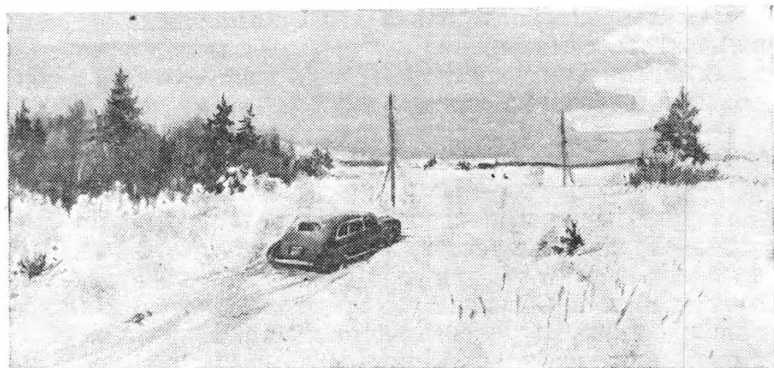
— Да,— Марья Васильевна вздохнула.— У меня довод один: поближе к своим.

— Вот видишь...— Афанасий Семенович нашел в темноте руку жены и поцеловал ее в теплую мягкую ладонь.— Трудно мне уехать, Машенька, очень трудно. Вот ведь чуть в реке не утонул, а тянет меня тайга. Люблю я эти места. В больнице все время думал об отъезде и понял: нет, не могу бросить эти места. Сказать тебе об этом не мог: не хотелось огорчать. А вот теперь посоветовались...

Они замолчали и, прижавшись друг к другу, долго сидели, думая о прожитых на севере годах. И в этих мыслях не было ничего горького.

1952 г.





В ДОРОГЕ

Стало известно, что на следующий день вечером на свердловском заводе начнутся испытания новой машины. Все поезда в Свердловск уже ушли. Конструктору Кузнецову, с которым я встретился на конференции машиностроителей, посоветовали поехать на легковой машине: расстояние от Челябинска до Свердловска невелико — двести двадцать километров, дорога как будто хорошая. Единственное, что нас смущало, — время года: стоял холодный и вьюжный февраль.

Однако другого выхода не предвиделось. Кузнецову обязательно надо было присутствовать на испытаниях, и рано утром, когда город еще спал, мы тронулись в путь. «Победа», освещая фарами дорогу, быстро миновала центральные, по-ночному тихие и пустынные, улицы и вырвалась на загородный проспект. Тихая поземка слегка туманила сверкающую асфальтированную дорогу, неумимо бежавшую навстречу двум световым лучам.

«Победа» имеет отопление. Мы даже сняли пальто. Вначале мы говорили о том, как хорошо придумали, что поехали «Победой», сравнивали условия езды в легковой машине с ездой в поезде и хвалили себя.

Правда, Кузнецов беспокоился — успеем ли к началу испытания.

Шофер Саша молчал. На вопрос, случалось ли ему зимой совершать такие поездки, он осторожно ответил: — Ездил...

На второй вопрос, за сколько часов можно добраться до Свердловска, Саша ответил более длинной, но столь же осторожной фразой:

— По-разному, раз на раз не приходится. — И, помолчав, добавил: — Успеем... Запас времени есть.

Впереди показалось большое село. Едва успели мы переехать по мосту речку и миновать белые от инея, старчески согнувшиеся ветлы, как вся улица озарилась электрическими огнями. Ночной мрак рассеялся, и звезды потускнели. Было радостно видеть электрические огни на этой заснеженной сельской улице, оживающей на глазах.

Три женщины торопливо шли по узенькой тропинке вдоль домов. Возле подъезда конторы колхоза, освещенного двумя фонарями, стояла лошадь, запряженная в легкие саночки. Мне почему-то представилось, что вот сейчас выйдет на высокое крыльцо дородный в овчинном тулупе председатель, втянет в себя морозный воздух, усядется в легкие саночки и поедет по делам своего большого хозяйства. Помчат его сани, только снег заскрипит под полозьями, да серебряная пыль полетит в лицо.

В центре села от высокой трубы электростанции отделялись колечки дыма и таяли в темном небе. Слышался ровный стук мотора. На окраине в кузнице уже пылал огонь, из открытых дверей коровника валил пар.

Село осталось позади, но огни его мы еще долго видели: дорога обходила его полукругом. А вскоре вправо от шоссе засверкали огни другого села.

Рассвет наступал медленно, нехотя сменяя холодную ночь. По обеим сторонам дороги лежали пушистые снега, синеватые в робком свете пасмурного утра. Одинокая ворона, тяжело взмахивая крыльями, села на острие телеграфного столба, посеребренного инеем, и высокомерно отвернулась от нас.

Вдали зачернел какой-то предмет. Ближе, ближе, и он превратился в мальчика лет двенадцати. Странно было видеть эту одинокую маленькую фигурку в холодное утро среди сугробов.

Мы остановили машину.

— Ты кого ждешь, мальчик?

— Дядю Мишу.

— Какого дядю Мишу?

— Из «Рассвета». Он вчера на нашу мельницу поехал и обещал меня в Сабурово захватить. Велел тут ждать.

— Это там,— неопределенно показал рукой Саша,— километров пятнадцать.

Видимо, мальчик ждал дядю Мишу давно и замерз.

— Вот что, друг,— решительно сказал Кузнецов.— Нечего тебе ждать дядю Мишу, совсем замерзнешь. Садись к нам, подвезем...

Костя, так звали мальчика, не заставил себя просить вторично и нырнул к нам в машину. Он быстро отогрелся и оказался очень разговорчивым.

В Сабурове Костю ждали совершенно неотложные дела. Туда приехал на короткий отпуск его «старый» друг Сережа Воронцов, суворовец. Во-первых, надо повидать его, во-вторых, Сережа Воронцов привез из города, по давней просьбе Кости, пластилин, без которого никак нельзя обойтись. Тем более, что ни в Сабурове, ни у них, в Катаевке, пластилина никогда не бывает.

Наконец, сегодня в Сабурове ждали ученого-садовода, и Косте поручили сделать сообщение о работе школьного биологического кружка. Расстегнув черный тулупчик, Костя стал нам показывать образцы ветвистой пшеницы, голозерного ячменя, морозостойкого картофеля, яблок, выращенных на школьном участке и до февраля сохранивших свою удивительно мягкую матово-розовую окраску. Все карманы Кости были набиты вещественными доказательствами того, что кружок юных биологов неплохо поработал в прошлом году. Морозостойкий картофель уже переселился на поля, выделялся в колхозе и особый участок для ветвистой пшеницы.

Было еще одно чрезвычайно важное, но несколько щекотливое дело. Сабуровские ребята недавно радифицировали школу. Идея эта принадлежала катаевским школьникам, но сабуровцы подхватили ее и втихомолку соорудили радиоузел первыми. Конечно, как мы узнали от Кости, катаевцы могли бы опередить с радиоузлом, но они были заняты тем, что помогали оборудовать колхозный Дом агрокультуры. Такого Дома агрокультуры нет не только в Сабурове, но и во всем районе. Косте пору-

чили осмотреть радиоузел соседей, взять его схему, все расчеты, словом — перенять опыт.

Мы с уважением слушали делегата школьников из Катаевки. Костя говорил, не забывая потирать маленькие покрасневшие от холода руки. Он все же порядком замерз, пока ждал на дороге дядю Мишу.

— Нос-то не отморозил? — спросил добродушно шофер. — Вон какой он у тебя красный.

— Нет, — серьезно заверил Костя. — Он всегда на морозе краснеет. Это я отморозил его, когда был совсем маленький.

Он весело засмеялся.

— Ой, как тогда мамка испугалась! Пришел домой, а у меня нос начал пухнуть, и уши стали большими-большими... Мамка всего меня гусиным жиром намазала. Уши я теперь всегда прячу, — и он снял шапку-ушанку и показал розовые ушки. — Видите, и незаметно, что они померзшие.

— Вот тут дорога на Сабурово, — прервал нашу увлекательную беседу шофер. — Тут до Сабурова и четырех километров не будет.

Костя начал торопливо застегивать тулуп и опустил уши меховой шапки.

А нам не хотелось его отпускать.

— Давай мы тебя прямо к месту назначения доставим, — предложил Кузнецов.

Костя недоверчиво посмотрел на конструктора: не шутит ли?

Шофер недовольно заметил:

— Не засесть бы. Машины сюда редко ходят.

— Попробуем проскочить.

Шофер ничего не ответил. У поворота он остановил машину и прошел немного пешком, пробуя ногой крепость снегового укатанного покрова. Потом вернулся и постучал ногой по всем четырем скатам.

Костя с волнением следил за шофером.

Мы молчали. Саше ничего не оставалось делать, как сесть на свое место.

— Ненадежная дорога, можем в Свердловск опоздать, — предупредил он, как бы возлагая всю ответственность за дальнейшее благополучное путешествие на нас.

Однако с нами ничего не случилось. Машина великолепно прошла по проселочной дороге на Сабурово.

На самом въезде в село стояла каменная школа. Около нее толпились ребяташки. Здесь, действительно, готовилось какое-то важное событие.

Нашего спутника ждали. Едва успел он показаться, как тотчас его окружили со всех сторон. Нас Костя мгновенно забыл, правда, успев на прощание поблагодарить за то, что подвезли. Школьники особого любопытства к нам не проявили. Очевидно, приезд Кости был более важным событием, чем появление в Сабурове случайной «Победы».

— Занятный мальчонка! — усмехнувшись, произнес шофер, когда мы повернули от Сабурова. — Ишь, чем он только не занимается: радио, яблоки, ветвистая пшеница. И мороза не испугался. Такой пешком пойдет, коли ему нужно.

Он повеселел от того, что его опасения относительно возможности застрять возле Сабурова не оправдались.

Стало совсем светло. Горизонт раздвинулся. Мы далеко видели снежную равнину, черневшие на ней постройки близких деревень, лес на горизонте. Солнце не показывалось, день был по-зимнему хмурый, неласковый.

...У каменного километрового столба прохаживался невысокого роста, очень складный старик. Мы его заметили издали. У него был такой вид, как будто он поджидал на остановке запаздывающий автобус. Заметив приближение нашей машины, старик перестал ходить и с уверенностью поднял руку.

— Товарищи хорошие, — очень приятным голосом обратился он к нам. — Возьмите старика в попутчики до Вьюжина.

Произнесено это было с таким ласковым сиянием светлых голубых глаз под седыми густыми бровями, что нам и самим захотелось иметь его своим попутчиком.

— Не иначе, как инженеры, — внимательно приглядываясь, попытался он определить наши профессии. — Теперь по колхозам много инженеров ездит: там электростанцию строят, там клуб или школу, там дорогу прокладывают, ферму механизировать. Богатый спрос от деревни на инженеров пошел. Да и город в помощи не отказывает.

Сыпал новый спутник бойкой скороговоркой, и вид-

но было, что любит он побалагурить, поговорить с при сказкой.

— Огляdistый теперь народ живет! Один пройдет мимо, другой заметит, первого вернет — вместе за одно дело берутся. А польза — всеобщая. Почему так говорю — все понять могут. Замело поля снегом, а то показал бы я вам, какая тут радость человеку. Раздвинулись еще шире наши поля после укрупнения. Меня летом, как колхозы соединились, внук укорил: «Сколько, — говорит, — лет по таким клочкам жались!» Я ему: «Дурень, разве это клочки? Это же колхозные поля. Клочки были, когда единоличниками жили». Он еще больше укоряет: «Эка, — говорит, — вспомнил, когда это было-то... Ты бы еще про Ивана Грозного помянул или про Пугачева».

Довольный своим внуком старик рассмеялся и окинул нас хитро прищуренными глазами.

— Думаете, верно, разболтался дед — старое ботало. А я, верно, всякое дело на сравнении должен проверить. Вот сегодня еду на праздник: хочу посмотреть, как теперь люди руки соединяют, чтобы одной дорогой по жизни пройти. Много всего на свете видел, а вот угомониться не могу. Люблю людей в жизни смотреть.

— А верно, папаша, по каким делам ты в такой мороз поднялся? — спросил Саша. — Твое дело сейчас на печке кости греть.

— Еду пир пировать, хмельную брагу пробовать, молодых поздравлять, — скороговоркой ответил старик и опять довольно рассмеялся в свою пушистую бороду.

— На свадьбу, что ли?

— Угадал! Вас бы позвал, да вижу, что вы народ казенной надобности. Дела вас торопят. Ишь, из Челябинска в Свердловск зимой решились...

Он вдруг замахал обеими руками.

— Стой ты, торопыга, чуть не проехал, — и, вылезая, поблагодарил. — Спасибо, милые товарищи... — А Саше сказал особо. — Ну, начальник транспорта, спасибо и тебе. На дороге всякий человек спутником и помощником может быть. Ездить тебе, видать, часто приходится. Будешь в Батмановке — спроси Кудерькова. Может, заночевать придется, а может, просто холодной водицы или квасу испить захочется. Мой дом всякий покажет.

И пошел упругой походкой по снежной дороге к селу, трубы и крыши которого виднелись в лощине.

— Ишь, колдун,— весело сказал шофер.— Он или не он, балагур...

— А кто это может быть?

— Есть в Батмановке Герой Труда один. Тоже старик. Может, он самый и есть. Большие урожаи зерна получает. Да теперь героев и орденосцев почти в каждой деревне увидишь. Здорово научились хлеб выращивать. А в Батмановке этих Кудерьковых десятки... Кого нам еще дорога в попутчики даст?

— Не о попутчиках надо думать,— тревожно сказал Кузнецов, бросив взгляд на часы.— Далеко еще до Свердловска?

— Езды хватит...

Некоторое время ехали молча.

Дорога становилась хуже. Несколько раз машина зарывалась в снег, и мотор начинал от усилий надсадно ворчать. Асфальтированная лента шоссе кончилась, теперь шел обыкновенный зимний сельский тракт, который давно не расчищали.

Голая снежная равнина окружала нас, пронеслись мимо редкие деревья. Все это невольно наводило на мысль о неприятностях, если вдруг закапризничает машина. Кто тут поможет?

— Помнишь «Метель» Толстого?— спросил меня Кузнецов и попытался пересказать картины ночного плутания героя рассказа в степи.— Попадем в такую метель, начнем также колесить, прощай испытания. Без нас начнут...

— Машина не кони, так в степи не поплутаешь,— внес поправку шофер, прислушивавшийся к разговору.— Если что, так и будем сидеть на дороге, ни вправо, ни влево не свернешь. Тоже лихо большое.

Впереди на востоке небо было клочковатое, окрашенное в фиолетовые тона. Справа виднелась какая-то темная полоса. Сначала нам показалось, что это чернеют лесистые горы. Однако не мы приближались к полосе, а она стремительно надвигалась на нас.

Сухие былинки, торчавшие в снегу, начали трепетать, тонкие снежные змейки поползли через дорогу.

Несомненно, надвигалась метель.

Вскоре все вокруг нас затянуло белым вихрем, зашвистел, запел ветер.

Справа от метели нас укрывали древесные посадки, создавшие заслон от снега. Дорога здесь была относи-

тельно чиста, зато слева в степи ветер неистовствовал: в воздухе летела тонкая сильная белая струя, похожая на водяную струю, пущенную из брандспойта. Подъехав ближе, мы разглядели, что это ветер с такой силой сдувал снег с высокого гребня и уносил его в степь.

Дорога становилась все тяжелее. Машина теперь уже с трудом продвигалась вперед.

Вдруг, сделав рывок-другой, машина стала. Над радиатором поднимался пар.

— Сели на дифер,— сообщил Саша, доставая из-под сидения лопату, и вышел из машины.

Немного расчистив дорогу, он попытался продолжать путь. Но через полтора метра снова остановились, на этот раз, видимо, надолго.

В этом месте дорога шла по возвышенности, и ветер нанес валы снега. Колеи мы не видели, она угадывалась только по буграм, тянувшимся справа и слева, да по телеграфным и телефонным столбам, с уныло гудящими проводами. Пробриться вперед через высокий сугроб не было никакой возможности. Не могли мы повернуть и назад. Метель уже занесла след машины и продолжала щедро сыпать снегом.

Ветер нес в лицо тучи колючего снега. Мы ничего не видели, кроме этой стремительно несущейся белой массы.

Но вот сзади нас появилась какая-то черная точка. Она постепенно увеличивалась, и скоро мы увидели, что это пробивается, ныряя в сугробах, грузовая машина.

Она подъехала к нам почти вплотную, погудела и остановилась. Подошли шофер и два его спутника, одетые в широкие тулупы, высокие валенки. Возле нашей машины началось совещание:

— Надо пробиваться,— посоветовал шофер грузовой машины, молодой краснолицый парень.

— Пытаюсь,— сердито ответил наш шофер.

Гурьбой мы двинулись проверить дорогу. Увязая в рыхлом снегу, прошли метров двести и попали на такое место, где ветер сдувал весь снег. Начинаясь твердый накат.

— Будем пробовать,— решил шофер грузовой машины.

Он вез в машинно-тракторную станцию запасные части. С ним ехал клубный киномеханик. Они уже порядочно времени были в пути и очень хотели к вечеру по-

пасть домой. А путь им предстоял по такой дороге немалый — километров около восьмидесяти и, главное, совсем в сторону от шоссе.

Наши неожиданные попутчики вооружились лопатами, нашлись лопаты и для нас. Видно было, что это люди бывалые и готовые ко всяким дорожным неожиданностям в степи в любое время года.

В снегу мы пробили траншею, и Саша с разгона попытался проехать опасный участок. С гиком, подбадривая себя, бежали мы за машиной, помогая ей плечами в тех местах, где колеса начинали пробуксовывать.

Так пробились метров пятьдесят и снова засели. Опять началась жаркая работа. Каждый метр пути давался с боем. Вероятно, не меньше двух часов преодолевали мы этот небольшой участок, а без помощи попутчиков вряд ли бы и преодолели его.

Наконец, достигли относительно хорошей настовой дороги. Следом за нами тронулась и грузовая машина. Она легко миновала этот участок.

Но радость наша была непродолжительной. Не прошло и десяти минут, как наша машина снова остановилась.

Опять подошли попутчики. На этот раз совещание было продолжительнее, а выводы малоутешительными: «Победе» не пробиться. Впереди около тридцати километров такой же степной дороги, дальше пойдет лесами отличная. Но как преодолеть эти роковые тридцать километров?

— Вы уж, ребята, помогите,— смиренно попросил Саша.— Инженеры по срочному делу в Свердловск едут, к пяти часам надо попасть, не позже.

— Вот что,— решительно произнес шофер грузовой машины, занявший роль командира,— придется вас оттянуть в сторону, мы проедем, а уж вы за нами.

На дорогах существует железный закон: убирать в сторону машины, мешающие пройти другим. Мы подпадали под действие этого сурового, но в сущности справедливого порядка.

Кузнецов посмотрел на часы. Времени потеряли много.

— Бросить нас собираетесь? — спросил он прямо.— Не дело, товарищи! Очень торопимся. В пять часов испытание моей машины начнется. Давайте уж до хорошей дороги пробиваться вместе. Далеко до села?

— Километров тридцать.

— Вот хотя бы до него вместе. Там и чайная, наверное, есть. Погреемся. Мы тоже замерзлы.

Его вмешательство оказало благодетельное действие.

К этому времени метель незаметно утихла, кругом посветлело. Началась дружная работа. Снег так и летел с лопат в стороны. Скоро расчистили площадку, оттянули на нее с дороги «Победу», грузовая машина стала в голову, «Победу» зацепили тросом, и мы опять тронулись.

Тут мы окончательно убедились, что без этой помощи нам никогда бы не выбраться, пришлось бы ночевать в степи. Дорога была ужасная. В некоторых местах «Победа» волочилась, как подбитая, брюхом. Трос натягивался, и мы боялись за него, боялись остаться одни, вот тут, в степи, среди холодных снегов.

А новая беда ждала впереди.

Мотор грузовой машины начал чихать и вдруг затих. Потом он заработал опять, но сила у него уже поубавилась. Шофер несколько раз проверял мотор. Все медленнее и медленнее продвигались вперед.

Лопнул трос! Вот она беда! На грузовой машине заметили обрыв, когда отъехали от нас около четверти километра. Пришлось возвращаться за нами.

— Вы все же попробуйте и сами пробиваться,— посоветовал нам шофер грузовой машины.— Потом я вас опять подцеплю.

Он не раздражался, хотя мы и были виновниками его неожиданной беды.

Попытка пробиться самостоятельно успеха не имела. Наш шофер возился возле машины, посматривая вперед, без всякой надежды на то, что попутчики, справившись со своим заглушим мотором, рискнут опять зацепить нас на трос.

Выбившись из сил, мы залезли в машину, чтобы хоть немного отдохнуть, и закурили. Наверное, каждый из нас тайне вспоминал те счастливые минуты, когда «Победа» мчалась по гладкой дороге со скоростью пятьдесят километров в час.

А кругом стояла тишина. Метели как будто и не было. Перед нами лежала спокойная снежная равнина. Впереди темнел лесок. На фоне красноватого сосняка

выделялись чистой зеленью стволов тонкие осины. Болтливые сороки прилетели к месту нашего несчастья; прыгав на дороге, они полетели к деревне, которая виднелась слева в степи: видимо, торопились рассказать всем о незадачливых путниках.

Вдруг сзади раздался требовательный гудок. Мы оглянулись — и глазам не поверили: высокая грузовая машина просила уступить дорогу.

К нам подошел шофер, одетый чрезвычайно неподходяще для такого дня и такой дороги. На нем было новенькое драповое темнокоричневое пальто с котиковым воротником, навыпуск брюки, блестящие калоши. Из-за расстегнутого и небрежно распахнутого пальто выглядели белоснежная рубашка и яркого цвета галстук.

— Что же вы стали? — невинно спросил он, счастливо улыбаясь. — Сами не едете, и нас задерживаете.

Из машин выпрыгивали молодые разодетые парни, с румяными от мороза лицами, веселые, довольные.

— Никак наш колдун с ними? Чего он по степи разъезжает? — сказал Саша.

От грузовой машины легкой походкой шел старик, которого мы подвезли до Бьюжино.

— Это мы из-за вас опоздать можем, — сказал щеголеватый шофер. — У нас свадьба, а вы нам дорогу загродили.

— У вас дело, а у нас гулянка, — с иронией заметил Саша. — Остановились воздухом подышать...

— А, милые товарищи, — проговорил старик, увидев и узнав нас. — Догнала вас наша свадьба. Вот как на дороге бывает!

Мы все эти слова о свадьбе приняли сначала за шутку, но оказалось, что это, действительно, была свадьба, что шофер — молодожен. У него в кабине сидела невеста, закутавшись в белую пушистую шаль, поблескивая темными задорными глазами и потирая рукой румяные пухлые щеки. В кузове ехали парни и девушки. Как только машина остановилась, девушки запели.

— Нравится, вот и стоим, — ответил угрюмо наш шофер.

— А ты не хмурься, — посоветовал ему старик. — Говорил, на дороге всякий человек может и спутником и помощником быть. Был я вашим спутником — большое вам за то спасибо, милые товарищи. А вот теперь и по-

мощником буду. Ну-ка, сынок, распорядись, как получше. Не бросать же хороших людей на дороге. Инженеры едут!

— Трос у тебя есть? — спросил нашего шофера жених. — Зачаливай. На буксир возьму, живо вывезу.

— Сначала свою вывези, — неодобрительно ответил Саша, видимо, слабо веривший в то, что кто-либо может ему помочь, а тем более этот свадебный экипаж.

— Давай, давай, — настаивал жених.

К стыду Саши, троса у него не оказалось.

— Ну и шофер, — упрекнул жених и пошел за тросом.

Грузовая машина отважно свернула в невероятно глубокий сугроб, исчезнув в нем до бортов, словно шутя и играя, обошла нас и снова вышла на дорогу. За трос взялось одновременно несколько рук. Очень быстро его зацепили, и мы тронулись в дальнейший путь.

Все прибавляем и прибавляем скорости. Вот уж на дороге наши первые незадачливые попутчики. Все еще налаживают мотор! Новые спасители бесстрашно объезжают целиной застрявшую эмтеэсовскую машину. Шоферское сердце жениха не позволило ему спокойно проехать мимо товарищей, терпевших бедствие.

— Помочь? — крикнул он.

— Нет, наладили, — ответил наш знакомый. — Поезжайте, проминайте дорогу, а я за вами. До встречи в селе! — крикнул он нам.

И все тронулись: впереди свадьба, за ней «Победа» на буксире, а замыкающей — машина МТС.

Наша машина, привязанная тросом, легко катила вслед за грузовиком. Дорога вошла в лес, и с каждым оборотом колеса дорога становилась все лучше, и мы повеселели.

Не прошло и часа, как мы оказались на площади большого районного села, у двухэтажного здания райисполкома.

Наш шофер отцепил трос и сказал:

— Ловко все вышло. Как в сказке! Видно, такая легкая да веселая жизнь у молодоженов будет. Можем ехать дальше.

Подошел наш попутчик — старик и, сняв шапку, раскланялся:

— Спасибо за компанию. Гладкой вам дорожки. А хорош мой сын? — с гордостью спросил он нас и по-

шел, распахнув пальто. На лацкане его пиджака блеснула звезда Героя Труда.

— Он,— растерянно и сокрушенно сказал Саша.— Этот самый, мастер урожая, Кудерьков. Каков старик! Орел!

Мы немного постояли, обсуждая, как нам быть: ждать ли своих эмтеэсовских попутчиков или ехать дальше.

— Нет уж, поедемте,— решительно настоял Саша.— Времени тут терять не будем. А вот приедем в Тюбук — там и зайдем в чайную. За дорогу от Тюбука до Свердловска ручаюсь. А тут еще всякое может случиться. Как бы на дороге ночевать не пришлось.

Степная часть дороги осталась позади. Все чаще стали встречаться леса. В одном месте справа шел сплошь березовый лес, без примеси других пород, а напротив — великолепный мачтовый сосняк, тоже без единого деревца других пород. Мы подивились этому. Ведь лес разделяла только дорожная просека, шириной метров сорок-пятьдесят. Неужели ни одно зернышко сосны и семечко березы не перелетело через дорогу? Видно, хороший лесник ведет здесь свое большое хозяйство.

Мы спокойно любовались дорожными картинами Урала. Скоро показался Тюбук — большое оживленное село. Сколько машин, подвод стояло перед чайной! Можно подумать, что в районе какой-то съезд или праздник.

Чайная была полна посетителей. Собрались шоферы и возчики со всей округи. Велись разговоры о семенах, близкой теперь весне, запасных частях. Районный клуб! Здесь встречались знакомые, не видевшие друг друга по несколько месяцев.

Высокий мужчина в собачьей дохе кинулся к нашему шоферу:

— Саша! Друг! Опять к нам в колхоз?

— Нет, на проход — в Свердловск!

— Что же ты, Саша, друг милый, так и не заехал? Ведь сколько тебе пшеницы за летнюю работу выделили... Так и лежит, ждет хозяина.

Саша оживился. Пошли между приятелями такие разговоры, такие воспоминания о последней уборочной кампании, что мы слушали-слушали и, не видя им конца, решили напомнить Саше, что пора нам в путь-дорогу.

— В путь — так в путь! — весело согласился Саша.

А эмтеэсовских попутчиков все еще не было. Ждать

их мы не могли. Кузнецов нервничал, смотрел поминутно на часы. Мы заказали обед для наших попутчиков, попросили Сашиного знакомого передать им привет и трснулись.

— А что,— спросил в машине Кузнецов,— признайся, Саша, испугался в степи? Ведь могли заночевать?

Шофер посмотрел через плечо на Кузнецова и самоуверенно ответил:

— Чего ж тут бояться?.. На фронте не такое бывало, а не пропали.

Все уверяли нас, что дальше дорога будет хорошая, и мы можем быть спокойны.

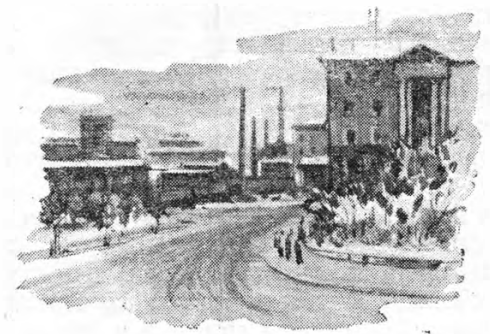
И нас не обманули. Все лучше становилась дорога. Большой поток машин шел навстречу. Даже не верилось, что всего несколько часов назад мы сидели в степи, завязнув в снегу.

Саша увеличивал скорость. Кузнецов повеселел.

Без пятнадцати минут пять наша машина просигналила у заводских ворот, и они тотчас распахнулись. Кузнецов облегченно вздохнул, а Саша не удержался и хвастливо обронил:

— Как по расписанию!

1952 г.





РЯБИНОВАЯ ВЕТКА

Весной Сергей Охлупин закончил камнерезное отделение художественного училища, и его направили в артель на старинных мраморных разработках с наказом помочь молодым мастерам по камню.

На маленькую станцию, окруженную со всех сторон молодым кудрявым березовым лесом, дачный поезд пришел вечером. Мальчик показал дорогу в поселок.

Обыкновенная тихая сельская улица, заросшая мягкой, общипанной коровами травой, начиналась сразу за лесом. Две особенности бросились в глаза: яркие цветы во всех палисадниках перед окнами и обилие мрамора. В центре, где поселок расходился на две длинные прямые улицы, стояла высокая мраморная фигура Владимира Ильича Ленина, глыбы неотесанного серого и красноватого камня лежали возле домов, а в одном месте Сергей увидел скамеечку на толстых мраморных тумбочках.

Темнело, и надо было поторопиться с ночлегом. Двое мужчин, разговаривая, сидели на бревнах. Сергей подошел, и они замолчали, вглядываясь в него.

Перед ними стоял невысокий паренек с бледноватым лицом, не тронутым загаром. Из-под серого новенького

пиджака виднелась голубая рубашка, пестрый галстук был повязан широким узлом, новенькие ботинки уже успели запылиться.

«Городской человек»,— определили сидевшие на бревне. Сергей поставил на землю два черных чемодана, обшитые по уголкам желтой кожей, и поздоровался.

— Здравствуйте! — сдержанно ответили они.

— Где тут можно переночевать?

— Вы по каким делам приехали? — спросил, слегка шепелявя, плечистый мужчина в гимнастерке, с рыхлым неулыбчивым лицом, и из-под жиденьких светлых усов сверкнули белые не по возрасту зубы — наверное, вставные.

— К мраморщикам.

— На завод?

— В артель.

— У нас артель по-старому заводом называют. Я — председатель артели. Документ есть?

Он небрежно взял толстыми пальцами путевку, недовольно хмуря брови, такие же светлые и редкие, как усы, и долго рассматривал ее, пожевывая губами.

— Что ж они там вроде ничего не знают,— неодобрительно отозвался он о своих городских начальниках.— О работе послезавтра поговорим, с утра в район уеду. Где же ему остановиться? — спросил он худого мужчину в темном костюме и добавил: — Наш технорук...

Они начали совещаться. Получалось так, что удобного места не найти: в одном доме не понравится, в другом — тесно, а в третьем — всем было бы хорошо, но на беду вчера приехали родственники...

— А к Шестопалихе? — вспомнил технорук.

— Верно,— согласился председатель и громко позвал: — Ленка! — В окне показалась русая головка мальчика.— Пойди к Шестопалихе,— начал отец, но передумал.— Сходи сам, тебя она послушает,— попросил он технорука.

Технорук поднялся, но без особой охоты, и ушел. Председатель сидел молча, словно забыв о Сергее, покусывал соломинку.

Технорук скоро вернулся и повел Сергея. Шестопалиха согласилась принять квартиранта. Технорук молча шагал впереди Сергея. «Не очень-то вы приветливы»,— подумал сердито Сергей.

Калитка во двор была распахнута, от нее к крыльцу вела белая мозаичная дорожка из осколков мраморных плит.

В полутемной горнице у раскрытого окна сидела женщина и пила чай. На столе паром фыркал самовар.

— Привел жильца, Варвара Михайловна,— проговорил технорук и тотчас вышел.

— Послушай без сердца, Петр Васильевич,— начала хозяйка, вставая.

Но в ответ ей только прогремело ведро в сенях, которое задел, выходя, технорук.

Хозяйка включила свет, и Сергей увидел старую, сильно поседевшую женщину, с темным лицом, изрезанным множеством глубоких и мелких морщин.

Варвара Михайловна пригласила Охлупина раздеться.

Сергей оглянулся и, увидев вбитые в стену большие гвозди, обмотанные лоскутками, повесил плащ и кепку. В чистенькой горнице справа от двери стояла никелированная кровать, застеленная пикейным одеялом, слева — побеленая русская печь. Крашенный, поблескивающий пол был покрыт самотканными дорожками. Несколько хороших репродукций пейзажей в застекленных рамках висели на стенах.

Сергей опять посмотрел на хозяйку. Лицо у нее было расстроенное, блюдечко она держала как-то особо, устало согнув худую руку. Видно, уходилась за день по хозяйству и теперь отдыхала.

Варвара Михайловна ни о чем не спросила Охлупина и только предложила чаю или молока. Сергей попросил молока.

Напившись холодного молока, Сергей вышел на улицу покурить и присел на скамеечку у ворот. Почти во всех домах в окнах горел свет, и темная улица казалась широкой, как площадь. Послышались женские голоса. Девушки в белых платьях прошли так близко, что чуть не задели Сергея. Одна из них низким красивым голосом запела песню.

Сергей вслушался, ожидая продолжения запевки, но пение на этом оборвалось.

«Да, встретили... Как я тут работать буду»,— подумал он, перебирая впечатления, оставшиеся от неулыбчивого

и хмурого председателя артели, молчаливого технорука и расстроенного лица хозяйки квартиры.

Сергей вернулся в дом. Варвара Михайловна провела его в боковушку, где успела застелить постель. На письменном столе в вазочке стояли свежие цветы, на стене тоже висели репродукции.

Какие-то красные ягоды лежали на столе за чернильным прибором. Сергей подошел поближе и увидел рябиновую ветку, сделанную из камней и закрытую от пыли прозрачным целлофаном: гроздь крупных ягод из сургучной яшмы и три темноватых, чуть намеченных листочка из змеевика. Что-то не понравилось мастеру в начатой работе, и он не завершил ее. «В семью камнереза попал», — подумал удовлетворенно Сергей.

Он разделся и потушил свет.

Слышался скрип половиц под шагами хозяйки, несколько раз она так тяжело вздохнула, что Сергей окончательно утвердился в предположении, что в доме какая-то большая неприятность.

Громко хлопнула дверь, и звонкий девичий голос встревоженно спросил:

— Мама, кто у нас?

— Тише, — шепнула мать. — Спит... Из города человек. На завод к вам...

— А! — равнодушно протянула девушка.

— Собрать ужин?

— Не надо, ничего не хочу, — нетерпеливо ответила девушка и быстро прошла по дружно заскрипевшим половицам.

Из репродуктора зазвучала музыка и тотчас оборвалась.

Скрипнули пружины кровати, очевидно, разбирали постель.

Мать с укором сказала:

— Ну, что ты, Нюра, такая? Смотреть тошно...

— Что, что, — с раздражением начала девушка, и вдруг в голосе ее прорвались слезы. — Завтра опять на плиты пойдем... Вот чего! И слушать не хочет. Вам, говорит, забава, а мне план. Вот как он рассуждает... Больше, говорит, о цехе не заикайтесь.

Послышались сдержанные рыдания девушки.

Мать и дочь заговорили так тихо, что уже ничего нельзя было разобрать. Девушка, кем-то сильно обижен-

ная, плакала, а мать старалась успокоить ее. «Солнце глиной не залепишь...» — сердито сказала в чей-то адрес Варвара Михайловна.

Скоро голоса смолкли, щелкнул выключатель, и дом погрузился в тишину.

Утром Сергей умывался во дворе. По ступенькам крылечка звонко простучали каблуки.

— Без меня воду на огород не таскай! — крикнула девушка. — И корову сама подою.

Охлупин обернулся. У крыльца стояла девушка лет восемнадцати. Его поразили голубые глаза такой ясности, что трудно было представить их отуманенными слезами. Светлые волосы она уложила в небрежный пышный узел, и казалось, что это сделано сознательно: небрежность прически очень шла к широкому смугловатому лицу. Короткие рукава пестрой блузки открывали загорелые руки.

Девушка заметила внимательный любопытный взгляд Сергея, смущенно поклонилась и торопливо пошла к воротам.

«Красавица, — подумал Сергей. — Чего же ты ночью плакала?»

После завтрака с молчаливой Варварой Михайловной, захватив этюдник, Сергей пошел на старинные каменоломни: он решил, раз нет председателя, начать знакомство со здешними местами с мраморного карьера. За завтраком хотелось спросить Варвару Михайловну о рябиновой ветке, но уж очень расстроенным было и утром лицо хозяйки.

Цветущим лугом Сергей спустился к узенькой светлой речке, с желтыми берегами и густыми зарослями ольхи. Посвистывали стрижи. Хотя был еще ранний час, но в воздухе уже накапливался зной.

Следуя по берегу речки, дорога на каменоломню вошла в лес. Стояла сенокосная пора, и в стороне, среди деревьев, виднелись цветные платья женщин, доносился звон литовок. Остро пахло свежим сеном. Река вилась по лесу, в воздухе мелькали стрекозы; словно брызги воды, под ногами разлетались кузнечики.

Старой лесной дорогой, видно, пользовались только в покосные дни: высокая трава была чуть примята колесами.

ми. По сторонам стояли могучие березы, какие можно встретить в старинных парках.

Скоро колесная дорога кончилась, вытянувшись в плотно утопанную тропку, по которой, как рассказала Варвара Михайловна, следовало идти до самых каменноломен. Она привела Сергея на просеку со столбами высоковольтной линии, зараставшую березовым подлеском и шиповником. Охлупин присел на пенек отдохнуть.

Раздвинув кусты, на просеку вышел старик в синей рубашке, в сапогах, с узловатой можжевелевой палкой в руках и небольшой торбочкой за спиной. Из-под густых бровей выглядывали добрые серые глаза.

— Счастливо отдыхать! — сказал старик.

— Спасибо, — отозвался Сергей и предложил папиросу.

— Нет, сынок, свой курю, — отказался старик, удобно усаживаясь на траву возле пенька. Он достал расшитый бисером кисет и стал набивать табаком маленькую трубку с желтым костяным мундштуком.

Словоохотливый старик оказался жителем поселка. Звали его Кузьмой Григорьевичем. Узнав, зачем приехал в поселок Охлупин, он как будто даже обрадовался. «Ага, помнят все-таки, что тут мастера живут», — пробормотал он в бороду, которую в разговоре все отводил в сторону, словно хотел отмахнуться от нее.

— Родился на мраморе, — сказал о себе Кузьма Григорьевич, — борода от старости зеленеть начала, все на мраморе живу. В хорошее ты место приехал, жалеть не будешь. Мраморские работники славятся. Слышал, наши памятник другу Горького французскому писателю Анри Барбюсу делали. В Париже на могиле писателя стоит. И моя долька в том памятнике есть. Мы тогда все лето хорошие блоки искали — самый лучший уральский камень отобрали — без трещины, без изъяна.

Кузьма Григорьевич начал рассказывать о детях — такие у него два удачных сына, оба мраморные мастера, от его профессии не отступились. Дома почти не живут, по городам катаются — то зовут их дворец облицовывать, то жилой дом, то вокзал. Широко в жизнь мрамор пошел. Не то, что раньше, когда знали только ступени для особняков да плиты на могилы. Жаль, что сей-

час сыновей нет дома. Не успели из Москвы приехать, где высотный дом облицовывали, как в Молотов вызвали — речной вокзал мрамором украшать. Они проводили бы Сергея к каменоломням и всю красоту здешних мест показали. Кузьме Григорьевичу без сыновей скучно стало дома сидеть, кур стеречь, пошел он змеевик искать — голубоватый и мягкий, как воск, камень; камнерезы его любят. Подарок хочется одному хорошему человеку сделать, повеселить его.

Заговорили о мраморе, о камнях, о красоте их, оживающей в руках настоящего мастера. О всяком камне у Кузьмы Григорьевича имелась в запасе занятная история, со всяким камнем у него была связана какая-нибудь удача в жизни. И трудно было разобрать, где в его балагурстве кончалась правда и начиналась сказка.

Сергей поднялся.

— Ты где остановился, мил-человек? — спросил Кузьма Григорьевич, тоже поднимаясь.

— У Шестопалихи.

Кузьма Григорьевич чуть встревожился.

— Ты там обо мне молчи, — таинственно подмигивая и отводя в сторону бороду, попросил он. — Змеевик этот для дочки Шестопалихи ищу. Знатный был мастер ее отец, самый видный. В музее его работы держат. Так и называются — шестопаловские. У Нюрки отцовские руки и глазок острый... Сын в технику ударился, а дочка от камня отойти не может. Смотри-ка, девчонка, а камень к себе потянул... Так ты там обо мне промолчи. Будешь жить, мой дом не обходи. Может, и стариковская болтовня в чем поможет.

— Ладно, сохраню секрет, — пообещал Сергей, вспомнив девушку, увиденную утром, и рябиновую ветку на письменном столе. Не ошибся в предположении, что попал в семью камнереза. Но чья рябиновая ветка — умершего отца или дочки?

— Это хорошо, что тебя прислали, — продолжал Кузьма Григорьевич... — Значит, не думают камнерезные работы закрывать. А наш-то председатель совсем не дает камнерезам ходу. Ты присмотришь ко всему лучше — к порядкам нашим, к мастерам молодым. Хорошие тут есть ребята, чувствуют камень, но Нюрка среди них на отличие. Не забывай старика, — еще раз напомнил он.

Они простились. Сергей двинулся дальше по тропке, а Кузьма Григорьевич полез в кусты искать свой змеевик.

Лес впереди посветлел. Тропка все змеилась и змеилась и вскоре вышла на линию железной дороги. По сторонам насыпи до самых шпал густо рос пахучий и высокий — по плечо — иван-чай. Все видимое пространство пламенело, подцвеченное от земли лиловой краской низко растущих цветов. Жужжали шмели.

За насыпью начинался дремучий лес. Жирная трава на полянах была такая высокая и густая, что в нее страшно было шагнуть — запутаются ноги, не выберешься. Среди зелени забелели большие блоки мрамора. «Как будто великаны в камушки играли», — подумал Сергей. Чем дальше углублялся он в темноватый лес, тем все чаще встречались эти небрежно разбросанные каменные глыбы.

Впереди послышался сухой частый перестук, словно не меньше десятка дятлов вперегонки бегали по стволам деревьев, разбивая острым клювом кору. Началась проезжая автомобильная дорога.

Сергей подошел почти к краю глубокого провала и остановился.

Перед ним открылся разрез с отвесными стенками, глубиною не меньше ста метров. На дне и на уступах ажурные передвижные краны легко перетаскивали большие сверкающие мраморные блоки, удивительно правильной кубической формы. Отовсюду слышалась веселая песня отбойных молотков. Солнце, такое щедрое в этот полуденный час, стояло прямо над каменоломнями. Блеск камня даже резал глаз, а тени поражали своей бархатной плотностью.

Сергей присел, раскрыл этюдник и приступил к работе.

Домой он вернулся поздно, опаленный солнцем, усталый, возбужденный увиденным.

Ему хотелось поговорить с Нюрой.

— Где ваша дочка? — спросил он Варвару Михайловну.

Она устало повела рукой.

— У подруг сидит... Опять до полночи.

— А ведь я к вам надолго. Работать в артели буду. Жильцом оставите?

— Знаю, что работать. Живите.

Сергей напился молока и сразу лег спать. Теперь ему хотелось скорее начать работу в камнерезной мастерской.

Утром, проходя через горницу, Сергей увидел Нюру. Присев, она наливала в мраморное блюдечко молоко. Об ее ноги терся пестрый, как яшма, котенок.

Умывшись, Сергей вошел в свою комнату и застал в ней девушку. Она стояла у письменного стола и рассматривала его этюды. Нюра так увлеклась, что даже не слышала шагов Сергея.

Он подождал немного, потом спросил:

— Нравятся?

Девушка вздрогнула, обернулась, и лицо ее посмуглело от прихлынувшей крови.

— Ведь это Егоша? — тихо спросила она, показывая набросок мальчика с темными спутанными волосами и лукавыми карими глазами, сидевшего на камне, выставив острые исцарапанные коленки.

— Егоша?

— Сын сторожихи на каменоломне.

— Тогда Егоша.

— А это сорок пятый километр? — показала она на этюд полотна железной дороги и опушки, заросшей пылающим иван-чаем.— Ой, как хорошо! И все в один день сделали?

— До хорошего тут далеко.— Это только начало работы. Видите,— протянул Сергей рисунок мраморного карьера.— Камни получились мягкими, как из ваты. Не передал твердости. Придется желтой тени подпустить, тогда камни станут тяжелее.

— Какой вы счастливый! — порывисто сказала Нюра.— Так хорошо рисуете!

— Ну, ну, счастливый...— Сергей смутился, вспомнив горячие споры о его работах и работах других товарищей в художественном училище.— Это вам кажется, что счастливый. Сделано мало, а хорошего еще меньше.

Нюра доверчиво коснулась его руки.

— Пойдемте... Я вам показать хочу...

Он вышел вслед за Нюрой во двор, и она провела его в маленькую баню. В предбаннике стоял небольшой

стол, заваленный голубоватым змеевиком, а на полке виднелись фигурки из пластилина и начатые работы на камне.

Заробев, Нюра сняла с полки одну из работ и нерешительно протянула ее Сергею. Группу можно было назвать «Секрет». Девушка рассказывала что-то по секрету подруге. Многие еще не было сделано, многое было неверным, но главное в лицах, положениях фигур скульптор уже нашел. Трогало наивное и нетерпеливо горячее желание девушки поделиться чем-то важным с подругой.

Ободренная вниманием, Нюра протянула еще одну фигурку, почти законченную: лиса уносила в зубах петуха. Лиса бежала спокойная, а растрепанный петух отчаянно бился.

Сергей подошел ближе и молча рассматривал работу за работой. Нюра с тревогой следила за выражением его лица.

Погрешности, идущие от недостатка мастерства, а кое-где и от робости, недоверия художника к себе, обнаруживались легко. Все это было естественным и обычным для начинающего. Поражало в работах Нюры другое: живая передача метко схваченного явления, смелость линий, положений фигур — за этим виделось большое будущее скульптора.

Сергей оглянулся и опять удивила его ясность глаз девушки. Она стояла, опустив руки, и с волнением ждала приговора. Сама она не решалась спрашивать.

Сергей сел на скамеечку, а на стол перед собой поставил работы, более других поразившие его, и несколько минут молча смотрел на них. «Вот с кем тут придется работать,— задумался он.— Такие фигурки и в художественном училище понравились бы».

— Давно вы этим увлеклись? — спросил Сергей.

— Даже не помню. Сначала все баловалась, просто мяла глину, а теперь отстать не могу.

— А где-нибудь учились?

— Нет... Старые мастера кое-что показывали.

— А на заводе что делаете?

— Разные фигурки — образцы нам присылают: вазочки, зверей. Свои образцы показывали Федору Васильевичу. Да он ничего в камнерезном деле не понимает, все наши образцы поставил в шкаф и запер.

— У вас большие способности,— сказал Сергей.— Надо развивать их.

— Правда? — таким счастливым голосом сказала Нюра, что Сергей невольно обернулся. Девушка стояла, прижав ладони к разгоревшимся щекам, с возбужденными от похвалы глазами. Сергей почувствовал себя взрослее Нюры не на пять-шесть лет, а значительно больше. И ему захотелось сказать ей особенно ободряющие слова, да она и заслуживала их.

— Да, да,— подтвердил Сергей.— Но это только начало. Вам надо учиться еще очень многому. Поступайте в художественное училище.

— Брат в армии,— почему-то виновато ответила Нюра.— Вернется через полтора года. Маму оставить нельзя, видели, какая она старенькая. А вот вернется брат, обязательно поеду учиться. Он мне так и пишет...

— Ах, так... Это правильно... Но работать с камнем продолжайте. И я постараюсь вам помочь...

— Вы говорите, продолжайте...— и в голосе девушки зазвучала горькая обида.— А на заводе и слушать не хотят. У нас камнерезный цех был, пятнадцать человек работало. И все своей охотой пошли. Мастера нам помогали. А теперь цех закрыли, а нас всех на плиты поставили.

— Какие плиты?

— Мраморные. Делаем плиты большие и маленькие: большие — для всяких электрических машин, электростанций, а маленькие — для квартирных щитков. Платят за них хорошо, вот Федор Васильевич и закрыл камнерезный цех. Сначала сказал, что только на три месяца, потерпеть уговаривал, а позавчера объявил, что камнерезного цеха больше не будет. Всех камнерезов в цех послал. Плиты шлифуем.

— Это же неправильно.

— Мы ему тоже так говорим. А разве нашего председателя Федора Васильевича переспоришь. Вы, говорит, своих кошек и мышек всегда успеете сделать. А нам нужно, говорит, о выгодных работах думать. Пусть в других артелях фигурки делают...

— Что же, убедить его нельзя?

— А он никого слушать не хочет. С ним дядя Кузьма разговаривал. Он и его не слушает.

— Дядя Кузьма? Кто такой?

— О,— девушка ласково улыбнулась,— самый старый у нас мастер. Теперь он на пенсии, зрение плохое, не работает. А как важный заказ придет, обязательно дядю Кузьму зовут. Камнерезный цех был, он о пенсии и не думал, всем нам помогал. Федор Васильевич даже на него кричит.

— А вы и сдались? — поддразнил Сергей.— Страшнее вашего Федора Васильевича и зверя нет. Руки опустили?

— Я не опустила,— возразила пылко Нюра.

— Как же не опустили... Послали вас на плиты, цех закрыли, а вы в слезы. Слышал я, как вы вчера ночью плакали. Заступиться за себя не могли?

— Напрасно вы так думаете. Мы, если хотите знать...

Сзади кто-то кашлянул. Сергей обернулся и увидел Варвару Михайловну. Она стояла в дверях, заслоняя свет, и лица ее не было видно. Наверное, она слышала часть разговора.

— Способная к камню у вас дочь,— сказал Сергей.— Но учиться ей надо.

— Учиться она пойдет,— ответила мать.— А вот ты сейчас ей, да и другим, помоги. Поговори с нашим руководством, растолкуй им: неправильно они делают.

— Мне помогать не надо,— самолюбиво возразила Нюра.

— А ты помолчи, не мешай.

Сергей заметил на полке повтор уже знакомой вещи: гроздь рябиновых ягод с желтыми листочками, похожую на ту, что лежала в комнате на письменном столе.

— Бросили? — спросил он.

— Эту? Эту бросила. Принесла домой веточку, и так захотелось сделать ее. Показала дяде Кузьме. Он говорит: начинай, и сургучную яшму подарил. И никак не получалось. Сколько я их переделала!

С улицы девичий голос позвал:

— Нюра! Идешь?..

— Ой, опаздываю,— встрепенулась Нюра.— Сейчас, Дуся! Вы сегодня на завод пойдете? — спросила она Сергея.

— Непременно.

— Посмотрите наши работы. Они все в шкафу у Федора Васильевича стоят.

Она кивнула головой и исчезла.

— Помогите доченьке, — доверительно попросила Варвара Михайловна. — Слезы у нее не сохнут. А нам с Федором Васильевичем говорить, что воду толочь, — брызги летят, а толку никакого.

— Для этого и приехал, Варвара Михайловна. Прислали меня в камнерезный художником.

Низкий кирпичный корпус завода стоял на краю поселка. Это был самый удивительный завод из тех, какие приходилось видеть Сергею: без обязательных кирпичных труб и шапки дыма над ними, без подъездных путей. Зато к заводу тянулись электропровода, и во дворе стояла понизительная подстанция, огороженная забором с колючей проволокой, а на столбах висели устрашающие таблички с черепом и двумя скрещенными костями.

Федора Васильевича не было в конторе, и Сергей пошел на завод искать его.

В главном цехе слышались плеск воды и назойливое шипение, словно где-то из неисправной магистрали вырывался сжатый воздух. Тихо гудели электромоторы. Несколько параллельных металлических пластин, скрепленных вместе, двигались равномерно взад и вперед, перетирая мраморный блок и разрезая его на пластины одинаковой толщины.

В соседнем отделении на стенах и на полу лежала тонкая, как на мельницах, пыль. Мужчины, в запыленных комбинезонах, вращающимися электрическими наждачными кругами шлифовали мраморные плиты, а рядом с ними женщины заравнивали острые кромки плит. Среди молодых работниц Сергей увидел Нюру, в платочке, повязанном по самые глаза.

Прозвенел звонок на обеденный перерыв, и Сергея сразу окружили парни и девушки с припудренными мраморной пылью лицами. Нюра стояла позади и, улыбаясь, смотрела на него.

— Вы к нам инструктором? — спросила девушка с остреньким носиком и смешливыми глазами.

— К кому это — к вам?

— В камнерезный цех.

— Тогда к вам.

— А мы плиты шлифуем,— весело затараторила она.— Тут есть и такие, что в ремесленном училище с камнем работать, а Федор Васильевич видите, что придумал.

— Думаю, что это долго продолжаться не будет,— пообещал Сергей.— Сегодня поговорю с Федором Васильевичем, все выясню.

Сергей был убежден, что тут какое-то недоразумение. Разве послали бы его сюда работать, если бы знали, что цех закрыт. Он поговорит с этим нелюдимым председателем и убедит его вернуть всех камнерезов, а затем наладит работу в цехе художественной резьбы. Что это, в самом деле, за самоуправство!

— Федора Васильевича не очень-то уговоришь,— сказал один из парней.

— Уговорим.

Девушки и парни, окружавшие Сергея, были моложе его на два-три года. Но они уже смотрели на него, как на старшего и начальство. И это несколько смущало его.

— Пойдемте наш цех посмотрим,— предложила курносая девушка, начавшая разговор.

Камнерезный цех, неуютный, грязноватый и темный, помещался в деревянной пристройке. Так неприглядно бывает в ненужных помещениях. Вдоль стен тянулись длинные столы, на них валялись в беспорядке камни и куски отполированного мрамора.

— Здесь и работаете? — удивился Сергей. И он подумал, что изменит порядки. Заставит промыть окна, побелить цех, привести его в пристойный вид. А если Федор Васильевич заупрямится, то обойдутся и без него: помогут вот эти молодые камнерезы.

Нюра шла в сторонке и не вмешивалась в разговоры. Только когда выходили на улицу, она сказала:

— Нехорошо у нас. Правда?

— Очень нехорошо.

На дворе, заросшем травой, рабочие осторожно поднимали на грузовую автомашину тяжелые ящики с готовыми плитами, уложенными плотно одна к другой, как листы стекла. Председатель артели, сунув руки в карманы широких галифе, наблюдал за погрузкой. Рядом стоял молчаливый технорук.

— Здравствуйте! — отрывисто ответил Федор Васильевич на приветствие Сергея.— Завод смотрели?

— Да. И в камнерезном цехе побывал.

— А там что смотреть? Пыль да паутина. Закрыли его.

— Знаю... Почему?

— Важные причины есть. Пойдемте,— пригласил он Сергея.

Технорук, как тень, двинулся за ними.

В маленьком тесном кабинетике, где на письменном столе вместо стекла лежала отполированная красная мраморная плита, Сергей увидел Кузьму Григорьевича.

— Ты ко мне? — отрывисто и недовольно спросил его Федор Васильевич, еле протискиваясь между стеной и письменным столом. Он грузно сел, и стул закрипел под ним.

— К тебе, Федор,— подтвердил сердито Кузьма Григорьевич.

— Попозже зайди. Занят с товарищем.

— Я подожду. Может, мое дело и товарищу интересно.

— Ну, Кузьма! — повысил голос Федор Васильевич. — Надоело мне слушать. Сказал — так и останется.

— А ты, Федор, не заносись. Всем ты парень хорош, да с зайцем в голове.

— Все сказал?

— Только начал.

— Тогда жди, а теперь дай с товарищем поговорить.

Сергей стоял возле застекленного шкафа с образцами камнерезных изделий.

— Можно посмотреть?

— Да что там глядеть,— небрежно отмахнулся председатель. — Мастера молодые, им только учиться и учиться. Ничем похвастать не можем.

— А кто виноват,— вмешался опять Кузьма Григорьевич. — Прислали молодых мастеров, государство на них деньги тратило, а ты их на плиты.

— Дай ты мне хоть слово сказать,— вспыхнул Федор Васильевич, метнув уничтожающий взгляд на старого мастера и вставая.

Он погрел большой связкой ключей, подбирая нужный, и открыл дверцу шкафа.

Среди обычных письменных приборов из цветного мрамора, шкатулок из яшмы, радующих глаз теплотой тонов, стояли и такие работы, к которым невольно потя-

улась рука Сергея. Он увидел фигуру пограничника в озоре, колхозницу со снопом пшеницы на плече, пионеров у знамени.

На верхней полке стояла знакомая кисть рябиновых год с желтоватыми узорными листьями, так и поманивая к себе. Казалось, что она, тронутая первым морозцем, только-только сорвана в лесу, и от нее пахнет острой осенней прохладой. Сколько же настоящего понимания красоты природы выразил художник в этой скромной рябиновой ветке!

— Это чья работа? — спросил Сергей, уже угадывая ответ. Какая разница! В тех рябиновых кистях все еще было в беспокойном поиске, а здесь лежала законченная вещь.

— Дочки вашей хозяйки, — неохотно ответил Федор Васильевич.

Кузьма Григорьевич привстал со стула и заглянул, вытягивая тонкую шею, покрытую седым пухом, в шкаф.

— Ах, ягодка-краса, — восхищенно прошептал он, отводя рукой в сторону бороду.

Федор Васильевич отчужденно молчал. Достав коробок папирос, он закурил.

Сергей вынул из шкафа фигурку девочки, играющей в мяч, и, поставив ее на ладонь, вытянул руку. Так хорошо было передано резкое живое движение девочки, что все ею залюбовались. Даже взгляд Федора Васильевича смягчился.

— Тоже Нюрина работа?

— Да, — буркнул Федор Васильевич, словно досадуя на свою минутную слабость.

— Во! — торжествующе воскликнул Кузьма Григорьевич. — Слышал? Понимающий человек ее работу сразу отличает. А ты и другие посмотри, всех молодых мастеров, что они могут.

— Надоел ты мне, Кузьма, — откровенно признался Федор Васильевич и быстро заговорил, еще больше шепелявя. — Сколько она, твоя Нюра, над ней сидела? Ты знаешь? А? И знать не хочешь? А другие? Мне-то считать приходится. Три дня работы, на пятиалтынный доходу. А плиты нам деньги дают...

— Ты все на рубли не меряй, — затряс головой Кузьма Григорьевич и даже пристукнул палкой. — Ишь, ал-

тынник. Хорошо идут плиты, нужны — ну и расширяю это дело, набираю работников. Но нашего искусства хорони. Не дадим! Оно плитам не помеха. Чего молодую затираешь? Нюрке не даешь работать, а, может, в нее талант всех наших мастеров. Ее работы, может, рядом с отцовскими в музее стоять будут.

— Э! Куда поехал... Ну и наговорил... Вот язык-то тебя! А я о ней не беспокоюсь? И мне Нюра не чужая. С отцом ее в гражданскую войну одной шинелью укрылись, вместе кулаков в тридцатом трясли. Что она, да и другие, на этих своих кошках-мышках заработает. А на плитах вдвое больше принесет. Ничего с ней не случится... Девчонка молодая, о платьях и туфлях тоже голова болит. Еще мне и спасибо скажет.

— А вам-то печаль какая? — звонко сказала Нюра. — Что вы о моих туфлях и платьях беспокоитесь? Вы на с плит снимите.

Сергей быстро поставил в шкаф фигуру девочки, играющей в мяч. Нюра стояла у двери. На припудренном лице сердито сверкали глаза.

— Ты, Нюра, не задавайся, — нравоучительно сказал Федор Васильевич. — Не задавайся! Подождут эти твои фигурки. Вот поднакопим денег в артели, тогда посмотрим... Это более важно, чем твои фигурки.

— А, проговорился, — вмешался опять Кузьма Григорьевич. — То тебе постоянно трест писал, что наш камнерезный цех не нужен. А оказывается, тебе самому он выгоды мало дает.

— Нет же теперь в плане камнерезного цеха.

— Все-таки почему камнерезный цех закрыли? — спросил Сергей.

— Говорю, с зайцем в голове, — сердито повторил Кузьма Григорьевич. — Камнерезов на плиты, всех мастеров старых на печку. Дело это?

— Зря скандалишь, Кузьма, — уже еле сдерживаясь, сказал Федор Васильевич. — Будет собрание — подашь свой голос: пока не мешайся.

Технорук тихо выскользнул из комнаты.

— Не будет по-вашему, Федор Васильевич! — с вызовом произнесла Нюра. — Будет — по-нашему.

— Эх, разошлась! — бросил Федор Васильевич и, загремев связкой, с такой силой повернул ключ в замке, что он сломался. — Ты еще раз в газету напиши.

— Уж написала,— сказала Нюра.— Не только в газету...

— По одежде протягиваем ножки. Нет плана на камнерезов — с меня спроса нет.

— А ты требуй этот план! — закричал Кузьма Григорьевич.— Требуй, коли тебе народ артель доверил. Он тебе и наше старое искусство доверил.

— Дадите или нет с товарищем поговорить?

— А, говори,— махнул рукой Кузьма Григорьевич.— Идем, Нюра,— и он увел девушку.

Федор Васильевич сидел за столом с безразличным выражением на лице.

Сергей молчал, готовясь к решительному разговору.

— Искусство, искусство,— проворчал Федор Васильевич, вороша какие-то бумаги на столе.— Свет оно им застило. Не хотят в кассу заглядывать.

— А почему же камнерезный цех закрыли? — снова спросил Сергей.

— Доходов мало приносил, потому и закрыли.

— Только поэтому? А вы поспорить не захотели? Ведь это старинное искусство, его развивать надо. Уральский камень в народе любят.

— Пусть другие любят, — сказал Федор Васильевич, поднимая голову от бумаг.— Давайте вашу путевку: видите — нет камнерезного цеха, и не могу вас использовать. Ведь вы на другую работу не пойдете.

Он взял путевку, разгладил ее ладонью, подумал и что-то размашисто написал в верхнем левом уголке и пристукнул прессом.

— Вот...

Сергей прочитал на путевке: «Использовать не могу».

— Просто вы все решили,— сказал он.— Ведь меня трест прислал.

— А вы там поговорите: они должны знать, что нет у нас такого цеха.

— Убеждаюсь, Федор Васильевич, что сами вы постарались этот цех закрыть. А теперь на трест сваливаете.

— Вы мне морали не читайте. Я их с утра до вечера слышу.

— А что же вы меня два дня держали? Могли бы в первый вечер сказать.

— А вы не беспокойтесь, дорогу и суточные вам оплатят.— И громко позвал: — Ксения Львовна! Оформите товарищу Охлупину расчеты.

Он углубился в чтение какой-то бумаги. Сергей еще раз посмотрел на путевку и решительно протянул ее Федору Васильевичу.

— Возьмите,— сказал он.

— Что? — Федор Васильевич поднял голову.

— Путевку возьмите. Никуда я не поеду. Меня сюда послали, тут я и останусь.

— Сказано, что у нас такого цеха нет.

— В тресте это знают? Ну и берите меня в тот цех, который есть. Любую работу давайте, ведь вам специалисты нужны.

Федор Васильевич недоуменно слушал.

— И на плиты пойдете?

— А что? Пойду и на плиты.

— Ладно шутить...— Но он уже задумался.

— Без шуток. Когда на работу выходить?

— Послезавтра... Но,— Федор Васильевич помедлил, опять кинув подозрительный взгляд на Сергея, и иронически протянул: — Возьмем с испытательным сроком. Месячным...

Хотел что-то добавить еще, но раздумал, и не взглянув больше на Сергея, Федор Васильевич вышел, и за дверью прозвучали его тяжелые шаги по коридору.

«Хорош! — покачал головой Сергей. Этот неожиданный конец разговора ничего хорошего не обещал.— А все же останусь!» — твердо решил он.

Сергей медленно шел домой.

Нюра с подругой нагнали его и пошли рядом.

— Опять с Федором Васильевичем заспорили,— рассказывала подруге Нюра.

— И опять ничего?

— Да разве его убедишь? Не хочет он камнерезов.

Впереди слышались музыка и громкое на всю улицу пение.

— Что это? — спросила Нюра.

— Забыла? Женька замуж выходит. Ты же на свадьбу обещала придти.

— Не пойду я, Дуся,— грустно сказала Нюра.— Не идут мне песни в голову.

Они поравнялись с домом, где праздновали свадьбу. Все пять окон были раскрыты, во всех виднелись спины гостей.

Слышался тяжелый топот танцующих, женский голос задорно пел:

Ты пляши, пляши,
Ты пляши, не дуйся,
Если жалко сапоги,
Так сходи разуйся.

Подруги замедлили шаги.

Дуся жалобно попросила:

— Пойдем, Нюра. Ведь обещала...

Нюра ответила не сразу.

— Иди одна, Дуся. А я, может, потом подойду.

Дуся свернула в свой дом, а Сергей и Нюра пошли рядом.

— Видели теперь, какой у нас Федор Васильевич? — спросила она.

— Трудный человек...

— А добьемся мы, что цех опять откроют? — спросила Нюра. — Вам что сказали, когда сюда послали?

— Да мне и не говорили, что цеха нет. Рассказали только, что тут мастеров хороших много было, да потеряли их, поднимать надо камнерезное дело.

У себя в комнате Сергей присел к столу и стал перебирать этюды. Взгляд его упал на рябиновую ветку. Стало опять досадно, что от воли такого человека, как Федор Васильевич, зависит тут судьба старинного камнерезного дела.

За стеной слышались легкие шаги Нюры и поскрипывание половиц. Девушка что-то напевала. Слышно было, как Нюра раздувала утюг, потом начала гладить: запахло углями. Как и когда родился в ней художник, думал Сергей. Всегда интересны обстоятельства, в которых является это особое отношение к миру, когда человек вступает в искусство. Не от той ли веточки, принесенной осенью из леса, веточки, которую Нюре захотелось повторить в камне, и родился в ней художник? Как сложится судьба этой одаренной девушки из маленького поселка мраморщиков? Надо помочь Нюре... Нельзя уступать Федору Васильевичу.

Правильно ли он сделал? Конечно, так он должен

поступать. Будет тут камнерезный цех. Ведь не на ветер бросили слова, когда посылали его сюда.

— Да ты покушай,— настойчиво сказала Варвара Михайловна.

— На свадьбе накормят,— весело отозвалась Нюра.— Да я скоренько вернусь,— ласково пропела она.

Сергей увидел Нюру на улице. Она была в шелковом цветном платье, в белых туфлях на высоких каблуках, волосы уложены в аккуратный узел. Лицо было веселое.

Он крикнул в окно.

— Нюра, подождите! — и заторопился на улицу.

Нюра ждала его.

— На свадьбу?

— Обещала подружке.— Глаза Нюры оживленно блестели.— Мы с ней в школе учились.

— А знаете, Нюра, ведь мне Федор Васильевич в работе отказал.

— Разве он это может?

— Камнерезного цеха нет — вот и отказал.

Нюра слушала его, наклонив голову, сосредоточенно размышляя.

— Вас сюда прислали камнерезами руководить,— сказала она.— Вы тут должны остаться.

— И мне отсюда уезжать не хочется. Знаете, что я сделал, Нюра? Согласился пойти на любую работу. Наверное, к вам, в плиточный цех, приду.

— Вы? А камнерезный?

— Вместе за него бороться будем.

— А! — Нюра облегченно вздохнула, и глаза ее заискрились.— Остаетесь? Вот это хорошо.

— А теперь проводите меня к дяде Кузьме,— попросил Сергей.— Хочу с ним поговорить — ведь это самый старейший ваш мастер.

— Идемте,— Нюра подхватила Сергея под руку.

Сергей долго не ложился спать, возбужденный разговором с Кузьмой Григорьевичем. Правильно он решил, что останется тут. Сломят упорство Федора Васильевича.

Утром Сергея разбудило мычание коров, тонкое блеяние овец. Мимо дома прогоняли стадо.

Сергей вышел в соседнюю комнату. В ней, кроме котенка на подоконнике, никого не было.

На улице у калитки, накинув на голову платок, стояла Варвара Михайловна, провожавшая корову.

— А Нюра где? — спросил Сергей.

— Ох, неугомонная! — пожаловалась Варвара Михайловна. — Воскресенье, ей бы отдохнуть, а она, ишь, ночь напролет на свадьбе празднует: ног не жалеет.

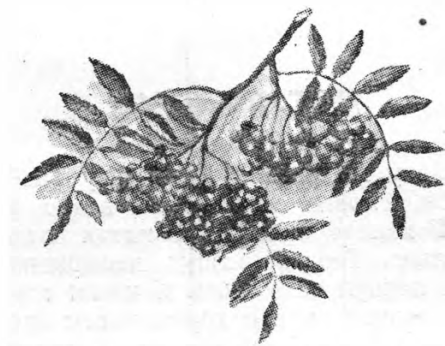
Она помолчала и деловито спросила:

— Теперь все: остаетесь?

— Да...

— Хорошо решили. Ну, пойдет в поселке шум, только поворачивайся наш Федор Васильевич.

1953 г.





ПЯТАЯ ВЕСНА

Ночью Елену Андреевну Казанцеву разбудил таинственный звон, словно о железное ведро разбивалась струя воды. В халате, накинув на плечи платок, она вышла на крыльцо. Теплый воздух, насыщенный запахом талого снега, пахнул ей в лицо. С крыш торопливо стучала капель, сорвалась и с хрустальным звоном рассыпалась сосулька. Ручей, родившийся в эту первую ночь весны, пел возле крыльца.

Ни одного огонька в домах, только возле Дома культуры неярко светил фонарь, да далеко-далеко в черном поле сверкали и переливались огни МТС.

Елена Андреевна, радостно возбужденная, долго простояла на крыльце, наслаждаясь запахом весеннего воздуха.

Вот такой стремительной была и первая весна, встреченная ею в этом маленьком городке. Даже не верится, что миновало только четыре года жизни, — столько за это время было хорошего и плохого, радостного и горького, легкого и трудного. И сколько еще всего будет впереди!

Пятая весна!

Надо ей торопиться закончить работу с закаленными томатными семенами: даже одного дня нельзя упускать. Теперь она окончательно докажет, какая это важная огородная культура для местных колхозов, как сильно повышает урожай новый метод выгонки рассады.

Утром она увидела, что робкий ручей, запевший ночью, теперь превратился в бурный поток. Теплый ветер раскачивал деревца с набухшими почками. Всюду сверкали лужи, темные осевшие сугробы лежали вдоль заборов. Оступившись, Елена Андреевна набрала в правую туфлю воды и рассмеялась. Весна! До чего же хорошо в такой день на белом свете.

Лицо ее раскраснелось, оживленная, веселая, подошла она к одноэтажному домику сортоиспытательного участка.

У ворот Казанцева столкнулась с полной пожилой женщиной.

— Здравствуйте, Елена Андреевна,— левуче, низким голосом поздоровалась та.

— Здравствуйте,— откликнулась Казанцева, взглядываясь в пухлое в ямочках лицо и стараясь припомнить, где и когда встречались они.

Во дворе Казанцева запрыгала по кирпичикам, а женщина широко, по-мужски бесстрашно, прошагала в сапогах по мокрому снегу.

— Из Бруснят я. Егор Иванович за семенами прислал.

— А! — припомнила Елена Андреевна звеньевую огородного звена.— Павла Федоровна!

— Вот, вот...— подтвердила женщина.— Новый сорт моркови, если не запамятовали, посушили.

— Помню... Проходите,— и Казанцева распахнула дверь.

У окна, в зеленом ватнике, стояла Наташа, помощница Казанцевой. Яркий солнечный свет золотил ее волосы. Лицо Наташи, щедро осыпанное веснушками, было растерянное и хмурое.

На диване сидел, небрежно развалиясь, председатель колхоза Аркадий Прокопьевич Савин и жевал потухшую папиросу. Его шинель с замызанной полкой была застегнута на все пуговицы, под каблуками сапог на чистом полу расплылись две лужи.

Увидев Елену Андреевну, Савин торопливо подобрал вытянутые ноги.

Елена Андреевна, здороваясь, пристально посмотрела на председателя, подозревая, что он уже успел чем-то обидеть Наташу.

— Наташа! — позвала Елена Андреевна. — Что случилось?

— Беда, — глухо сказала девушка, и лицо ее стало виноватым. — Мыши семена поели.

— Какие семена? Этого еще не хватало.

— Арбузные, что мы позавчера замочили.

Елена Андреевна опустила на стул.

— Ведь говорила, Наташа, предупреждала, — не удержалась она от упрека.

— Кто же знал? — возразила тихо Наташа. — Никогда там мышей не было, семечка не трогали...

— Мыши семенами закусили? Хозяйки! — засмеялся Савин, но тут же строго нахмурился. Брови его низко опустились, взгляд потяжелел.

— Где семена? — спросила Елена Андреевна, недовольная, что Савин стал свидетелем этого разговора.

Наташа только кивнула головой на дверь в соседнюю комнату.

Там на столе лежала горка серых мешочков, изгрызенных мышами. Елена Андреевна взяла верхний и высыпала на ладонь крошки семян.

— А как хорошо пошли, — огорченно сказала Елена Андреевна. — Видишь, Наташа, росточки уже проклюнулись.

Она обернулась, протягивая руку, но сзади стоял Савин и презрительно смотрел на стол с рассыпанными семенами.

— Да... — протянул он. — Вы бы еще выпивку поставили к такой закуске. — Он даже взял несколько крошек, помял их в ладони и бросил на стол.

Елена Андреевна вернулась в комнату. У Наташи чуть повлажнели глаза. «Этого еще не хватает», — подумала Елена Андреевна.

— Ты что голову повесила? — бодро заговорила она и взяла Наташу за круглый с ямочкой подбородок. — Ничего же страшного... Иди, снова замачивай семена. Времени у нас хватит.

Она обернулась к Савину.

— Хорошо, что заглянули, Аркадий Прокопьевич. К вам собиралась. Мне еще люди нужны. Видите, как весна дружно пошла.

— И я насчет людей. Четырех человек сегодня у вас забрал, на другие работы кинул.

— Почему?

— Не могу на пустяках людей держать. Прений, Елена Андреевна, открывать не будем,— предупредил Савин.— Слово свято.

— Да никакого у вас святого слова нет. Сначала даете людей, всякую помощь обещаете, потом отбираете. Вы мне опыты по закалке томатов сорвете.

— А уж это не моя печаль. Вы тут закуску для мышей готовите, а мне надо семена к севу готовить. Как-нибудь своими силами обойдитесь.

— Это ведь и ваша забота.

— Все знаю, что сказать хотите. Сортоучасток прикреплён к колхозу. Правильно! Для испытания овощных культур мы вам людей даем. А вы, Елена Андреевна, решили институт открыть. Институт! Для ваших личных опытов, извините, свободных работников в колхозе нет. Можете сердиться — я вас предупредил честно. Мое дело на урожай зерновых закаливаться, а не на этот ваш мышиный корм.

Савин настороженно посмотрел на Казанцеву.

Она стояла спокойная, может, только чуть порозовели скулы, да сдвинулись темные брови. Наверное, сердится, но сдерживает себя. Но это председателя мало тронуло. Ему уже давно не нравились эти «забавы» агронома. Не желает она считаться с возможностями колхоза, ничего не видит, кроме своего сортоиспытательного участка.

— Моя работа для колхоза,— возразила сдержанно Казанцева.

— Нет...— решительно ответил Савин.— Давно хотел сказать: — Делайте, что вам по плану положено. На это вам и государство деньги отпускает. Важна ваша работа над томатами — пусть министерство денег прибавит. Колхозными трудоднями рисковать не могу.

— А с рассадой что теперь делать? Выбросить?

— Зачем? В городе покупатели найдутся!..

— Как вам не стыдно, товарищ Савин! Вы это нарочно...

— Все! Прения прекращены. Вас предупредил, бригадир приказал, — и Савин пошел к двери, но у порога остановился. — А насчет «нарочно» — вы это слово забудьте! — гневно сказал он. — Не запугаете! И упреки ваши мне надоели.

Савин вышел и с такой силой хлопнул дверью, словно хотел сорвать ее с петель.

Казанцева невесело усмехнулась. Она подошла к окну, где в ящиках еле пробивались бледные иголки рассады, постояла.

— Замачивать семена? — тихо спросила Наташа.

— Замачивай...

— Чем это он грозил вам? — спросила участливо Павла Федоровна. Она сидела на диване на месте Савина, сняв с головы платок, поправляя седые волосы. — Уж такой страшный, хоть на лошадь сажай и вилы в руки давай.

— Пустое... Пойдемте, я вам семена дам. А ты, Наташа, ступай, замачивай. И как это ты недосмотрела?

Павла Федоровна, не поверив беспечному голосу, внимательно вгляделась в раскрасневшееся лицо Елены Андреевны и покачала неодобрительно головой.

— Смелая вы с природой, Елена Андреевна. Раньше рассаду от мороза пуще глаза берегли, а вы все по-другому повернули: на мороз ее выносите. Зеленец только получали, а от ваших мороженных семян красными томатами заваливаемся. Эх, Елена Андреевна, голубушка! Что же вы Савину командовать даете, обрезать его не можете. Не умеет он с людьми разговаривать. Вот бы его к нам, живо научили бы...

Казанцева ничего не ответила.

Проводив Павлу Федоровну, она вернулась в пустую комнату, рассеянно просмотрела почту и задумалась. Как ей быть? С кем посоветоваться?

В райкоме была уже несколько раз. Стоит ли надоедать?

Все же она решила побывать в райкоме.

Над улицей стоял неумолчный звон ручьев. Огромная лужа отражала голубое небо и величественные белые облака. Елена Андреевна долго искала, где ей перейти на другую сторону улицы, и все же набрала в туфли воды. Теперь это ее рассердило.

Посещение райкома партии только расстроило Казанцеву. Первого секретаря, Ковалева, не оказалось, он находился в колхозах. Второй секретарь, пожилой, болезненный человек, недавно вышедший из больницы, устало выслушал, обещал во всем разобраться и спросил:

— Что это у вас столько грызунов развелось? Вы их травите чем-нибудь. Нельзя же так... Нехорошие разговоры ходят.

Казанцева поняла, что Савин уже побывал здесь.

В грустном настроении покинула она райком. Вспомнила о безразличном отношении мужа к ее работе и не захотела идти домой. Ноги сами понесли ее на участок.

Наташа сидела за столом и, шевеля сочными губами, писала что-то в тетради.

— Что будем делать, Наташа? — задумчиво спросила Елена Андреевна, останавливаясь посредине комнаты. — Подвел нас Савин.

Наташа отложила в сторону тетрадь и вытерла рукой губы, словно после еды.

— А зачем вам эти опыты? — сердито, низким голосом заговорила она. — Растут томаты, краснеют, и хватит. Ради кого стараться-то? Вы бьетесь, дом забываете, себя не помните за работой. А Савину ничего этого и не нужно. Очень надо стараться! Плюнула бы я на вашем месте...

— Что ты говоришь, Наташа? Понимаешь ли, что ты говоришь? Только подумай...

Наташа ничего не ответила и отвернулась.

...Казанцева вспоминала, как друзья отговаривали ее от переезда в этот тихий город, затерявшийся среди лесов и полей Зауралья, пугали глушью, скукой, пустотой.

— Трудно вам там будет, — предупреждали ее.

Муж только молчаливо согласился на переезд; он не очень верил в успех работы Елены Андреевны.

А городок оказался еще меньше, чем рисовало воображение. Он вырос из села, протянувшегося длинной улицей вдоль реки. С годами пристроилась повыше вторая, за ней третья. Так образовался город из трех длинных улиц и множества коротких переулков.

Что и говорить — город невидный, похвастать ему нечем, не блещет он красивыми улицами, какими-нибудь

особенными зданиями. Все здесь просто, скромно, приспособлено к жизни сельского районного центра.

Одноэтажный город оставил Казанцеву равнодушной, но когда она увидела богатые земли за рекой и хозяйкой переступила порог сортоиспытательного участка, прикрепленного к колхозу, ей показалось, что она нашла свое настоящее место.

Казанцевы приехали осенью, в полосу дождей. Серые поля сливались с тусклым горизонтом. Ветер рябил свинцовую поверхность реки, на берегах по ветру вытягивали гибкие ветки густые тальники. Сыро, неудобно. Но в ясные солнечные дни все чудесно преображалось, словно затейливые мастерицы раскладывали яркий ковер. Полосы сверкающей озими чередовались с золотом стерни, желтели березы, и сухим огнем горели одинокие осицы на коричневой земле огородных участков. Чем ближе шло к зиме, тем ярче становились краски: словно природа хотела оставить память не о хмурых и грустных днях, а об осеннем красочном наряде.

Всю первую зиму Елена Андреевна готовилась к закатке томатных семян, просматривала свои записи, перечитывала книги. Еще работая в зерносовхозе, она несколько лет подряд выращивала томаты, закаливала своим способом семена. Сослуживцы были благодарны за ранние помидоры. Ей же хотелось провести опыты на больших площадях, проверить все в производственных условиях; теперь эта возможность появилась.

Семена в мешочках помещали в погреб, где температура была до пяти градусов ниже нуля. Затем их несколько раз переносили из теплой светлой комнаты в темноту холодного подвала, нежный росток то пробуждали к жизни, то усыпляли. Высаженные на грядки томаты, закаленные температурными колебаниями, не страшась заморозков, с необыкновенной быстротой шли в рост. Кустики поднимались низкие, но сильные, густо усеянные желтыми цветами.

Колхозники, горожане — огородников тут было много — приходили на участок полюбоваться ранними крупными помидорами.

Подозревали, что новый агроном привез семена неизвестного скороспелого сорта.

На второй год случилась беда: в конце мая ударили сильные заморозки, погубили завязи на фруктовых де-

ревьях, сожгли томатную и капустную рассаду. Доверие к Елене Андреевне пошатнулось. На третий и четвертый годы она все поправила. Теперь шла пятая весна...

Из жителей города учитель биологии Алексей Петрович Поташкин чаще других навещал сортоиспытательный участок. Елена Андреевна всегда была рада этим посещениям и особенно обрадовалась ему в этот тяжелый день: хоть с ним можно душу отвести.

Алексей Петрович сидел на диване, поставив между коленами палку, опершись на нее сцепленными тонкими кистями, и внимательно наблюдал за женщиной... Такой он видел Казанцеву впервые.

— Смотрю я на вас, а лицо-то у вас нехорошее, Елена Андреевна. Неприятности?

— Большие.

— Не мыши ли?

— Уже знаете? Успел Савин. Теперь пойдут разговоры... Нет, не мыши, а Савин. Не ладится у меня с ним, Алексей Петрович.

— Тяжелый человек,— согласился учитель.

— А теперь и у самой не ладится,— виновато призналась Елена Андреевна.— Только вам об этом говорю, Алексей Петрович,— добавила она.— Убеждают меня многие, что не за свое дело взялась. Ведь здесь сортоиспытательный участок, а не исследовательская станция. Наша задача скромная: проверяй присланные семена.

— Интересно... Продолжайте.— Учитель слушал, насупившись, постукивая пальцами по ручке палки.— Что же дальше?

— Может быть, они правы, надо заниматься только своим прямым делом.

— Не только спорить, но и слушать вас неприятно,— сердито произнес Алексей Петрович.— Перед кем смирились? Перед Савиным! Вот этого не ожидал.

— А что мне делать? Савин людей с теплицы и парников снял.

Учитель встал и прошелся по комнате. За окнами слышался звон ручьев.

— Обратили внимание, как сосны в лесу растут? Деревья все высокие, сильные, ровные, без сучков, только верхушки зеленеют. Вот так и надо жить — тянуться вершиной к свету, сбрасывая лишние сучья. Захандрили, Елена Андреевна? Трудностей испугались?

— Не испугалась...

— А перед Савиным смирились? Нелегко вам сейчас. Но не ждите, что легче будет.

— Утешили.

— А я в утешители не набиваюсь.

— Хоть посоветуйте.

— Не поняли о сосенках-то? Больше советов давать не буду. А вот пришлю завтра моих мальчишек-кружковцев. Устроит это вас?

— Ой, Алексей Петрович!..

Морщинки заиграли вокруг глаз учителя. Он положил руку на плечо женщины.

— Умница вы, Елена Андреевна. И голову не вешайте.

— Вот за такие слова, Алексей Петрович, спасибо.

— Все беды? Или еще есть?

— Все, Алексей Петрович, все...— Елена Андреевна засмеялась.

— Смотрите,— погрозил он пальцем.

Елена Андреевна шла по улице, успокоенная разговором с учителем, и думала, что распустила она себя. Ведь уже доказано, что теплолюбивые томаты могут здесь созревать, давать большие урожаи. Непременно исполнится ее мечта: вся пойма покроется огородами, будут здесь получать тысячи тонн овощей. Она еще дождется этого времени.

Но тревожная мысль, что Савин помешает ей провести в этот год работы так, как она задумала, все же не исчезала.

Дома муж, плановик райисполкома, сидел в столовой и читал газеты.

Она заглянула в спальню, где, разметавшись на кроватях, спали девочки — Тамара и Люба, поправила на них одеяльце, потом вышла в столовую.

— Будешь пить чай? — спросила она мужа.

— Да,— хмуро сказал он.

Елена Андреевна включила электрический чайник, потом вернулась в столовую и, ожидая, когда согреется чай, взялась за штопку детского белья.

— Лена, хотел с тобой поговорить.— Сергей Иванович отложил в сторону газету.— Сегодня в райисполкоме вспоминали тебя. Савин опять жаловался. Зря отвле-

каешь колхозников на свой участок. Пользы колхоз от твоей работы не получает. Савин брался доказать, что никакой прибавки урожая на твоём участке нет. Впрочем, тебя мои советы не интересуют.

— Как же Савин это докажет?

— А у тебя какие-нибудь цифры есть?

— Савин в этом виноват. В уборку смешал все овощи, свои и мои.

Елена Андреевна в волнении скомкала белье. Впервые муж говорил так сухо, почти враждебно.

— Зачем ты завел этот разговор? — спросила она, и голос ее дрогнул от волнения.

— Савин настаивает, чтобы сортоиспытательный участок занимался только сортовыми испытаниями. Ты с ним ссоришься. Все об этом знают. Мне слышать об этом тоже не очень приятно. Подумай, может быть, все твои томатные затеи пустые?

— Хорошо, — покорно сказала Елена Андреевна и, чувствуя, как глаза ее наполняются слезами, поспешно отвернулась. — Я подумаю, Сергей, обо всем, что ты сказал.

Он опять взялся за газету. Казалось, этот разговор никак не задел его — лицо было совсем спокойное.

Елена Андреевна вспоминала совместную жизнь год за годом. Когда-то муж горячо сочувствовал ей, даже поехал ради нее в этот маленький город. Но сейчас, когда ей так плохо, трудно с Савиным, когда все срывается...

Пить чай Елена Андреевна не стала.

Она ушла в спальню, легла в постель и заплакала.

* * *

На следующий день на сортоиспытательный участок пришли ученики Алексея Петровича. В теплице было душно и влажно. Мальчики и девочки сняли пальто и, сложив их в кучу, принялись за работу. Елена Андреевна остановилась возле пухлощекого мальчугана лет тринадцати и смотрела, как он пикирует рассаду. Двумя пальцами в чернильных пятнах он осторожно брал молодые растения и опускал их корешками в лунку. Он оглянулся через плечо на Елену Андреевну и покраснел от смущения, услышав ее похвалу.

В теплицу вошел Савин и, удивленный, остановился у порога. Елена Андреевна наклонилась к мальчику, предупредила.

— Только землю насыпай повыше.

— Вас в Крутово просили позвонить,— сказал Савин, постоял еще немного, наблюдая за ребятами, и вышел.

— Ой! — вскинулась Елена Андреевна.— Забыла...

Времени до отхода поезда оставалось в обрез. Казанцева еле управилась со всеми делами на участке и на станцию поспела к самому отходу поезда. В вагоне она подошла к окну и увидела удаляющийся город: зубчатые стены монастыря, новенькие двухэтажные дома ремонтно-механического завода, пожарную каланчу, высокое здание элеватора, потом замелькали постройки животноводческого совхоза.

На разъезде, где сошла Елена Андреевна, ее ждала подвода.

Дорога шла с горки на горку, то лесом, то полем. Было тепло, верба уже распушилась, густо выбросив барашки. Среди белых снегов чернели лесные озерки талой воды, отражая кусты, деревья, облака. На душе Елены Андреевны было спокойно, все волнения улеглись.

Крутово она увидела издалека, село стояло на горе.

В просторной, светлой и очень чистой комнате Елена Андреевна встретила председателя колхоза Петухова, широкоплечего, крупноголового, с добродушно-ироническим выражением глаз. Над его столом на длинном шнуре горела большая электрическая лампочка, хотя в этом сейчас не было никакой нужды. На скамейках чинно сидели колхозники и колхозницы.

Все поздоровались с Казанцевой.

— Извините,— сказал председатель,— сейчас закончим.

Шло распределение людей по бригадам, большинство собравшихся тут были бригадирами.

— Ты, бригадир, двадцать первый,— обратился Петухов к молодому парню,— замыкающий, чтобы строй не размыкался. А ты, Марья Ивановна,— повернулся он к миловидной женщине средних лет,— надеемся, будешь стойким борцом за дела огородной бригады. Вот к тебе и научная помощь прибыла. Действуй, как начала, не сбавляй, а усиливай темпы. Так я сказал?

Он говорил щедро и добродушно, рассыпая лукавые шуточки и прибауточки. Елена Андреевна подумала, что с таким человеком, наверное, работать легко и весело.

Заметив, что Елена Андреевна несколько раз недоуменно посмотрела на горящую электролампочку, Петухов пояснил:

— В большой день к нам приехали. Сегодня агрегаты на гидростанции пробуют. Вот у меня, как у начальства, и горит контрольная лампа. С утра светит. А теперь пойдете, посмотрим наши огороды.

Они спустились к реке и пошли по талому снегу. Петухов показывал, как они думают распределить огородную площадь. Огородница Марья Ивановна куталась в серый платок и молчала, робко поглядывая на Елену Андреевну.

— Размахнулись на огороды... Деньги нужны,— как бы по секрету добавил Петухов.— Вашу закалку семян хотим применить. Рассада ваша утренняя не очень боится, значит, свои парники, если нам стекла не хватит, можем соломенными матами укрывать. Второе, кустики растут низенькие — подвязывать их не нужно, это на людях экономия. Да и урожай с прибавкой получается. С огородов собираемся не меньше четырехсот тысяч взять. Дашь нам, Марья Ивановна, четыреста тысяч?

У этого человека все было рассчитано вперед, во всем чувствовался заботливый и дальновидный хозяин.

Елена Андреевна сказала:

— Крупно вы размахнулись... Четыреста тысяч с огородов вам не получить.

— Вы так думаете? — прищурился Петухов.

— Уверена. В нашем колхозе прошлый год собирались сто двадцать тысяч получить, а вышло меньше семидесяти.

— У нас так не будет. Савин ваш разве по-настоящему овощами занимается? Не понимает он выгоды этого дела. А у нас все рассчитано точно.

До сих пор молчавшая Марья Ивановна обидчиво заговорила:

— Почему вы удивляетесь? Мы в прошлом году двести десять тысяч имели. И так нам эти овощи понравились... Уж очень верное дело. Теперь, сколько нам ваши томаты дадут. Первыми с ними на базар поедем.

— Слышите, что огородный вожак говорит? — воскликнул довольный Петухов.— Марья Ивановна всех баб и старух огородными доходами всполошила. У нас была такая «инвалидная команда» — резерв из стариков и старух. Всех Марья Ивановна к себе забрала, ликвидировала «инвалидную команду». Она что сделала — старикам и старухам дала по грядке и говорит: «Ты, бабушка, ухаживай за этой грядкой, а ты, дедушка, за той... Вот и вся ваша работа в колхозе». Они и выходили... Вот какая у нас Марья Ивановна!

Марья Ивановна застенчиво посмотрела на Елену Андреевну.

— Ну, пошел хвалить,— добродушно сказала она.— Нельзя и старых людей забывать. С ними как надо: обмани, да не прогневи. В войну раз было... Жали старухи, пришел на поле прежний председатель, посмотрел работу, да и пошутил: «Что вы, дескать, наработали, комбайн за час все это сделал бы». Старухи обиделись и ушли с поля... Потом три дня пришлось их упрашивать.

Теплица, сверкая стеклами, стояла на южном бугре. Елена Андреевна вошла, и у нее глаза разбежались: так все было хорошо. Все полки заняты рассадой, на полу посыпан песок, столы радовали свежей белизной. Над ящиками с буйно поднявшейся рассадой трудились старушки, и Елена Андреевна подумала, что это, наверное, те самые, из «инвалидной команды».

— Вот ваши закаленные семечки,— показала Марья Ивановна семена томатов с проклюнувшимися ростками.

— Где вы научились семена закаливать? — удивилась Елена Андреевна.

— В позапрошлом году на вашем участке,— чуть усмехнувшись, призналась Марья Ивановна.— Вас-то не было, помощница ваша, Наташа, встретила, везде провела, все показала и рассказала. Мы и попробовали. Только в первый-то год, как положили семена на мороз после тепла, они и смерзлись в комок. Наши бабы так и ахнули. Я тоже решила, что напутала что-то, погубила семена. Но молчу, продолжаю делать, как от Наташи записала. Высадили, и уж такие хорошие помидоры получили! Никогда таких тут не видели. На следующий год смелее стали. А нынче и вовсе осмелели. Большой огород заводим.

«Ой, Наташа,— весело подумала Елена Андреевна,— попадет тебе. Вот почему ты меня в Крутово гнала. И хоть бы слово мне...»

— Вам бы статью в газету о томатах написать,— посоветовала Марья Ивановна, дотрагиваясь до руки Елены Андреевны.— Не знают люди о вашей работе. А прочили бы, и все за томаты взялись.

Елена Андреевна ходила по теплице за Марьей Ивановной, а Петухов, покуривая, терпеливо ожидал их. Когда женщины все осмотрели и вдоволь наговорились, Петухов только спросил:

— Можем выращивать овощи? Годится теплица?

— Очень все хорошо сделано.

Глаза у председателя потеплели, и он особенно ласково посмотрел на Марию Ивановну.

— Это все она, хлопотунья.

...Лекцию Елена Андреевна читала в кабинете председателя колхоза. Ярко светила лампочка. Казанцева хорошо видела внимательные и доверчивые лица слушателей. Ей было приятно отвечать на многочисленные вопросы. Петухов сидел рядом с ней, что-то записывал в свой большой блокнот.

— Советуете дождевальные установки? — спросил он напоследок.

— Вы же еще не разбогатели? — напомнила ему Елена Андреевна.

— На это, коли нужно, и по бедности деньги найдем.

— Тогда заводите.

— Слышали, товарищи колхозники? — спросил Петухов.— Значит, завтра в город посылаем, пока соседи не перехватили.

Казанцеву настойчиво уговаривали остаться переночевать, но она отказалась, пообещав побывать в Крутове еще раз, посмотреть работы на огородах. Ей хотелось помочь Марье Ивановне сдержать слово, получить с огородов четыреста тысяч дохода.

К станции железной дороги ехали в темноте. Позади ярко светилось председательское окно. Этот свет то пропадал, когда дорога уходила в низину, то снова появлялся, когда дорога выбегала на бугор. «Вот бы таким Савин был,— думала Елена Андреевна.— У него земля не хуже, люди хорошие есть... Колхозной пользы не видит».

Тихое спокойствие охватило Елену Андреевну. Как

хорошо, что побывала она в этом колхозе. Ничего-то она и не знала о крутовцах. Вот так бы повести огородные работы во всех колхозах. Ведь для этого она и приехала сюда.

Уже ночью Елена Андреевна добралась домой, усталая и голодная. Муж ни о чем не спросил, даже не поинтересовался, где она так задержалась.

Наташа, после истории с арбузными семенами ходила тихая, старалась во всем угодить Елене Андреевне, аккуратно выполняла все распоряжения. Наташе казалось, что не только в колхозе, но и весь город знает эту постыдную историю и по ее вине брошено пятно на сортоиспытательный участок. Недаром Геннадий Соколов, электрик с элеватора, в Доме культуры, вальсируя с Наташей, спросил: правда ли, что они на сортоиспытательной станции кормят мышей жареными подсолнухами.

Наташа так рассердилась, что больше не стала с ним танцевать, хоть он и ходил весь вечер за нею по пятам. Она даже постаралась незаметно от Геннадия убежать одна домой.

Наташа видела, как мучается Елена Андреевна, и ей хотелось чем-нибудь посильнее досадить Савину. Всякий раз, как он появлялся в домике, Наташа грубо кричала:

— Ноги вытирайте!..— и заставляла его снова выйти в сени, где у порожка лежал соломенный мат.

Савин молча косился на нее, но слушался.

— И не курите,— предупреждала Наташа, ненавидяще глядя в его лицо.— У нас пепельниц нет...

— Ты что расфыркалась? — невозмутимо спрашивал Савин.

— Не ваше дело,— грубо отвечала Наташа.

Даже Елена Андреевна как-то недовольно заметила:

— Ты зачем Савину грубишь?

— А что мне на него смотреть? — сердито ответила Наташа и передернула плечами.— Хоть и дядя мне, а не люблю.

Весна шла торопливая, без заморозков: ручьи гревели день и ночь, снег таял на глазах, вода неслась по реке поверх льда, начинало заливать пойму, заросшую тальником и камышами. Зацвела ива, пролетела первая крапивница.

«Сорвется моя пятая весна»,— с возрастающей тревогой думала Елена Андреевна.

Вдруг Наташа начала настойчиво просить Казанцеву отпустить ее «только на один день» в Брусняты.

— Зачем тебе? — удивилась Елена Андреевна.

— Надо,— уклончиво ответила Наташа.

Но дел нахлынуло столько, что Наташе никак нельзя было отлучиться.

В тот день, когда Елена Андреевна, наконец, позволила Наташе поехать в Брусняты, на реке тронулся лед, и город оказался отрезанным от большинства колхозов. Жители низинной части теперь добирались домой по деревянным мосткам. Всю широкую правобережную пойму залила полая вода: по вечерам на пойме маячили лодки рыбаков.

Наташа обиделась, помрачнела.

На второй день, как тронулась река, возле сортоиспытательного участка остановилась верховая лошадь. Ноги ее и живот были в черных ошметках грязи. В дом вошел председатель бруснятского колхоза Егор Иванович Клещев, мужчина лет пятидесяти, черный, в высоких болотных сапогах, оставлявших грязные следы на полу.

— Все дороги развезло,— громко сказал он.— Ох, как я вам нагрязнил.

— Ничего, Егор Иванович,— вскинулась со своего места Наташа.— Сегодня полы мыть будем.

— Как живешь, томатница? — спросил он Наташу.— Что ж не приехала? Ждали.

Наташа смутилась, словно появление Егора Ивановича застало ее врасплох. Она тревожно следила за председателем.

— Бедно живете,— осудительно сказал Клещев, оглядывая комнату, где стояли простые столы, а вместо стульев — табуретки.— Жили бы в нашем колхозе — я вас не так бы обставил.

— Вы, Егор Иванович, не переманивать ли нас собираетесь? — пошутила Елена Андреевна.

— Угадали,— серьезно подтвердил Егор Иванович. Он достал из кармана пачку папирос и закурил. Наташа торопливо вынула из-под цветочного горшка блюдечко и поставила перед ним.

— Угадали, Елена Андреевна. За этим и приехал. Решили мы по-крупному овощами заняться. Дела у вас

тут плохи. Савину вы не очень нужны. Хотим уговорить вас перевести сортоиспытательный участок к нам. Дом для вас готов, людей получите, сколько нужно. Слово теперь за вами.

— Уж очень вы быстро все решили,— даже растерялась Казанцева.

— Тянуть не любим. По рукам?

— Не я такие вопросы решаю. Без министерства не имею права участок переводить.

— А мы через райком партии все быстро решим. Было бы ваше слово.

— Подумать надо.

— Долго думать будете — весну упустите. Знаю я, какие у вас тут дела. Хотите год потерять? Сейчас вот у вас одна Наташа, а я, если нужно, трех девушек приставлю. Только помогите мне с овощами. Оборудую вам такую лабораторию... В институт ездить не надо.

— Дайте хоть подумать...

— Что ж, думайте,— разрешил Егор Иванович.— А теперь просветите-ка, чем сейчас занимаетесь.

Казанцева повела его в теплицу, показала, как она ведет закалку томатных семян. Председатель молча слушал, все внимательно разглядывая своими зоркими глазами, иногда недовольно морщился.

— Построчки неважные,— заметил он.— Таких у нас не будет. Так поедете?

— Всерьез спрашиваете, Егор Иванович?

— За тридцать километров по такой дороге приехал,— показал он на свои грязные сапоги,— далековато, коли шутить захотелось.

— Сразу ответить не могу.

— Потерпим,— согласился Егор Иванович и наклонился к Елене Андреевне, заглядывая ей в лицо настойчивыми глазами.— А если не надумаете,— Наташу к нам отпустите?

— Час от часу не легче. Незачем ей ехать. Наташе учиться надо. Ведь только техникум кончила. Вы мне девушку не смущайте.

— От вас она кое-чему научилась. Пусть эти знания дальше передает. Учиться захочет — не задержим, стипендию свою установим. А вам, вместо Наташи, хорошую девчоночку в помощницы пришлем.

— Вы, как цыган...

— Овощевод хороший нам нужен. От нужды цыганю. Они осмотрели теплицу, парники и вышли на улицу. На улице им повстречался Савин.

— Что в чужое хозяйство залез? — шутиливо спросил Савин.

— Учусь, как не надо хозяйничать, — бесцеремонно сказал Клещев и мельком посмотрел на Елену Андреевну. — И зачем тебе сортоиспытательный участок?

Елена Андреевна закусил губу, ей не понравилось это чересчур поспешное наступление.

Савин нахмурился.

Клещев, сделав вид, что ничего не замечает, взял под руку Савина:

— Пойдем-ка, потолкуем. Прения открывать на улице не будем. Верно? — засмеялся Клещев, вызвав невольную улыбку и у Елены Андреевны.

Председатели направились к конторе колхоза, а Елена Андреевна вернулась на сортоиспытательный участок.

— Покидаешь меня, Наташа? — сухо спросила Елена Андреевна.

Девушка растерянно смотрела на нее.

— Никуда я от вас не поеду. Что это вы вздумали?

— Все знаю... Рассказал мне Егор Иванович.

— Напраслина все это. Даже не думаю, — горячо заговорила девушка. — Просто хотела посмотреть в Бруснятах теплицу и дом для вас. Может быть, обманывает он, только обещает. Поедьте в Брусняты, Елена Андреевна. Чего тут с Савиным мучиться?

— Займемся лучше делами, Наташа. Нечего гадать, где нам может быть лучше. Работать надо.

Неожиданное и заманчивое предложение бруснятского председателя все же смутило Казанцеву. Она невольно стала размышлять о возможном переезде. Но сразу возникло такое множество препятствий, что Елена Андреевна только рукой махнула. «Привередничаю, — решила она. — Надо Савина убедить, и своего, даже в этих условиях, добиться».

— Никуда перебираться не будем, — сказала она Наташе. — И тебе переезжать не советую. Нечего метаться, решила учиться — готовься.

Наташа выслушала, нагнув голову. Потом взглянула на Казанцеву и произнесла с обидой:

— Я и не думала от вас бежать... Помочь хотела. Это

все Павла Федоровна Клещеву пересказала. Он и забеспокоился о вас.

Казанцевой вдруг стало очень легко. Нет, не признает она себя побежденной, не восторжествовать Савину. Опыты на участке не сократит. Будет продолжать работы в производственных условиях не только у себя на участке, но и в Крутове у Петухова, в Бруснятах у Егора Ивановича. Председатели помогут ей. Весной и летом станет наезжать в эти колхозы, последит за посевами и развитием огородных культур. Да и Наташа сможет там побывать.

— С рассадой что будем делать? — осторожно спросила Наташа. — Столько ее, что и девать некуда.

Елена Андреевна задумалась.

— Егору Ивановичу отдадим, расскажем, как надо ухаживать. Вот и придется тебе в Брусняты поехать.

Наташа не поверила.

— Ему? Себе только на прядки оставим?

— Другого ничего не придумаем. Не продавать же ее на базаре?

...Елене Андреевне хотелось в этот день уйти пораньше и заняться домашними делами. Но помешали неожиданные посетители.

В сенях раздались торопливые шаги, распахнулась дверь, и в комнату вошел секретарь райкома, а за ним сконфуженный Клещев.

— Извините, — сказал басовито Ковалев. — Слово нарушил: собирался зайти да закрутился. А сегодня вот делегацией от города и деревни.

Ковалев был в сапогах, таких же высоких, как у Клещева, обветренное полнеющее лицо его успело загореть. Взгляд темных глаз был спокоен и пристален.

Наташа торопливо поставила табуретки, смахнув с них пыль, и, вспомнив об арбузных семенах, отошла в сторону.

— Присаживайтесь, — хозяйски пригласил всех Ковалев и, сняв кожанку, повесил ее на гвоздик поверх пальто Казанцевой. Он достал из нагрудного кармана гимнастерки блокнот и маленький карандаш, провел рукой по коротко подстриженным волосам и взглянул на Казанцеву.

— Рассказывают, товарищ начальник, что неважно дела идут, — начал он.

— Хвастать нечем,— подтвердила Елена Андреевна.

— Позвольте на ваши планы взглянуть.

Казанцева достала аккуратно выписанный на большом листе план весенних работ и положила перед Ковалевым на стол. Ковалев начал читать, и лицо его стало пасмурным.

— Все работы сорваны?

— Не сорваны, отстали...

— Бойтесь резких слов? Тогда уж извините меня за резкость,— твердо сказал Ковалев.— Не ждал этого, Елена Андреевна. Плохо!

— Очень плохо.

— Почему же допустили?

— Что я могла сделать?

— Вы? — удивился Ковалев.— Очень много.— Савин — мужик тяжелый, под него все время катки надо подкладывать. Да разве ваше место у Клещева? Своей роли не понимаете, Елена Андреевна. Вы — наш опытный районный центр по выращиванию овощей. Вам о всем районе надо беспокоиться, а не к Егору Ивановичу забиваться. События вас обгоняют, Елена Андреевна. Были в Крутове, видели, что там с поймой думают делать? Да и Клещев. Тоже огородами собирается ее занять. Вам надо об этих землях думать. Тут наше золотое дно. Вот, где ваши томаты и арбузы должны расти. Всю пойму огородами покрыть надо.

— Всю пойму? — радостно спросила Елена Андреевна.

— Да, всю! — Ковалев посмотрел на взволнованное лицо Казанцевой, и ласковая усмешка коснулась его губ.— Вы об этом думали?

— Степан Васильевич, еще в первый день, как приехала...

— Вот вы какая... Почему же молчали?

— Даже не знаю. Казалось, что все заняты другим.

— Верно, что вы цифрами не можете доказать высокой урожайности томатов? — вдруг спросил Ковалев.

— Не могу,— смущенно ответила Елена Андреевна.

— Как вы это допустили? — упрекнул Елену Андреевну Ковалев.— И меня подвели, думал, что уж у вас-то полный порядок. Наташа! Позови Савина, пусть быстро подойдет. Катки ему подложим,— и Ковалев протянул руку за стаканом, чтобы налить воды. Взглянув на гра-

фин с отбитым горлышком, покачал головой. Потом обвел глазами голые стены комнаты.— Прав ты, Егор Иванович. Обстановка тут неважная. Только не в мебели дело... О другой обстановке надо думать. Ты Елену Андреевну на собраниях слышал? Оратор! Как скажет, так человека и пригвоздит. А перед Савиным спасовала.

Казанцева покорно принимала все упреки. Но тут не выдержала.

— Да ведь страдала моя личная работа,— с вызовом сказала она.— Опыты с томатами.

— Томаты — личная работа? Ну, знаете, вы эту мысль из головы выбросьте. На поводу у Савина пошли.

— Савин только начал такие разговоры. Но никто же не возражает ему.

Ковалев внимательно посмотрел на нее и помолчал.

— Понял вас, Елена Андреевна,— согласился он.— Да, так относились к этому. С ним не спорили. Я тоже виноват: не следил за вашими опытами, не вдумался в них. А побывал в Крутове, погостил у Егора Ивановича, и с глаз пелена сошла. Увидел, какой вред вам Савин нанес. Поддержим вас, Елена Андреевна. Но и требовать будем. Обяжем помочь всем нашим колхозам!

Кто-то сильно застучал металлическим кольцом ручки в калитку. Собака, загремев цепью, громко залаяла. Сергей Иванович, вышедший во двор отпереть дверь, вернулся в комнаты с Савиным.

Елена Андреевна встревоженно встретила председателя колхоза. Что его привело в дом? Не хотела она и мужа иметь свидетелем этого, конечно, неприятного разговора.

— Вы что это рассаду Клещеву продаете? — спросил неожиданно Савин.

— По вашему совету,— ядовито ответила Елена Андреевна.— Неужели нам, правда, на базаре ею торговать?

— Ладно, Елена Андреевна, прений открывать не будем,— по привычке сказал Савин и смутился.

— А может быть, откроем,— возразила Елена Андреевна.— Мне без прений жить надоело. Вы мне год работы с томатами срываете. Молчать я буду? Да, продаю рассаду Клещеву, и вы мне запретить не сможете.

Никогда еще она так решительно не разговаривала с Савиным. «Видно, довел я ее», — подумал Савин.

— Вот слушайте, — тоном приказа сказал он. — Вы без моего разрешения ни одного куста рассады никому не давайте. Самим нужна.

— Не нужна она вам, Аркадий Прокопьевич.

— Вы слушайте, — прервал ее Савин. — Людей-то сколько просите?

— Двенадцать человек.

Савин задумался.

— Ну, Елена Андреевна, — уже просительно заговорил он. — Это вы лишку запрашиваете. Давайте на восьми сойдемся. Ну, нет людей. Может, вам и ученики помогут. Ведь бывают они у вас. Поговорите-ка со школой.

Все это было так неожиданно, что Елена Андреевна даже не нашлась, что возразить ему.

Она молчала.

— Соглашайтесь, Елена Андреевна, — опять заговорил Савин. — Больше дать не могу. Только уж условимся так... Эти люди ваши будут, никто их брать не будет. Но и вы давайте нам доходы. Хотелось бы сразу прикинуть, сколько можем с огородов получить. Надо бы поговорить с вами... А какими семенами сеять будете — закаленными, печеными, жареными — это дело ваше, — и он засмеялся собственной шутке.

— Аркадий Прокопьевич? — Елена Андреевна задумалась. — А если еще, как у Петухова?

— Что у Петухова?

Елена Андреевна рассказала про «инвалидную» бригаду.

— Это дело, — оживился Савин. — По рукам?

— По рукам, — весело согласилась Елена Андреевна. Савин поднялся.

— А вы все же побыстрее прикиньте на бумажке, что ваши огороды колхозу дать могут. Сколько это в общей сумме будет, — и пошел к выходу.

«Чудеса!» — подумала Елена Андреевна и счастливо засмеялась.

— Вы это чему? — подозрительно спросил Савин.

— Да так, мысли всякие пришли в голову.

Муж проводил Савина.

— Слышал? — спросила она, когда он вернулся в

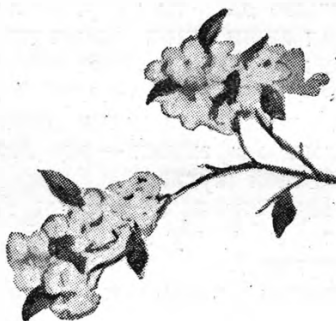
комнаты.— Ну? Что же теперь скажешь? Поверили в мои томаты...

— Леночка! — виновато начал Сергей Иванович.— И я, вроде Савина, повиниться должен. Как-то не очень верил всему. Ну, думал, блажит, не стоит это дело таких усилий. Увлекаются все агрономы учением Мичурина — Лысенко, каждый себя новатором считает. Вот и ты вообразила, что сделала какие-то открытия. Досадно даже бывало тебя расстроенной видеть. Казалось, из-за пустяков...

Ночью Елена Андреевна вышла на крыльцо. Звезды сверкали в лужах, земля дышала талым теплом. Слышно было, как на реке шуршат льдины, и оттуда тянулся легкий холодок.

«Вот какая моя пятая весна», — радостно думала Елена Андреевна и долго вслушивалась в шуршание льдин.

1953 г.





НОЧНОЙ РАЗГОВОР

В сумерках раннего январского вечера Михаил Афанасьевич на попутной грузовой машине добрался со станции железной дороги до своего села. В окнах изб уже вспыхнули огни, но колхозный день продолжался: слышался глухой шум сортировальной машины, в стороне, на стройке гаража, звонко постукивали топоры плотников, к ферме по узкой дороге медленно двигались высокие возы с сеном.

Жена встретила Михаила Афанасьевича молча, ни о чем не спросила, как будто он никуда не отлучался, не ответила даже на короткое и сухое: «Как живете?» и по привычке стала неторопливо собирать ужин.

Михаил Афанасьевич осмотрелся в избе, словно ожидал увидеть в доме значительные перемены за месяц «бегов». Громоздкий платяной шкаф полированного дерева, застекленная высокая горка для посуды, большой диван и два мягких кресла стояли на своих местах. Эти дорогие вещи, купленные женой в разное время и по разным «счастливым» случаям, загромождали тесную горницу и сейчас были особенно немилы сердцу хозяина.

Жена нарезала хлеб. Полные розовые руки ее двигались медленно. Платок, повязанный по-старушечьи, низко спускался на лоб, с лица ее не сходило выражение холодного равнодушия.

— Что же ни о чем не спросишь? — сказал Михаил Афанасьевич. — Или и ребят забыла?

— Напишут, если мать помнят.

— А самой неинтересно?

— Пусть тебя твоя краля спрашивает, — и она со стуком поставила на стол чугунок. — Или не впустила, пронохала? Зачем ей такой нужен? Кто ты ей теперь? Раньше начальство, а теперь...

У Михаила Афанасьевича гневно сверкнули глаза и пальцы сжались в кулаки, но он сдержал себя и молча пошел к рукомойнику.

Он смотрел на жену и думал: «Прожили двадцать два года, а чужие... Где ты была, когда я отдавал все силы колхозу, вытягивал его, налаживал. Не было у меня за эти двенадцать лет председательской жизни, пожалуй, дня спокойного. И никогда ты не была мне помощницей, не была. Краснеть за тебя приходилось, упреки от баб часто выслушивать, что в колхозе за моей спиной хоронишься от работы. От тебя же и одного доброго слова не слышал. Только попреки, а больше молчком жили. Равнодушна ты была к делам моим. Вот и дожили: сына и дочь вырастили, а семьи нет. И сейчас ты мне ничего не скажешь — ни хорошего, ни плохого. В радостях ты меня не понимала, а в горе и вовсе не поймешь. А чем я виноват перед тобой? Жил не так, как тебе хотелось! Зачем я вернулся? Не лучше ли разом поврать все — дома и в колхозе?»

Дело решенное, что больше не быть ему председателем колхоза. Его место займет Андрей Руднов. Он кончил школу председателей колхозов, набрался знаний, полон сил, горит у него сердце к настоящему большому делу. Так ни правильнее было бы, не ожидая собрания, сдать Руднову дела и уехать из села. Попытаться устроиться на тихую и спокойную службу.

Крутился он тут чуть не круглые сутки, а там — отработал восемь часов и отдыхай до следующего дня. Можно вспомнить, что когда-то немало часов проводил на рыбалке, держал в доме охотничью собаку...

После ужина Михаил Афанасьевич прилег отдохнуть. Но горькие и беспокойные мысли не отступали, мешали уснуть. Далеко отодвигается от него все то, что раньше составляло его жизнь. В прошлые времена, даже после коротких отлучек, заскочив домой на полчаса-час, он торопился в контору колхоза. Да люди и сами искали его. Не успевал Михаил Афанасьевич перешагнуть через порог дома, как часто начинала хлопать дверь — заходили с нуждами и неотложными делами правленцы, бригадиры, колхозники.

Он еще председатель, но уже все дела решают без него. Тихо в избе: никто не заходит, да и он никого не ждет. Вот как сложилось! А ведь могло быть по-иному.

Михаил Афанасьевич поднялся, оделся и, не сказав ни слова жене, которая даже не подняла головы от шитья, вышел на улицу. Он глубоко вздохнул, расстегнул ворот полушубка и медленно двинулся по накатанной дороге.

Темный вечер обступил со всех сторон село, светлела только улица желтыми квадратиками окон. Поднималась метель, ветер начинал посвистывать, снег то летел под ноги, распахивая полы полушубка, то взвихривался и кидался колючим песком в лицо. Заметно крепчал мороз, небо было темное, тускло светили звезды. Михаил Афанасьевич, охваченный тяжелыми думами, ничего не замечал.

На перекрестке он остановился, подумал и, решившись, свернул вправо, в гору, на боковую улицу. Теперь снежный ветер летел в лицо, озабавляя щеки, вызывая слезы в глазах.

Михаил Афанасьевич дошел до середины улицы и остановился возле дома с тремя окошками и низенькими воротами, занесенными снегом. К маленькой закрытой калитке вела узенькая, как окопная траншея, тропка среди высоких сугробов, с гребней которых ветер сдувал снег.

Однако свернуть на эту знакомую узенькую тропку Михаил Афанасьевич не решился. Закрытая калитка не пугала его: можно постучать в окно. Остановило другое: что он ей скажет, чем оправдает свое месячное молчание.

Не рассказывать же ей, какой разговор гуляет о них в районе? Секретарь райкома партии в последней памят-

ной беседе обронил фразу: «Два у тебя недостатка, Михаил Афанасьевич,— в делах на месте топчешься и частенько в чужие ворота стучишь». Намек был ясен. Ее имени секретарь райкома не назвал, наверное, не хотел порочить добрую славу секретаря партийной организации и лучшего животновода района.

Он, председатель колхоза, лучше других знает, какое скверное хозяйство на ферме приняла Устинья Григорьевна, как спасала в первые годы коров от падежа, воевала за каждый клочок сена, мешок картошки, ходила по дворам, уговаривала колхозников разбирать солому с крыш, как собирала вокруг себя преданных делу доярок. Теперь у них на ферме автопоилки, электродойка, кормокухня, рационы, племенные книги, точный учет надоев.

Образцовое хозяйство!

А рядом с этими колхозными делами Устинья Григорьевна не забывала о доме, растила троих детей, билась, чтобы они получили образование, билась одна, ни разу по-бабьи не пожаловавшись на вдовье одиночество, приняв гибель мужа, как частицу общего народного бедствия от войны.

Сильный характер! Вышла в первые люди, завоевала у всех уважение. Да и его сын и дочь ей обязаны: Устинья Григорьевна настояла, чтобы они, закончив школу, учились дальше.

Он, Михаил Афанасьевич, помнит, с каким волнением вступала Устинья Григорьевна в кандидаты партии. Шла трудная зима. Устинья Григорьевна наводила на ферме порядок, почти не выходя оттуда. На бюро райкома спросили ее, будет ли порядок на ферме? И она ответила твердо, как и перед коммунистами села: будет! В члены партии она вступала уже знатным животноводом района — сдержала слово.

В общих заботах о колхозных делах и узнали они близко друг друга. Разве виноват он, что в ее доме ему было лучше, чем в собственном?

Тут он находил совет в сложном деле, слово ободрения в тяжелую минуту; тут понимали его во всех радостях и разделяли их. В этих встречах родилось молодое и неожиданное чувство.

А как это много, когда есть рядом любящий человек, которому ты дорог в дни крутых испытаний, неожидан-

ных радостей, внезапных напастей, во всех легких и трудных жизненных обстоятельствах. Легче работается, дышится легче, живется шире, свободнее. Такого спутника не хватало ему долгие годы.

«Не буду стучать,— остановил себя Михаил Афанасьевич.— Закрыта мне сюда дорога. Не уберегли своего счастья, которому и расцвести не дали, не укрыли от глаз...»

Он вернулся обратной дорогой, миновал свой дом, где светилось только кухонное окно, затянутое морозным узором, контору колхоза, с потушенными в этот час огнями. Возле избы, где высокая елка опустила на крышу тяжелые мохнатые ветви, Михаил Афанасьевич замедлил шаги: запыхался.

Он медленно еще раз прошел мимо этой избы с освещенными окнами, вернулся и увидел мужскую тень, которая на минуту заслонила свет в окне, и подумал: «Не спится будущему председателю...»

Кто-то в темноте прошел мимо Михаила Афанасьевича, и он услышал, как женский голос назвал его имя.

— С приездом, Михаил Афанасьевич!

Он рассеянно ответил, взглядываясь в освещенные окна:

— Здравствуйте, здравствуйте...

«Ты еще дел не сдавал»,— упрекнул себя за мнительность Михаил Афанасьевич и свернул к дому Андрея Руднова, нащупал в темноте кольцо калитки, прошел по чисто подметенному двору к крыльцу и без стука раскрыл дверь в избу.

В кухне никого не было. На столе стояли сковорода с яичницей, стеклянная банка молока, тарелка с хлебом. Услышав сквозь приотворенную в горницу дверь негромкий голос Руднова, Михаил Афанасьевич покосился на этот накрытый стол и чуть усмехнулся в рыжеватые пушистые усы: «Знакомое дело, поужинать не дали...»

Распахнул дверь в горницу и, растерянный, остановился.

Спиной к двери, у стола, заваленного бумагами, сидела Устинья Григорьевна, в светлозеленом знакомом платье, с гребешком, поблескивавшим камешками в темных волосах, собранных в тяжелый узел, с белым платком, наброшенным на полные плечи.

Отступать было поздно. Андрей Руднов, худенький, в рубашке с расстегнутым воротом, уже увидел председателя.

— О! Легко на помине! Приехал!.. В самый раз,— несколько смущенно проговорил Андрей Руднов и поднялся.

Устинья Григорьевна оглянулась через плечо, что-то дрогнуло в ее разом зардевшемся лице, глаза радостно залучились, и вся она порывисто потянулась навстречу Михаилу Афанасьевичу.

За ситцевым пологом заплакал ребенок, и сонный женский голос тихо запел:

— Баю... баю... бай!..

— Раздевайся,— засуетился Андрей.

Михаил Афанасьевич, еще не зная, как отнестись к этой неожиданной встрече, снял на кухне полушубок и, приглаживая короткие волосы, вернулся в комнату.

Устинья Григорьевна уже справилась с волнением и встретила его спокойно, только, когда она внимательно вглядывалась в его лицо, в карих глазах теплился притусенный тревожный огонек. Здороваясь, Михаил Афанасьевич ощутил, как в его широкой ладони дрогнула рука женщины.

— Как хозяйевали? — спросил Михаил Афанасьевич, усаживаясь на стуле между Устиньей Григорьевной и Рудновым.

— Как отдыхалось? — в свою очередь спросил Руднов.

— Мед, пиво пил и усы лишь обмочил,— наигранно пошутил Михаил Афанасьевич.

— Оно и видно, что знатно отдохнул,— тихо и с упреком сказала Устинья Григорьевна.— С лица-то опал. Камни, что ли, на тебе возили, Михаил Афанасьевич?

— Да вроде до камней не дошло...

— Детей видел?

— У них и жил. Так, как хозяйевали, начальники? — отводя лишние вопросы, опять спросил Михаил Афанасьевич.

— Убытки подсчитываем,— нахмутив жиденькие брови, ответил Руднов и потянулся за каким-то листком, исписанным цифрами.

Михаил Афанасьевич насупился и буркнул:

— А вы прибыль сначала подсчитайте. Так хорошие хозяева делают.

— Прибыль никуда не денется. А вот худые места, куда деньги проваливаются, заштопать надо,— вступилась за Руднова Устинья Григорьевна.

Опять заплакал ребенок, и снова женский голос дремотно запел:

— Баю... баю... бай!..

Все помолчали, прислушиваясь к затихающему плачу ребенка.

Михаил Афанасьевич достал папиросы, но закуривать не стал. В пальцах его захрустел спичечный коробок.

— Что же оробели? — глухо спросил Михаил Афанасьевич, разминая в мелкие щепки спичечный коробок и просыпая на пол спички.— Бейте! Я — не из слабых, удары на ногах переносу. Хозяйничал плохо, колхоз раздел, разул... Гнать надо в шею!..

— Не выдуривайся, Михаил Афанасьевич,— попросила Устинья Григорьевна.— Нам серьезное надо решать.

— Был я в райкоме, разговаривал... Тебе буду сдавать дела,— посмотрел Михаил Афанасьевич в лицо Руднова.

Он смело встретил этот взгляд, не отвел глаз.

— И со мной говорили,— тихо ответил Руднов.— Не скрываю: дал согласие. Теперь дело за колхозниками: кого они изберут.

Михаил Афанасьевич медленно и грузно поднялся.

— Вот и объяснились... Славно!.. А теперь слушай внимательно, Андрей, ты помоложе, кое-чему имею право поучить. Так у нас иногда бывает — сегодня у тебя пост и поднимают за тебя тост, а завтра тебя с ног и тебя же чуть не на погост. У меня грехов много, не баклуши бил, а работал. Так ты мне лишних не прибавляй. Понял? Не приму!

— Да что тебе прибавляют, Михаил Афанасьевич? — обиженно спросил Руднов.

— А ты сядь,— мягко и настойчиво сказала Устинья Григорьевна и властно потянула за руку Михаила Афанасьевича. — Сядь и послушай. Тебе скоро перед колхозниками отчитываться, а ты, ишь, в отпуск на месяц укатил.

Михаил Афанасьевич посмотрел на женщину и сел, подчинившись ее тону, и отвернулся от Андрея.

— Почти год с тобой воевал,— напомнил спокойно Андрей.— Все тебе казалось, что отлично идут дела. И где это ты увидел? Или ты один у нас зрячий остался? В полеводстве, что у нас делается? Собирали раньше приличные урожаи, помнишь, наверное? А теперь все меньше и меньше. Почему? За полями перестали ухаживать, замучили землю. Овощи и вовсе забросили. Растут доходы в колхозе, верно. Да ведь тебе их Устинья Григорьевна приносит. Она, не ты! Посмотри, сколько на полях и огородах теряем. Без перспективы ты живешь, Михаил Афанасьевич! Вот в чем беда твоя.

— Не привык ты горькие слова слушать,— тихо встала Устинья Григорьевна,— они для тебя вроде сухаря с зеленинкой, а тебе бы все пряники медовые. Хоть теперь послушай. Что ты колхозникам на собрании скажешь? Вот о чем тебе подумать надо. С народом стал меньше советоваться. Уж совсем плохо.

Председатель слушал эти слова, камнями падавшие на его склоненную голову, покусывал ус. «Правильно, бей, Устинья Григорьевна, на то тебе и партийное доверие оказано,— думал он.— Круши, Андрей, теперь у тебя руки развязаны, школу с отличием закончил, на одну ногу с агрономами встал!»

Мысли вихрем кружились в голове. В чем-то они оба и правы, но сердце не сдавалось, бунтовало, мешало разобраться в случившемся.

Еще совсем недавно в районе его встречали с уважением, говорили: «Растет хозяйство у Михаила Афанасьевича, крепнет... Выводит колхоз в передовые». Правда, не очень-то много приходилось у них на трудодень, но соседи получали еще меньше. Зато обстраивались, обзаводились общественным хозяйством, поднимались постройки, скотные дворы. Почему же сейчас не находится доброго слова о делах его?

Он поднял голову и встретился с тревожным взглядом Устины Григорьевны.

— С кона долой? Так? Правильно...

— Вот ты о чем! — с досадой бросила Устинья Григорьевна.— Вон какие у тебя мысли шальные, уж извини меня, Михаил Афанасьевич, может, грубо сказала.

Строгими потемневшими глазами смотрела она на

Михаила Афанасьевича. Такими они бывали у нее, когда на партийных собраниях Устинья Григорьевна брала слово, чтобы поправить коммуниста, сделать ему внушение, распутать клубок сложного вопроса. Михаил Афанасьевич иногда в такие минуты удивленно всматривался в родное каждой морщинкой лицо, которое вдруг становилось старше, и не узнавал его.

— Теперь можно любое слово бросить,— с обидой сказал он.

— Ну, понес,— с досадой повела плечами Устинья Григорьевна.— Ты сейчас, как на пожаре, заметался. Видно, не сразу поймешь. Вот хозяевам покой надо дать,— добавила она, прислушиваясь, как завозился и засопел ребенок, собираясь расплакаться.

Андрей сидел с чуть виноватым видом, словно он был причиной этого трудного и неприятного положения.

— Да, пора...— согласился Михаил Афанасьевич.

На кухне, одеваясь, он вдруг сказал Руднову:

— Не думай, нет у меня к тебе обиды. Я ведь не из таких, что теплого места держатся. Да председательское дело и не назовешь теплым местом. Работал, как мог... И поужинать тебе не дали,— показал он на стол.

Андрей мрачно посмотрел на стол и ничего не ответил.

Выйдя за ворота, Михаил Афанасьевич и Устинья Григорьевна остановились. Снег летел вдоль улицы, шумела непогода.

— Спасибо! — с вызовом поблагодарил Михаил Афанасьевич. — Большое спасибо! — Думал, ты поймешь, найдется для меня доброе слово.

— Не нашла? — спросила спокойно женщина.

— Не слышал... Говорила, как со всеми говоришь.

— Со всеми? — иронически переспросила Устинья Григорьевна.— Ничего ты не понимаешь. Думаешь, легко мне? Может быть, мне тяжелее, чем тебе. Разве тебе не говорили — иди, Михаил, учиться! Сколько за это время людей учиться отправили, всех и не сосчитаешь. Только ты сиднем просидел.

— Упрекнула!.. Зря в колхозе сидел?

— Замену нашли бы. Не поэтому ты от курсов отмахивался. Жена тебя не пустила, а ты ссоры с ней страшился. Слабым тогда оказался. А теперь и отсталым.

— Спасибо на добром слове.

— А сам этого не видишь? В школу председателей тебя посылали, а ты Андрею место уступил. А поставь-ка вас теперь рядом? Не поставишь. А может, тебе и не поздно поехать?

— Где уж...

— Тогда и говорить не о чем.

Она замолчала и пошла по дороге, закрыв от ветра и снега лицо пуховым платком.

— Уеду я,— шагая рядом, подставив ветру разгоряченное лицо, даже не застегнув воротника полушубка, говорил Михаил Афанасьевич.— Уеду, все брошу... Не хочу тут бывшим председателем жить... В шоферы пойду, в агенты или в совхоз поступлю...

— Решай, не маленький,— еле слышно сквозь платок ответила женщина, когда Михаил Афанасьевич замолчал.— А мой совет, видать, тебе не нужен.

— Какой уж тут совет. Резанула ты меня словами, как косою по ногам. Отсталый...

— Послушай,— громче заговорила женщина, замедляя шаги и повернувшись лицом к Михаилу Афанасьевичу,— какой я случай подходящий для нашего разговора вспомнила. Может быть, разговор наш последний. Пригодится. Помнишь, был у нас секретарем райкома партии Верховланцев. Голосистый, как петух. Никому за малый проступок спуска не давал. Боялись его все, уж такой строгий, такой в делах требовательный, просто беда. А на конференции заявили ему коммунисты отвод, и скис человек.

Она тихо рассмеялась.

— На другой день сразу другим стал, кинулся на спокойную и выгодную должность, вот как и ты собираешься, от всех дел в районе отошел, хозяйством обзавелся, толстеть начал. То у всех на виду был, а тут исчез человек — не видно и не слышно. На партийных активах, на сессиях нет Верховланцева, говорят — болен. А через год этого самого Верховланцева за темные делишки из партии исключили. Вот тогда и открылись у всех глаза, каким он коммунистом пустым был.

— Со мной сравниваешь?

— Подумай... К слову пришлось. А то пугаешь — уеду, в агенты поступлю...

— Устя! Да ведь я тебя ославил? — громко, отчаянно сказал Михаил Афанасьевич.

Женщина резко остановилась, откинула с лица платок. Блеснули ее глаза.

— Знаю! — твердо и спокойно сказала она. — Эта сплетка и меня не обошла. В чужие ворота стучишься? Не боюсь я этих разговоров. Моя совесть перед всеми чиста. А ты моей любви испугался? Не потому ли бежать хочешь?

— Что я тебе принес? Радостью хотел осыпать, а вот... — развел он руками. — Теперь и думай.

— Ох, Михаил, не надо бы сейчас этого разговора. И без него тошно.

Снежный вихрь пронесся по улице и скрыл фигуры мужчины и женщины. Когда снег рассеялся, они все еще стояли рядом.

— На руках бы тебя унес, — порывисто сказал Михаил Афанасьевич, до боли тронутый прямоотой и откровенностью женщины. — А что я теперь за человек? Когда-то гордилась мной, вместе о колхозных делах болели. А теперь все рассыпалось в моей жизни...

— Что же рассыпалось, Михаил? Для меня-то ты человеком остался, где бы ни был, что бы ни делал. Эх, какой же ты глупый у меня, — шепнула женщина.

И она, торопливо кутая платком лицо, пошла дальше по дороге. Михаилу Афанасьевичу показалось, что слезы блеснули у нее в глазах. Но, может, и ошибся.

— Устя! — позвал Михаил Афанасьевич и шагнул за женщиной.

Устинья Григорьевна остановилась и сказала твердо, отделяя каждое слово:

— Домой иди, Михаил Афанасьевич. Не провожай меня, — не девушка, да и волков у нас не водится. Подумай обо всем, а дом мой открыт для тебя.

Михаил Афанасьевич остановился, повинувшись, и долго смотрел вслед, пока тень женщины не растаяла в белесом вихре зимней ночи.

С колхозного отчетно-выборного собрания Михаил Афанасьевич вышел почти последним, в конторе оставались только новый председатель Андрей Руднов и бухгалтер.

Высоко над селом среди облаков катился круглый диск луны. На земле то возникали черные тени домов,

деревьев среди ослепительного сияния снегов, то пропадали, и снег тускнел.

Михаил Афанасьевич курил папиросу, всматриваясь в зыбкую игру теней, думая о своей жизни. Вся жизнь в родном селе проходила сейчас перед его глазами — с того самого дня, когда его, растерянного, немного напуганного, избрали председателем колхоза, до последнего ночного откровенного разговора на улице.

Он вспоминал подробности собрания, уже не испытывая гнетущего и тяжелого чувства, с которым шел на него. Правы люди: не стало у него сил вести такое большое и сложное хозяйство, перестал он замечать свои промахи, не видел, как росли рядом с ним новые работники. Не давал он ходу и Руднову, не потому, что хотел сознательно помешать ему, боялся нового, а просто не понимал его. Люди вели хозяйство, а ему казалось, что это дело только его рук, и невольно подминал он других, не давая им развернуться.

Он оглянулся на ярко освещенные широкие окна конторы правления колхоза. Хозяйничай, Андрей Руднов, вон с какими большими планами ты сегодня выступил! Верно сказала Устинья Григорьевна — рядом нас теперь не поставишь... Вот только где теперь мое место?

В конторе потухли огни, и на крыльцо вышли Андрей Руднов и бухгалтер... Яркий лунный свет залил село, видное сейчас до самых крайних домов, заголубели снежные поля.

— Эх, красота какая! — сказал громко Андрей. — Просторы у нас какие! — Он помолчал и спросил: — Не решил, Михаил Афанасьевич? Завтра бы пораньше нам и выехать. Ждут шефы, теплицу надо строить. Дня нельзя терять.

— Подумаю...

— Чего же думать? В правление избрали — работать надо.

— Рано ли выезжаешь?

— Часика в четыре.

Они распрощались. Председатель и бухгалтер пошли по дороге, и длинные тени их двигались рядом по снегу. Они скрылись за поворотом, а в морозном тихом воздухе еще слышался дружный скрип снега под валенками.

Сойдя с крыльца, Михаил Афанасьевич постоял немного и тихо пошел по дороге. Он шел медленно и нето-

ропливо, охваченный сомнениями и раздумьями, опять припоминая каждое слово из ночного разговора на улице и подробности сегодняшнего колхозного собрания.

В его доме было темно, только холодно сверкали лунным отражением стекла окон. Михаил Афанасьевич не заметил своего дома и остановился уже на повороте в гору на боковую улицу. Постояв, он решительно свернул в гору.

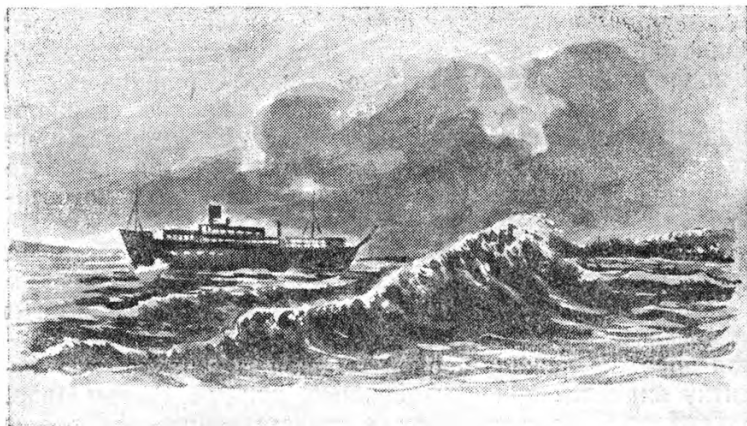
«Зачем иду? — думал он. — Сказан был совет. На того не хочу быть похожим. А разве похож?»

Он подошел к знакомому дому с тремя окошками и низенькими воротами. Окна были ярко освещены, узенькая дорожка лежала черной тропкой, а в раскрытую калитку виднелся ярко освещенный лунный светом двор.

«Ждет!» — с радостным и облегчающим все разом волнением подумал Михаил Афанасьевич и свернул на тропинку.

1954 г.





САРМА

Пароход, покачиваясь на крутой волне, встал на рейде темной ночью, и команда долго гремела цепями, спуская шлюпку. У восточного берега Байкала небо часто разрывалось всполохами молний, но грозовой фронт проходил так далеко, что западного берега гром и не достигал.

Моросил мелкий дождь. Высаживали пассажиров на плохо освещенную пристань с трудом: белая шлюпка, как пробка, плясала на высоких волнах. Вскрикивали женщины, сдержанно чертыхались мужчины, с трудом перебираясь со шлюпки на пристань.

Одним из последних сошел на берег пожилой мужчина в сером плаще и мягкой помятой шляпе. На его смуглом крупном лице брови двумя резкими линиями опускались к переносью. Шлюпка нырнула, и матрос протянул руку, но пассажир не принял ее. Он не покачнулся, словно прирос; новая волна подняла шлюпку, и пассажир рассчитанным движением легко перенес ногу и упруго ступил на скользкие доски пристани.

Матрос кинул ему в руки тугой вещевой мешок и крикнул:

— Счастливой жизни, товарищ Черкашин!

— Доброго плавания! — ответил пассажир и помахал шляпой.

На берегу Василия Ивановича Черкашина, нового начальника геодезической партии, встретил старший группы Сережа Старовойтов, худенький, с нежным цветом лица и узкими плечами подростка. Он представился, и Черкашин, всматриваясь в скуластое влажное лицо, крепко тряхнул протянутую руку. Юноша ему понравился: «Славное лицо...»

Они пошли рядом по сырой песчаной тропинке к дому приезжих. Рокотал прибой, продолжал моросить дождь, вдали посверкивали фиолетовые бесшумные молнии. В воздухе вязко пахло озерной свежестью.

— Какплыли? — спросил Сережа.

— Превосходно, — живо отозвался Черкашин. — Пароход удобный, а Байкал сказочно красив. Мне говорили: суровое море, пустынные берега... А тут везде огни!.. Этот поселок ночью, как ожерелье.

Сережа снисходительно заметил:

— Огней, правда, многовато. А место все же плохо обжитое.

— Обживем, — заверил Черкашин таким тоном, как будто приехал сюда на всю жизнь. Он остановился и оглянулся. По всему Байкалу сверкали крохотные сигнальные огни рыбацких лодок. Словно многоэтажный дом, светился пароход.

Черкашин тихо рассмеялся, как человек, увидевший что-то неожиданное и очень хорошее, и рукой коснулся плеча Сережи.

— Сколько на воде огней! И возле них люди! Романтика? — добродушно спросил он. — Хорошо поют сибиряки: «Славное море, священный Байкал...» Озером Байкал и называть неудобно. Море!.. Вам тут хорошо живется?

— Всякое бывает, — сдержанно ответил Сережа.

В доме приезжих все уже спали. Сережа, просунув руку в щель досчатых сенцев, открыл дверь, проводил Черкашина в его комнату и тотчас ушел.

Геодезисты жили тут же, в конце коридора. Появились они здесь в середине мая с первым пароходом. Байкал только освободился ото льда, и рыбаки начали выходить на лов в открытое море. Ангара перегоражива-

лась плотиной для гидростанции, ожидался значительный подъем воды на Байкале. Геодезисты бродили вдоль берегов с тяжелыми теодолитами и длинными рейками, определяли зону затопления и намечали места для переноса поселка и рыбзавода.

Товарищи ждали Сережу, им не терпелось узнать, что за человек их новый начальник. Но Старовойтов не удовлетворил их любопытства.

— Сами узнаете, — лаконично сказал он.

Утром Василий Иванович увидел просторное и спокойное море. Ветер чуть морщил воду, на ней светлел и таял легкий туман. На краю длинного пирса, спиной к берегу, стояла девушка в красной кофточке, черной юбке и синей косынке на плечах — яркое пятно на фоне легкого серебристого тумана. Что-то грустное и одинокое было в этой девичьей фигуре.

По сырým ступенькам деревянной лестницы Черкашин спустился к берегу, разделся до пояса и стал умываться. Вода была прозрачная и чистая, как родниковая, и такая же холодная. Колючие иголочки разбегались по коже. Черкашин жмурил глаза и покряхтывал от удовольствия. На его смуглом теле перекачивались упругие мускулы.

Девушка все еще стояла на краю пирса. Растираясь полотенцем, Черкашин следил за ней: кого могла в этот утренний ранний час ждать из туманной мглы девушка в красной кофточке, что обещает ей эта встреча — радость или горе?

Туман потеплел, за ним вставало невидимое солнце, все окрасилось нежным сиянием. Послышался стук мотора и показался темный корпус катера с тонкой мачтой.

Девушка торопливо, почти бегом, кинулась с пирса. Она прошла мимо так быстро, что Черкашин не успел взглянуть в ее лицо и заметил только светлые кудряшки.

Из золотистого, таявшего на глазах, тумана вышли еще два катера, тянувшие за собой цепочки низко сидящих в воде лодок. Видно было, как рыбаки, завидя берег, встают и разбирают весла. Вода у берега заголубела, отражая ясное небо.

На полном ходу передний катер, прогудев, резко отвернул в сторону, и рыбаки начали наперегонки выгре-

баться к пирсу, торопясь захватить лучшие места выгрузки. Слышались частые удары весел и перекличка веселых мужских голосов.

Мгновенно ожил пустынный до этого берег. Работницы встречали рыбаков с ночным уловом.

У пирса стало тесно от черных посуды, пахнущих смолой. В воздухе засверкала рыба, работницы в кожаных фартуках подхватывали наполненные чешуйчатым серебром носилки и торопливо уносили их в распахнутые настежь ворота рыбзавода.

Черкашин с полотенцем на шее долго стоял на крыльце дома приезжих, всматриваясь в незнакомую ему жизнь.

В это утро начальник партии встретился с геодезистами. Василий Иванович сидел, положив на стол сильные руки, обнаженные по локоть, чуть склонив крупную голову. На темном загорелом лице выделялись светлые черточки морщинок. Волосы он носил короткие, седина еще не коснулась их. Слушал Черкашин внимательно, чуть щурия широко расставленные глаза, казалось, запоминая каждое сказанное слово и каждого человека.

Разговор о делах продолжался долго, часа четыре, и все утомились. Да и день стоял душный.

— Все? — спросил Черкашин, оглядывая геодезистов.

Ему понравились эти молодые сибирские парни. Им мало только работы, им нужно еще что-то увлекательное. Вот этот старший, Сережа Старовойтов, голубоглазый, с задорным и смешным хохолком на затылке, с тонким пушком на скулах, поехал сюда, конечно, не только мерить землю, а переделывать ее, ворошить. Сибирские парни забрались так далеко ради мечты, которая горячит им кровь, ради нее они готовы пойти еще дальше, ничто их не остановит. Хороша юность! А живется им в этом маленьком поселке, наверное, не очень-то весело. Что тут есть? Крохотный клуб и единственная в поселке столовая.

— Все? — повторил Черкашин.

— Нет, — поугрюмев, сказал Старовойтов.

— Что же?

— Неприятность... Помощник капитана Харченко самовольно оставил катер «Быстрый».

— Кто его заменил?

— На следующий день Харченко вернулся. Сейчас катер ушел в море — развозит почту и продукты. Вернется через два дня.

— Почему не сняли Харченко?

— Ждали вашего приезда.

— Так... Это все?

— Нет... Есть заявление Барышевой. Просит перевести ее в другую группу.

— Почему?

Старовойтов замаялся. Черкашин ждал, пристально глядя ему в глаза.

— Да ничего важного,— пробормотал Старовойтов. Геодезисты не смотрели на своего товарища.

— Я должен с ней поговорить,— решил Черкашин.— А почему сейчас нет Барышевой?

— Дома она, прихворнула.

— Это все?

Да, это было все.

Черкашин и Старовойтов вместе вышли на улицу. С возвышенности открывался весь небольшой рыбацкий поселок. Две улицы деревянных домов выгнулись полукругом, окаймляя береговую линию глубокого залива. За всеми домами зеленели огороды, перед окнами на улицах толпились кусты цветущей сирени.

На горах лес стоял плотной стеной, от него к берегу по впадинам среди сверкающих желтых песков протянулись зеленые языки. Захватывало ощущение простора, который создавали водная изумрудная поверхность Байкала и голубизна высокого неба.

Черкашин потер глаза, всматриваясь в сияние чистых красок берега, воды и неба.

— Купаться? — спросил он Старовойтова.

Пологий берег осторожно трогали легкие прозрачные волны. Черкашин разделся первый и блаженно растянулся на горячем песке, раскинув руки, подставляя солнцу лицо.

Старовойтов увидел на теле Черкашина возле пояса длинный и глубокий синеватый рубец, словно мясо в этом месте вырезали узеньким ремешком, на руке немного ниже плеча и на волосатой груди светлели кружочки пулевых ранений размерами с гривенник. Шрамы виднелись и на ногах.

— Где это вас так? — не удержался Сережа.

— В разных, не очень приятных обстоятельствах,— беспечно, как показалось Сереже, сказал Черкашин.

— В Сибири вы первый раз?

— Да. Два года бродил по Волге и Каме, переносили поселки из зоны затопления, а теперь вот и к вам на Байкал.

Они помолчали.

— Найдем замену Харченко? — спросил Черкашин

— Жаль его снимать, — признался Старовойтов. — Стоящий парень, комсомолец.

— Стоящий? А катер бросил?

— Всякое бывает... Убьет это его.

— Вы не ответили: можно заменить?

— Конечно... Передвинем на его место моториста с лодки.

— А все же почему Барышева уходит?

Старовойтов ответил не сразу.

— Личные дела. Лучше вам с ней поговорить.

— Вы не возражаете, что она уходит?

— Нет.

Черкашин так резко повернулся к Старовойтову, что песок закрипел под ним. Он пристально смотрел на Сережу.

— Не возражаете? Она — неважный работник, плохой человек?

— Почему же она должна быть плохой?

— Человек покидает коллектив. И все спокойно. Значит: либо этот человек негодный, коллективу его не жаль, он от него освобождается; либо коллектив такой, что не дорожит своими людьми. Вот я и хочу понять, что же такое ваш коллектив? Почему вы так относитесь к уходу товарища? Спокойно!

— Ну, не очень спокойно,— протестующе начал Старовойтов, но тут же умолк.— Поговорите сами с Зоей,— скучным голосом повторил он и, боясь продолжения разговора, побежал в воду.

Черкашин некоторое время следил за ним, раздумывая и покачивая головой, потом, громко крикнув, с разбега кинулся в воду, нырнул и поплыл вслед за Старовойтовым.

Голова Сережи со светлым хохолком, как футбольный мяч с кончиком шнуровки, скользила по волнам, то появляясь, то исчезая.

Во второй половине дня Черкашин побывал у геодезистов, работавших на ближних песчаных холмах за поселком. Довольный, он возвращался к себе вечером, когда уже спала духота и от озера тянуло холодком. Солнце село, потух малиновый закат, и в вышине загорелась первая зеленая звезда, отражаясь в тихой воде. Катера уводили от пристани рыбацьи лодки на ночной лов, и по синеватой воде за ними тянулись длинные светлые волны.

На скамейке у дома приезжих лицом к озеру сидела девушка в красной кофточке, и Черкашин невольно замедлил шаги. Услыхав скрип песка, девушка обернулась и встала.

— Вы — товарищ Черкашин? — уверенно спросила она.

— Да, — подтвердил Василий Иванович, узнавая стройную и гибкую фигурку девушки, которую видел утром на краю пирса.

— Зоя Барышева, — назвала она себя и решительно, хмуря узенькие светлые брови, выгоревшие на солнце, протянула руку. — Можно с вами поговорить?

Зоя стояла, чуть выставив вперед тонкие руки, с выражением решимости в синих глазах. Легкие светлые волосы, почти бесцветные у висков, выделяли румянец волнения. Видимо, предстоящий разговор был для нее очень важен.

Черкашин жестом пригласил девушку в дом.

В комнате было душно. Черкашин открыл окно, и занавеска заколыхалась от легкого ветра.

Зоя сидела на табурете — другой мебели в комнате не было — и покорно ждала. Румянец все еще горел на ее лице.

Черкашин сел напротив девушки на второй табурет.

— Мне сказали, что вы против моего переезда в другую группу, — вызывающим высоким голосом, видимо приготовясь к резкому разговору, проговорила Зоя.

— Не точно передали, — поправил Черкашин. — Я хотел узнать, почему вы решили уйти в другую группу. И меня удивило, но, может быть, я и ошибаюсь, безучастное отношение к этому ваших товарищей.

— А разве просто так, без всякой причины, нельзя переехать? — с вызовом спросила Зоя.

— Какая-то причина есть.

- А если ее нет?
- Точнее, не считаете нужным доверить мне.
- Может быть...

— А мне важно знать. Это не праздное любопытство. Я старше вас и отвечаю за весь наш маленький коллектив. Я не могу равнодушно относиться к переходу людей из группы в группу. Почему вы хотите уйти отсюда?

Зоя молча всматривалась в лицо Черкашина, словно решая, достоин ли этот человек ее доверия.

— Хорошо,— тихо сказала она, опуская глаза.— Вы узнаете... Меня оскорбил один человек, очень сильно, напрасно. Поэтому я и должна уехать.

Черкашин ждал дальнейшего рассказа.

Зоя подняла лицо, оно казалось спокойным. Лишь одна морщинка прорезала лоб.

— Это все, что я могла сказать. Теперь вы переведете меня?

— Да,— поспешно сказал Черкашин.— Куда вы хотите переехать?

— В любое место.

— Дайте мне небольшой срок. Скажем, пять дней.

— Хорошо.

Зоя быстро встала.

— Вот и все! — с искренним облегчением вырвалось у девушки.

Открыто и доверчиво она смотрела на Черкашина.

Он дружески улыбнулся.

— Вы садитесь,— пригласил Черкашин, и девушка послушалась.— Ну, начистоту. Трудно вам тут? Заехали далеко от дома. А живется без особых удобств, да и ребята, верно, не всегда деликатны.

— Что вы! — с какой-то даже обидой воскликнула Зоя и милым жестом, защищая товарищей от несправедливости, протянула руки.— Тут все очень хорошие, и жили мы дружно. Вот, знаете, когда еще сюда ехали на пароходе, очень боялись за Сережу Старовойтова. Нерешительным он казался, нетвердым. А он — такой энергичный, беспокойный...

«Это не он», — почему-то с облегчением подумал Черкашин.

Зоя обвела глазами комнату, как будто только сейчас вошла в нее, и заметила тумбочку, на которой лежали

книги. Черкашин перехватил ее жадно загоревшийся взгляд.

— Это все новинки,— сказал он, взяв книги с тумбочки и протягивая их Зое.— Здесь с книгами плохо?

— Очень... Библиотека у рыбаков маленькая. Они и газеты только на десятый день получают.

Зоя рассказывала о жизни геодезистов, и Черкашин все думал, кто же мог обидеть эту хорошую девушку и как, может быть, глубока ее первая в жизни душевная рана.

Зоя взглянула в темное окно, поднялась и заторопилась.

— Возьмите, читайте,— предложил книги Черкашин. Девушка не стала отказываться.

— Через пять дней вы скажете, куда ехать? — напомнила Зоя, и лицо ее опять стало сердитым.

— Через пять дней — не позже.

Черкашин проводил ее до крыльца и с полчаса постоял на улице. Над Байкалом опустилась тихая ночь. Звезды густо усеяли небо. Вода была светлее неба, и далеко-далеко виднелись черные точки рыбацких лодок и сигнальные огни.

На следующий день Черкашин побывал во всех геодезических группах. Этот высокий пожилой человек, меченный шрамами и пулевыми ранениями, о которых все уже знали от Сережи Старовойтова, оказался неутомимым в ходьбе и равнодушным к жаре. Он ничего не пропускал, интересовался всеми мелочами.

Начальник всем понравился.

Геодезисты группы, в которой работали Зоя Барышева и Сережа Старовойтов, отдыхали в тени под сосной на плотной подстилке опавшей хвои. Сосна одиноко стояла под раскаленным небом среди желтых сыпучих песков. Шишки и камушки чернели кругом.

Зоя поднялась и, отряхивая с платья приставшие иголки, как старому знакомому протянула Черкашину руку.

Голубенький платок она повязала большим узлом под подбородком, и лицо ее было лукавым, как у сельской красавицы, знающей, что она хороша.

Сережа Старовойтов удивленно смотрел на них: где и когда начальник партии и Зоя успели познакомиться.

Черкашин присел. Он оглядел кряжистый мощный ствол сосны, с множеством корявых веток, будто обрубленных с одной стороны. Экий силач! Как, должно быть, его крутили ветры, но ничего не могли с ним поделать. Устоял, выдержал! Черкашин вспомнил, что кто-то такую форму крон, созданных ветрами, назвал флаговой, и подивился меткости выражения.

— Крепкий старик! — показал он на дерево.

— Байкальской породы, — отозвался Сережа.

Заговорили о богатстве байкальского края, о суровом климате. Черкашин слушал с интересом, по привычке чуть склонив голову, пристально вглядываясь в каждого человека.

— Тут даже эдельвейсы растут, — сообщила Зоя.

— Эдельвейсы? — удивился Черкашин, хотя и не знал, почему бы им тут не расти.

— Хотите посмотреть? — спросила Зоя. — Его мои хозяева нашли. Приходите, — и она назвала свой адрес.

С увлечением рассказывала Зоя об этом редком цветке высокогорных альпийских лугов. Черкашин недоверчиво всматривался в девушку. Она ли, беспокойная и встревоженная, была у него вчера. Что же все-таки произошло?

— Вернулся ваш беспутный помощник капитана? — вспомнил он.

— Завтра ждем, — равнодушно сообщил Старовойтов.

Черкашин удивился внезапной перемене в Зое при упоминании о помощнике капитана. Лицо ее потемнело, как будто на него упала тень тучи. Она поднялась и пошла в сторону.

— Сережа! — каким-то сдавленным голосом издали позвала Зоя. — Пора...

Геодезисты встали. Час отдыха закончился.

Черкашин направился в следующую группу. Песок был так горяч, что обжигал ступни даже сквозь кожаные подошвы.

Вечером Черкашин воспользовался Зоиним приглашением.

На пороге домика его встретил высокий, худой седовласый хозяин. На вешалке виднелась белая, чуть порыжелая фуражка с «крабом» — Алексей Александрович служил механиком на рыбзаводе. Одну из стен занима-

ла большая медвежья шкура, рядом висело ружье. Жена Алексея Александровича принялась ухаживать за гостем. На стол подали отлично сваренный кофе, печенье собственной кухни. Старики нежно, со старомодной предупредительностью относились друг к другу. Зою они любили, звали ее Зоинькой.

Гостю показали не только эдельвейс — скромный цветок из породы бессмертников, но и байкальскую удивительную губку, похожую на оленьи рога, высушенных бычков — ширококрылок, с большими, как у бабочек, крыльями, прозрачными плавниками, пестрые камушки — обломки драгоценных пород, найденные в песке на берегу, образцы красящих глин.

У стариков в запасе оказалось множество рассказов о своеобразной жизни края и всяких примечательных историй. Перед Черкашиным словно перелистывали страницы занимательной книги.

Зоя весь вечер сидела молчаливая и грустная, избегала участия в разговоре. Старики, видно, что-то знали и не трогали ее.

В конце вечера хозяин и гость сыграли в шахматы. Черкашин ушел довольный: он любил такие знакомства.

Дома Черкашин заснул не сразу. Он лежал, устало закрыв глаза, и в воображении перед ним проходили мягкие, покрытые буйной зеленью берега этого единственного в своей неповторимости моря, которые вдруг сменялись суровыми и угрюмыми каменистыми обрывами. Вспомнились названия здешних местечек — Варначка, Жилье, Большие Коты, Каторжная, Покойники... Сибирь в прошлом далекий и страшный край, море, встававшее неодолимой преградой на пути многих беглецов. И вот сюда пришла новая жизнь. Как хорошо сложилось, что он попал на Байкал.

Следующие три дня Черкашин провел в отдаленных от поселка геодезических группах. Вечером на моторной лодке он возвращался домой.

«Да, — думал Черкашин, — пока еще глухи и необжиты эти таежные берега. Знает ли Зоя, что здесь ей будет труднее? Может быть, уехать ей в другую партию, скажем, на линию Кругобайкальской железной дороги? Можно помочь ей».

В доме приезжих Черкашин прошел в комнату геодезистов и остановился на пороге: шло собрание.

Председательствовал очень воинственно настроенный Сережа Старовойтов. Рядом с ним стоял, расставив ноги, крепко сбитый, сероглазый паренек среднего роста, в щеголеватой форменке, видимо, физически очень сильный, и с такой густой шевелюрой, что никакая расческа не могла проложить пробора. Он смущенно, но чуть снисходительно улыбался. У окна, в сторонке, сидела Зоя, с застывшим безучастным выражением лица.

Черкашин прислушался и понял, что разбирается проступок помощника капитана Харченко, и присел на крайнюю табуретку.

— Товарищ Харченко,— говорил Старовойтов.— Что ты все о службе... Ты вот расскажи, как тогда у тебя получилось?

Харченко переступил с ноги на ногу и кинул быстрый взгляд на Зою.

— Это тогда вечером? Все же знают,— обиженно сказал Харченко.— Ну, так... Малость выпил... Вышел на берег и встретил капитана. Он мне говорит: «Не ходи на катер». Спрашиваю: «Почему?» Он говорит: «Катер — не вытрезвиловка». Я, конечно, обиделся и погорячился. Сказал капитану несколько слов и ушел домой.

— Какие слова? — не отставал Старовойтов.

— Такие, что могу совсем с катера сойти. На другой уйду, на Байкале катеров много, а с ним плавать не буду. На следующий день и не вышел... Потом одумался, с капитаном помирился.

— И все? — настойчиво спросил Старовойтов.

Харченко неприязненно оглянулся на него и опять кинул тревожный взгляд на Зою. Но девушка не смотрела на него.

— Еще было,— твердо, с хрипотцой выговорил Харченко.— Многое сказал тогда неправильно. Зоя все это знает. Была у меня к ней обида и на капитана подозрение. Ну, ведь вы знаете,— он обвел всех виноватыми страдающими глазами.— Ревность горела... Вот и сказал. А повторять здесь не буду,— решительно добавил он.— Перед Зоей я извинился. Правда, Зоя? — с мольбой спросил он.

Но Зоя сидела у окна все с тем же безучастным выражением, только губы у нее побледнели.

— Эх, Гриша, душа морская! — иронически сказал кто-то.

Харченко молча посмотрел в ту сторону.

— А ты знаешь, что Барышева уходит от нас?—спросил Старовойтов.

— Знаю,— мрачно отозвался Харченко.

— Знаю, знаю,— высоким голосом раздосадованно заговорил Старовойтов.— На собраниях тебя не остановишь, а сегодня язык присох.

— Присох,— согласился, все больше мрачней, Харченко.

Некоторое время в комнате было тихо.

— Есть еще вопросы? — спросил Старовойтов и, не получив ответа, разрешил Харченке сесть.

Помощник капитана катера сел на виду, у председательского стола, и вытер вспотевший лоб.

— Кто хочет слова? — спросил Старовойтов и постукал карандашом.

Выступило несколько человек. Харченко сидел выпрямившись, подняв голову, мужественно выслушивая резкие упреки товарищей. Эта смелость понравилась Черкашину.

Он заметил вопросительный взгляд Старовойтова и прошел к председательскому столу.

— Вам всем повезло! — громко сказал Черкашин.— Да, вам повезло. Многие парни охотно заняли бы ваши места. Вы на Байкале намечаете новые берега славного моря. Увлекательная, завидная работа! Сколько вам лет? — вдруг спросил он Харченко.

Но Харченко не понял вопроса и растерянно смотрел на начальника партии.

— Возраст? Лет сколько?

— А! Двадцать три...

Черкашин помолчал, что-то припоминая...

— Я почти вдвое старше вас, комсомолец Харченко,— сказал Черкашин.— В двадцать три года я получил первую пулю — из кулацкого обреза. Потом стеклил в морозы крыши цехов Сталинградского тракторного завода. Вторую пулю я получил на финском фронте.

По комнате прошел ветерок волнения. Зоя подняла голову.

— Такой была юность многих людей моего поколения,— продолжал Черкашин.— Нам есть чем гордиться. Наша юность началась в борьбе, и мы остаемся бойцами.

А вы, комсомолец Харченко, плохо начинаете свой путь. Дезертиром! Такому помощнику капитана нельзя доверять судно, экипаж. Ведь это морская служба, боевая!.. Плохой вы пока моряк!..

Не взглянув на Харченко, Черкашин вернулся на свое место.

Старовойтов мрачно посмотрел на всех и сказал:

— Было одно предложение: объявить строгий выговор комсомольцу Григорию Харченко.

Собрание проголосовало.

Харченко сидел, опустив голову.

Геодезисты стали быстро расходиться.

— Старовойтов! — позвал Черкашин. — Вы мне нужны. И вы, Зоя.

Они прошли в комнату Черкашина. Следом вошел и Харченко. Он не смотрел на Зою, и она избегала встретиться взглядом с ним.

— Значит, на берег? — медленно и тяжело спросил Харченко, как о деле решенном.

— Нет, будете плавать, — сухо ответил Черкашин. — Мотористом на лодке. Распоряжение отдано. Утром и выходите.

Харченко ничего не ответил и медленно направился к выходу.

Некоторое время все тягостно молчали, только Старовойтов глубоко вздохнул, и Зоя кинула на него быстрый виноватый взгляд.

— Сережа, — сказал Черкашин, — надо сделать съемку Тюленьего камня. В два дня управитесь, и тогда сдадим этот участок. Выезжайте утром катером. — Он повернулся и посмотрел на Зою. Она отвела глаза. — Вам могу предложить три места, срок отъезда назначайте сами. Предупредите Старовойтова, если завтра не поедете на Тюлений камень.

Девушка молча кивнула головой.

— Не слишком сурово его наказали? — спросил Старовойтов.

Зоя внимательно слушала.

— Нет, — решительно подтвердил Черкашин. — За первые ошибки платят особенно дорого. Чтобы других не было.

Старовойтов и Зоя поднялись вместе, но у двери Зоя остановилась.

— Теперь вы все знаете,— сказала она.— Вот почему я уезжаю.

— Вам тяжело?

— Обидно. И потом...— она помолчала,— я немного сама виновата. Ведь он же не пьет, разве немного с товарищами. А накануне мы поссорились, он и напился где-то в одиночку.

Черкашин помолчал.

— Правильно ли ваше решение,— мягко заговорил он.— На пути любви бывает много испытаний. Но в том-то и сила ее — в доверии и способности понять сильные и слабые стороны любимого человека, в способности помочь ему в трудных обстоятельствах. Без этого нет любви — это мое убеждение. Легко толкнуть падающего, во много раз труднее помочь ему удержаться. И уж нельзя оставлять в беде того, кого любишь.

— Но вы сняли его с катера.

— Я хочу проверить его силу. Мне кажется, он крепкий. На катер вернется другим и будет отличным моряком.

Утром на пирсе Василий Иванович увидел Харченко на том самом месте, где в первый раз увидел Зою. Харченко стоял, как на собрании, широко расставив ноги, в брезентовой замасленной куртке, потертой кожаной фуражке, и смотрел вслед уходящему катеру «Быстрый».

Группа Сережи Старовойтова выехала на Тюлений камень. С ними была и Зоя, отложившая свой переезд до окончания этой срочной работы.

Харченко мрачно поздоровался с Черкашиным.

— Моторная лодка готова,— глухо доложил он.

— Запускайте! — и Черкашин прыгнул в лодку.

Весь день новый моторист был угрюм и молчалив, но Черкашин и не вызывал его на разговоры.

Домой они возвращались в темноте вдоль берега. Далеко в озере белели ночные рыбацьи огни, и где-то среди воды дрожал красноватый свет большого костра. Черкашин долго смотрел на него.

— Где это? — спросил он.— Неужели Тюлений?

— Там,— подтвердил Харченко.— Наверное, ребята решили заночевать. Торопятся с работой управиться.

Перед глазами Василия Ивановича возник угрюмый черный остров, лишенный зелени, выгнувшийся горбом.

Он отделен от берега широким проливом, открыт всем ветрам. С жалобными криками носятся над ним чайки.

— Нескладно у вас, Харченко, получилось,— сказал Черкашин.

Моторист поднял голову.

— В обиде на меня? — прямо спросил Черкашин.

— Что заслужил, то и получил,— уклончиво ответил Харченко.

— Это еще все исправимо. А вот вы хорошего человека обидели — это грех большой.

— Отмолю этот грех... Отойдет Зоя, откипит ее сердце.

На море посвежело, моторка закачалась на волнах, холодный ветер подул в лицо.

— Капризничает,— заметил Черкашин.

— Тут это частенько бывает. То баргузинчик посвистит, то сарма налетит. Летом ничего, осенние ветры страшны. Волны гремят, как из орудия: Дома даже дрожат.

Волны становились все круче, и лодка то взлетала, то проваливалась. У пирса Харченко с трудом закрепил лодку: море разбушевалось.

Красный огонь костра на Тюленьем острове виднелся и с берега. «Молодцы ребята»,— тепло подумал Черкашин.

Утром Черкашин не узнал Байкала. Сердитые валы кипели на озере; волны с шумом перекатывались через береговые валуны, бросая на песок пену. Клочковые облака мчались по серому небу. Посвистывал ветер, и стало заметно холоднее.

Катера пробивались по волнам к пирсу и прочно крепились. Рыбачьи лодки плясали на воде и гремели, словно по камням катили пустые бочки.

Алексей Александрович стоял на пирсе и покрасневшими глазами смотрел на озеро.

— Сарма,— сказал он Черкашину,— наш байкальский ветер. Налетает, как вор, из-за угла, никогда его не угадаешь. И стихает неожиданно. Видите, как рыбаки домой торопятся? Но летняя сарма не опасна, часов на пять-шесть ее хватает. Вот осенью — страшно. Сила другая и сутками дует. Тогда беда тому, кто на воде.

В этот день все моторные лодки и катера оставались у берега. Крупная волна била о деревянные сваи пирса,

добиралась до досчатого настила. Тучи песка летели по улицам поселка, засыпая глаза.

С тревогой Черкашин думал о геодезистах на острове Тюленьем. Если они во-время не выбрались с него, то трудно приходится им сейчас под ветром среди голых камней.

Вечером Черкашин пришел к Алексею Александровичу.

— Не стихает сарма,— сказал Черкашин.

— К утру уляжется,— успокоил Алексей Александрович.

— У меня на Тюленьем камне люди работают.

Алексей Александрович быстро взглянул на Черкашина.

— Зоя с ними?

— И она там, их трое.

Алексей Александрович покачал головой и, словно успокаивая не только Черкашина, но и себя, сказал:

— Летняя сарма долго не шумит. А ваши ребята, конечно, на берегу у рыбаков.

Алексей Александрович пошел с Черкашиным на пристань. Они молча спустились к берегу, прислушиваясь к свисту ветра и гулу волн. Сегодня озеро было черное, без единого огонька, все рыбаки ночевали на берегу. Возле пирса кипела вода.

— Ветер радует рыбаков,— начал рассказывать Алексей Александрович.— Сарма гонит к нашему берегу рыбу. Послезавтра рыбаки привезут богатый улов.

Несколько человек сидели на бочках, лицом к озеру. Среди них Черкашин увидел Харченко. Моторист поднялся и подошел к ним, глаза его тревожно блеснули.

— Плохо ребятам на Тюленьем,— сказал он.

— Да их там, наверное, нет,— возразил Черкашин.— А на моторке можно туда дойти?

— И не думайте,— махнул рукой Алексей Александрович.— В такой ветер... Видели наши берега — везде камень. Разобьет о берег.

— Попытаться можно,— предложил Харченко.

— Ты, отчаянная голова, об этом и думать забудь,— рассердился Алексей Александрович.— Кто тебя выпустит?

Ночь Черкашин спал тревожно. Гудело озеро, тонко звенели стекла, словно в них бросали песок и мелкие камешки: начался дождь.

На рассвете чья-то рука настойчиво и дробно застучала в окно. Черкашин сразу поднялся и распахнул окно. На улице стоял Алексей Александрович в резиновом черном плаще, в фуражке, и лицо его в слабом свете казалось бледным.

— Они на острове! — крикнул Алексей Александрович. — Пришел рыбак... Их видно с берега.

Через полчаса Черкашин и Алексей Александрович, торопясь, погоняя лошадей, ехали лесной угрюмой дорогой вдоль побережья. Несколько лет назад здесь пронесся пожар, кругом стояли и лежали черные обугленные стволы. Редкий подлесок только начинал закрывать голую без травинки желтую землю. Синий, кипящий Байкал скрылся. На дороге было тихо, только над верхушками деревьев посвистывал ветер, да бежали торопливо рваные тучи.

Через пять часов пути они опять увидели Байкал, пологий песчаный берег, черные рыбацьи лодки, словно туши морских зверей, на песке, толпу и далеко в море темный остров, на который накатывали волны.

Кто-то протянул Черкашину бинокль. Он поднес его к глазам, и остров будто придвинулся. Отчетливо стали видны три геодезиста, они сидели на самой вершине острова, похожей на крутую бархатную спину тюленя, тесно прижавшись друг к другу. Ветер дул вдоль пролива, поднимая крутые зеленые валы, срывая с гребней пену, и она, как снег, летела над водой. Кажалось, что волны вот-вот прокатятся через остров, накроют его с головой и смоят геодезистов.

— Вы правее посмотрите! — встревоженно сказал Алексей Александрович.

Черкашин отнял от глаз бинокль и увидел в проливе лодку. Он опять поднес к глазам бинокль и сквозь туманные стекла узнал гребца — Харченко. Он был в куртке, волосы намокшими космами спускались на лоб. Он греб сильными рывками, но лодка, казалось, и не двигалась.

— Два раза пытались, — виновато и угрюмо сказал кто-то рядом. — На такой волне не удержишься. Одному и не пробиться.

— Что делает, что делает, отчаянная голова!..— с досадой сказал Алексей Александрович.— Ведь снесет или о камень разобьет.

— Застынут и пропадут ребята,— вздохнул кто-то рядом.— Уж сколько часов сидят.

Василий Иванович быстро обернулся на этот голос и увидел молодого рыбака.

— Два раза пытались, а в третий?

Не оглядываясь, он быстро пошел к лодкам.

Несколько сильных рук рывком сдвинули с песка лодку и потянули ее к воде. Черкашин вскочил первым и сразу схватился за весло. Под дружными ударами весел лодка оторвалась от берега и заплясала на волнах.

— Навались!..— звонко крикнул один из рыбаков.— Навались!

Но волны и ветер отбрасывали лодку, она почти не двигалась. Рыбаки с красными от усилий лицами гребли молчаливо и яростно.

— А ну, ребята! Дружно!..— опять звонко крикнул кто-то.

И этот простой призыв прибавил каждому силы. Берег стал удаляться.

Оглянувшись, Черкашин увидел впереди лодку Харченко. Весла взлетали над водой, как крылья большой птицы. «Молодец! — подумал Черкашин.— Отважное сердце!..»

Метр за метром люди упрямо пробивались к острову, и в сердце Черкашина рождалось то самое чувство, которое охватывало его в холодных снегах Финляндии, среди угрюмых каменных развалин Сталинграда, чувство глубокой любви к людям, радости быть среди них. Он слышал сквозь свист ветра и шум воды тяжелое дыхание людей, скрип уключин и глухие удары весел и знал, верил, что остров приближается.

Черкашин увидел слева остров, все кипело вокруг него.

Две лодки почти одновременно пристали к острову. Черкашин увидел, как выскочил из своей лодки и погрузился по пояс в воду Харченко, как он схватился за борт, не давая волнам отбросить лодку в пролив. У него было измученное, но счастливое лицо.

— Пробился парень! — восхищенно крикнул рыбак.

Следуя примеру Харченко, рыбаки прыгнули в воду и тащили лодку среди нестрашных теперь волн.

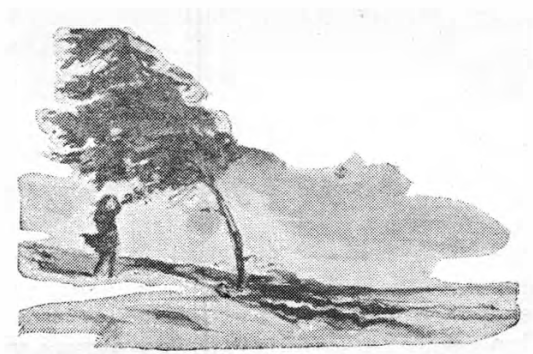
Харченко увидел Черкашина, на миг смутился, потом резким движением отвел со лба пряди мокрых волос и с вызовом сказал:

— Опять проштрафился, товарищ начальник!

Черкашин только сжал его плечо и толкнул вперед.

Оступаясь на гладких выточенных камнях, Харченко побежал к геодезистам. Навстречу ему, покачиваясь под ударами ветра, медленно шла Зоя.

1953 г.





НА МАЯКЕ

С высокой скалы, где стоял стеклянный фонарь маяка, смотритель Никита Алексеевич увидел на светло-зеленой воде пустынного моря темную точку — моторную лодку. Она беспомощно болталась на волнах, удаляясь от берега.

Небо над Байкалом было ясное, но все чаще налетали порывы холодного воздуха — гонцы осеннего «горного» ветра. За границами залива, защищенного от ветра лесистыми горами, волны уже бежали в открытое море, вода поседела.

С маяка далеко виднелась узкая извилистая береговая линия. Бездымным, легким и желтым пламенем светились лиственницы, среди темной зелени кедровника яркими пятнами ягод выделялись рябиновые деревья. Вдали, на восточном берегу Байкала, розовели снежные вершины Хамар-Дабанского хребта. Никита Алексеевич, обеспокоенный, еще раз взглянул на лодку и стал поспешно спускаться по деревянной крутой лестнице.

На песке у самой воды рядом сидели четыре собаки, настороженно подняв острые уши. Трое ребятишек возились возле них. Шестилетний Сергунька все пытался под-

нять рослого Мушкета и сесть на него верхом. На крыльце дома стояла жена, с меньшим сыном на руках. Заслонив ладонью глаза от солнца, она всматривалась в даль озера.

— Что там? — спросила Дуся мужа.

— Лодку ветром несет. Видно, мотор попортился...
Надо подплыть.

По узеньким мосткам смотритель прошел к будке гидрометеорологической службы, которая стояла на сваях в левой стороне бухты.

Кедровник спускался здесь к самому берегу, густо заросшему кустарником, расцвеченному осенними красками. Кисти рябиновых ягод отражались в тихой воде.

Десятилетний Бориска догнал отца, когда он уже был у лодки и, опустив глаза, попросил:

— Возьми...

— Зачем? Мать пособить просила, надо дров принести...

Моторка пересекла границу спокойной воды в бухте, холодный ветер ударил Никиту Алексеевича в спину и понес лодку по крутым валам. Брызги полетели в лицо.

Широким полукругом Никита Алексеевич обошел лодку с молчащим мотором. В ней были двое мужчин, на носу лежал мальчик, укрытый одеялом.

— Что у вас? — крикнул Никита Алексеевич.

Полноватый человек, в кожаном пальто и в серой кепке, нетерпеливо отозвался:

— Выручайте!

Молодой, лет восемнадцати, моторист, отирая раскрасневшееся лицо грязными руками, пожаловался:

— Мотор сдох.

— А весла?

— Не захватили.

— Хороши, — упрекнул смотритель. Волны мешали лодкам сблизиться, и Никита Алексеевич, бросив трос, предупредил: — Пойдемте на берег. Там разберемся.

Погода резко изменилась. Тучи закрыли солнце, волны потускнели. Чайки вились над заливом, похожие на платки, сорванные ветром с веревок. «Ваше счастье, что во-время заметил, — подумал Никита Алексеевич. — Снесло бы вас горным в море, да опрокинуло».

Бориска ловко поймал брошенный трос, закрепил лодку. Никита Алексеевич подхватил подмышку мальчика

лет двенадцати, с побледневшим лицом, с синими подглазницами, поставил его на досчатый настил и, ласково шлепнув, отпустил с напутствием:

— Гуляй, моряк!

Дуся повела мальчика в дом.

Пожилой пассажир, разминая пальцами папиросу, нетерпеливо спросил:

— Что у тебя там?

— Видно, разбирать придется,— виновато ответил моторист, еле шевеля замерзшими пальцами.

— Разбирай, если нужно. Не ночевать же нам здесь.

— Потом,— посоветовал Никита Алексеевич.— Сейчас в дом — отогреться вам надо. Ты кого везешь? — тихо спросил он моториста.

— Директора леспромхоза, Ивана Степановича.

Маяк Крестовой хорошо известен морякам, лесосплавщикам, рыбакам и всем, кому приходится плавать по бурному Байкалу. Маяк стоит на высокой и узкой скале, похожей на черный вытянутый палец. В ясную погоду он виден за много километров; ночью он посылает всем плывущим ободряющие сигналы: «Счастливого плавания!»

Но мало кто знал самого смотрителя маяка и его семью.

Директор леспромхоза с любопытством всматривался в бухту. Она выглядела уютной и хорошо обжитой. Новый большой дом, с высоким крыльцом, с радиомачтой на крыше, стоял на возвышенности, от него разбегалась масса утопанных тропок по всем направлениям — к берегу, где на кольях сушились сети, а на песке чернели две весельные лодки, к сараям, к огороду — там на грядах зеленела картофельная ботва, укроп топорщился желтыми зонтиками и чернели головки мака. По зеленому склону бродили козы, возле крыльца в песке рылись куры, а из сарайчика слышалось хрюканье поросенка. У крыльца росли две высокие лиственницы, на протянутой между ними веревке сушилось белье.

Удивился Иван Степанович молодости смотрителя маяка. Ему представлялось, что такие места предназначены для стариков — самая спокойная и тихая жизнь,— а перед ним был мужчина не старше сорока лет, в полном расцвете сил, смуглолицый, добродушный, распола-

гающий к себе. В движениях он был чуть медлителен, спокоен, все делал не торопясь и как-то основательно. Его жена, Дуся, черноволосая, миловидная, еще стройная, была моложе мужа лет на пять-шесть. Она приветливо улыбалась голубыми глазами, звонкий голос ее разносился по всей бухте. Чудесная пара!

В просторной комнате на столе уже стоял кипящий самовар.

Дуся ласково выпроваживала из комнаты детишек.

— Кажется, болен ваш мальчик, — обеспокоенно сказала она.

Тот сидел, нахохлившись, на диване, поджав под себя тонкие ноги. Глаза горели сухим жаром.

— Что с тобой, Володя? — спросил Иван Степанович.

— Ничего... — Мальчуган капризно мотнул головой.

Никита Алексеевич провел ладонью по русой головенке, чуть задержав руку на горячем лбу.

— Простыл на море? — сочувственно спросил он. — Ну-ка, выпей с нами чайку, да и в постель.

К столу мальчик не пошел. Дуся, оглядываясь на дверь, в которую протискивались детишки, и грозя им пальцем, укрыла Володю одеялом.

— Да пусть познакомятся, — разрешил Никита Алексеевич.

Трое ребят, один за другим, вошли в комнату и приблизились к больному. Взрослые молча наблюдали за ними. Володя поднял голову и спросил:

— Эти собаки — все ваши?

— Наши, — сказал Бориска.

Знакомство завязалось.

Взрослые отвернулись, чтобы не мешать ребятишкам. Усаживаясь за стол, Никита Алексеевич спросил Ивана Степановича:

— Далеко путь держите?

— В Заброшино, оттуда в город. Начальник главка вызвал. Решил сына покатать, а он, видите, расклеился. Да моторист молодой попался, к Байкалу только привыкает.

В комнате лицо Дуси еще больше разругалось, похорошело, ярче засияли голубые глаза.

Иван Степанович, отогревшийся, признательный хозяевам за помощь и гостеприимство, посочувствовал им.

— Трудную вы себе жизнь выбрали.

— Что? — не понял Никита Алексеевич, удивленно поднимая брови.

— Далеко от людей живете. Поговорить даже не с кем. Разве только с ветром.

— Бывают у нас люди,— возразил смотритель.— Охотники, рыбаки, экспедиции разные. Недавно двадцать студентов гостили, по скалам лазили. Да и так нас не забывают: раз в неделю служебный катер приходит, показывая приборов забирают, нам книги, журналы привозят.

— Вон детей у вас сколько. Наверное, с продуктами бывает туговато?

— Были бы руки. Зверья всякого полно, всегда есть свежее мясо. В Байкале рыба даровая.

— И не скучаете?

— С ребятами не заскучаешь,— весело сказала Дуся и засмеялась, оглядываясь на них.— Эти сорванцы скучать не дадут.

— Десять лет живем, скуки не замечали,— добавил Никита Алексеевич.

— А детей учить надо? Старший-то школьник?

— В Заброшине Бориска учится,— сказала Дуся.— Скоро опять уедет. Зимой в школе, а летом с папкой по тайге ходят, в Байкале вместе сети ставят.

С минуту Иван Степанович молча смотрел на молодую женщину. Ему все же трудно было представить себе, что можно жить одним в таком вот далеком местечке. Что-то хорошее было в светлой и спокойной улыбке счастливой матери и жены. Лицо смотрителя маяка показалось еще добрее и приветливее. «Любят, счастливы,— подумал о них Иван Степанович.— Потому и легко им тут».

Моторист и Никита Алексеевич поднялись из-за стола и ушли на берег. Они осмотрели мотор и решили его разобрать. Бориска, сидя возле них, с озабоченным и довольным лицом промывал в керосине металлические детали.

Иван Степанович обеспокоенно смотрел на свинцовое небо и серые валы в море.

— Не опасно плыть в такую погоду? — спросил он смотрителя.

— Вдоль берега спокойно пройдете.

— Да? Так вы нам свою моторку одолжите, через пять дней вернем. А нашу наладьте.

— Вот этого не могу. Хоть и своя, но не могу. Уж такое наше рыбацкое правило,— решительно отказал Никита Алексеевич.

Иван Степанович не стал настаивать, ушел в дом. Моторист и Никита Алексеевич пробыли на берегу до позднего вечера, но мотора не исправили.

В темноте на скале через равные промежутки времени вспыхивал свет маяка. На крыльце зритель задержался: в этот час обычно проходил пассажирский пароход. Никита Алексеевич, облокотившись на перила, ждал.

За дверью послышался голос Ивана Степановича: он спрашивал о чем-то жену. И этот голос напомнил Никите Алексеевичу разговор за столом о скучной жизни на маяке, и он с тем же недоумением подумал: «Ну, какая здесь скука... Всякому свое: иной в городе живет, а хуже нашего. Предложи нам переехать, мы с Дусей еще задумаемся. Неплохо нам тут».

И невольно вспомнился тот год, когда он перебрался из рыбацкого поселка на этот мыс Крестовой.

Искали человека на место умершего смотрителя маяка. Требовался молодой грамотный работник, привычный к тайге и морю: усложнялись обязанности смотрителя — на Крестовой открывался контрольный пункт гидрометеорологической службы. Никита Алексеевич согласился на переезд не сразу, он колебался, советовался с Дусей, со своей родней. Не хотелось и с рыбацким колхозом расставаться. Все решил приезд председателя райисполкома: он убедил, что поехать на Крестовую больше некому, а служба эта важная.

Дусе родные нашептывали: «В берлогу тебя тянет», «Найдем тебе мужа получше, такой жене каждый рад будет». Дуся старалась не поддаваться родне, готовилась потихоньку к переезду. Но в последнюю минуту испугалась, Никита Алексеевич — уже нельзя было отступить — уехал один и прожил в Крестовой без Дуси, тоскуя и мучаясь, больше года. Как-то утром увидел он с маяка лодку. Она пересекала Байкал. Приплыла Дуся, жена и спутница, а сейчас уже и мать четверых детей.

Какое же тут было дикое место — песок да лиловые пятна богородицыной травки. Черная избушка в два оконца сползала к берегу. В одно лето они поставили хороший дом, из тайги наносили земли, разбили огород. Теперь любо на все посмотреть.

Далеко в море показались огни парохода, быстро приближавшиеся. Самого парохода не было видно — только яркие огни иллюминаторов кают и красные и зеленые звездочки мачтовых огней.

Вышла на крыльцо и Дуся.

— Как светится...— сказала она и после молчания сообщила с тревогой.— Мальчик-то сильно прихворнул.

Они стояли рядом, и в слабом свете звезд Никита Алексеевич видел беспокойно блестевшие глаза жены. «Вот ты какая у меня,— с нежностью подумал Никита Алексеевич.— Ни одна чужая беда и горе не пройдут мимо твоего сердца».

Они дождались, когда скрылись огни парохода, и вместе вошли в дом.

Всю ночь Никита Алексеевич слышал, как Дуся возилась с больным, поила водой, меняла компресс, о чем-то с ним тихо переговаривалась.

Утром Никита Алексеевич рано разбудил моториста и ушел с ним на берег.

После беспокойной, бессонной ночи Дуся вышла на крыльцо.

Ребята играли возле дома. С ними был и Володя, которому утром стало легче. Бориска, стоя на холме, размахнулся и далеко бросил палку: стая собак, слившись в клубок, ринулась за ней. Вперед вырвался Мушкет, схватил зубами палку и, присев на задние лапы, резко затормозил, и вся стая полетела через его голову. Мушкет уже мчался назад, пока сконфуженные собаки, отряхиваясь от песка, только повертывали. Сергунька, приседая, хлопал в ладоши и тонким голосом кричал:

— Мушкет!.. Первый... первый...

Мушкет подбежал к мальчику и покорно отдал палку. Сергунька повалился грудью на лохматую спину своего друга и все кричал:

— Опять первый... Опять!..

— Ишь, забаву придумали,— ласково сказала Дуся, и усталые глаза ее оживились.

— У каждого своя собака? — спросил Иван Степанович, уже давно следивший за этой игрой.

— Да нет...— Дуся опять засмеялась.— Со всеми дружат. А Мушкета Сергунька прошлым летом из тайги принес, маленького, слепого. Видно, тихонько от матери охотники бросили. Мы думали не выживет, хотели уто-

пить, а Сергунька в слезы. А теперь вон какой вырос, от Сергуньки никогда не отстанет, только его и признает.

«Какая же славная семья», — уже в который раз подумал Иван Степанович.

Когда Иван Степанович спустился к берегу, мотор опять был разобран. Директор леспромхоза невольно нахмурился: он опаздывал на прием к начальнику главка.

— Режешь ты меня, — упрекнул он моториста.

Никита Алексеевич принял этот упрек и на свой счет: торопится человек по важному делу, а он не хочет одолжить ему моторку.

Мотор удалось запустить лишь во второй половине дня. Попробовали его в работе, пересекли несколько раз залив. Директор леспромхоза повеселел.

Володю уложили на нос лодки, и Дуся старательно укутала его одеялом.

— Спасибо вам, — сказал Иван Степанович, протягивая Дусе деньги.

— Зачем? — спросила женщина, отступая, растерянно отводя назад руки.

— За хлопоты.

— Не обижайте. Мы вас не из корысти приняли.

Директор леспромхоза смутился и поспешил убрать деньги.

Никита Алексеевич и Дуся со всеми ребятами стояли на берегу, пока лодка не скрылась за мысом. Опять стало тихо в Крестовой.

— Уехали, — сказала Дуся.

— Истопи-ка баню, — попросил Никита Алексеевич, — да пожарче. Устал я с этим мотором, измазался.

Жизнь пошла своим чередом.

На третий день утром Бориска пожаловался матери, что у него болит голова и саднит в горле. Дуся внимательно посмотрела в загорелое лицо сына, в голубые попутневшие глаза.

— Поди опять холодной воды напился? — спросила она. — Ой, Бориска, горе мне с тобой. Слушаться не хочешь. Возьми в шкафике стрептоцид, в печке горячее молоко достань. И посиди дома, неугомонный.

Сама она ушла на берег стирать белье, но, встревоженная, скоро вернулась. Бориска спал, разметавшись на

диване, в уголках запекшихся губ белел налет. «Неужели захворал», — со страхом подумала Дуся.

Вечером начал капризничать самый маленький, которому не исполнилось и года. Дуся всю ночь ухаживала за ними. Бориске становилось все хуже.

А утром все четверо детишек лежали в изнурительном жару. Дуся растерялась, болезнь впервые вошла в их дом.

Всегда ее сыновья были сильными и крепкими, не боялись ни жары, ни холода. Бегали целыми днями по берегу бухты, уходили в кедровники, забирались на скалы, на маяк. А то брали лодку и плавали вдоль берега. Настоящие сорванцы!

Сначала Дуся страшилась этой ранней самостоятельности сыновей, спорила с мужем, даже сердилась на него за потворство ребятам, потом привыкла и мысли не допускала, что с ними может что-то случиться.

И вот лежат ее сорванцы, все четверо, маленькие, ослабевшие, беспомощные.

Вечером, с глазами, полными слез, Дуся сказала:

— В больницу надо.

— Куда же сейчас. Если бы рядом больница... Еще хуже станет, как продует дорогой. Посмотрим, что завтра будет.

Утром задул опять горный ветер. Казалось, что даже дом шатается под его ударами. В ближней пади стоял желтый туман. Горный ветер выдувал песок, все больше обнажая корневища лиственниц. Деревья стояли, словно на растопыренных лапах. Немало лиственниц, погубленных осенними ветрами, валялось в пади. Наверное, в эту осень упадет и еще несколько.

Никита Алексеевич, крепко держась за перила, сбиваемый ветром, с трудом поднялся на маяк, посмотрел с безнадежным видом в море. «В такой ветер мимо падей не пройти. Нельзя плыть...»

Он спустился на берег и все же начал готовить лодку, время от времени оглядывая темное небо и разгулявшееся море.

Пришла на берег Дуся, опустила на камень, поставила локти на колени и устало склонила голову.

Никита Алексеевич положил на ее плечо руку.

— Загорюнилась? — ласково спросил он. — А помнишь, как сюда приехала? Избенка махонькая, холод-

ная, продувает со всех сторон, а уж скоро зима... Помнишь? Что нам с тобой пугаться? Сегодня не проплывем, может, завтра стихнет,— попытался Никита Алексеевич успокоить жену, хотя и у него на сердце было тяжело.— Выходим ребятишек...

Так они посидели рядом на камне.

Все счастье жизни для них составляли дети, в заботах и совместной любви к ним они и находили друг друга. Одинокой и пустой была бы здесь жизнь без ребячьих голосов.

Молча направились они к дому. Над морем быстро бежали темные облака, бросая мрачные отсветы на берег, грозно свистел ветер.

Собаки не отходили от крыльца, скулили, визжали, царапались в дверь, не понимали, почему не видно на улице маленьких друзей, почему их не пускают в дом.

Вовка, самый толстый, краснощекий, четырехлетний бутуз, сидел на кровати и перебирал игрушки. Увидев мать, потянулся к ней ручонками, заулыбался.

Сереза попросил, растягивая слова:

— Мам, пусти Мускета.

— Убежал он в лес, ягодка.

— Не-е, лает...

— Ну, потерпи немного.

Бориска лежал, открыв большие глаза с темными густыми ресницами, о чем-то сосредоточенно думал.

Дуся подседа к нему на кровать, положила руку на влажный горячий лоб. «Расхворался, помощник!» — Сын слабо улыбнулся.

— Лучше?

Бориска кивнул головой.

На какую-то минуту Дусе показалось, что ребятишкам стало лучше, что преждевременны ее опасения, о которых она и мужу не хотела говорить. Она повеселела.

— А ну, кто кушать будет?

Но ребята не притрунулись к еде, и снова сердце матери заболело. Что она может сделать для них, так ослабевших за один этот день? По каплям перелила бы кровь свою, только бы избавить сыновей от страданий.

— Дифтерит, наверное, у них,— прошептала еле слышно Дуся, страшась этого слова, и добавила: — Так вот и мой брат болел.

— Откуда тут такое,— не поверил Никита Алексеевич.

— А Володя... Он и на горло жаловался.

Отец прислушался к тяжелому дыханию детей, посмотрел на их красные воспаленные лица и почувствовал, как спазма перехватила ему горло.

— Собирай ребят, повезу в больницу,— решительно произнес он.

Дуся подняла залитое слезами лицо.

— Не доплыть,— испуганно возразила она.

— Не пропадать же им.

На руках они снесли затихших детей в лодку, уложили на матрасы, закутали одеялами.

Собаки беспокойно крутились на берегу, ожидая приглашения в лодку. Мушкет вошел по грудь в воду, собираясь прыгнуть к хозяину.

— Домой! — резко крикнул Никита Алексеевич и, не оглядываясь больше на плачущую жену, с окаменевшим лицом спрыгнул в лодку, оттолкнул ее от свай.

Вожак не послушался и поплыл за лодкой. Только когда мотор ровно зарокотал, Мушкет повернул к берегу.

Дуся вскрикнула, как только лодка скрылась за мысок и побежала к лестнице на маяк. Ветер сорвал с головы платок и понес в море, она не заметила этого. Собаки не отставали от нее. Все выше и выше поднималась женщина, и все шире открывалось перед ней грозное сегодня море.

У стеклянной будки маяка, тяжело дыша, Дуся привалилась грудью на перила. Теперь на много километров была видна в обе стороны знакомая береговая линия. Лодка, прыгая на волнах, плыла вдоль самого берега, горбатившегося острыми серовато-бурными скалами. Из всех падей в море сползали тучи.

Слезы туманили Дусе глаза, и лодка пропадала. Испуганно протерев глаза, женщина опять находила черную точку и шептала: «Довези, Никитушка, довези...»

Вцепившись руками в перила, Дуся следила за лодкой и думала, что не мужу, а ей надо бы везти в больницу детей. Да куда ей, не знает она моря, не отваживалась в бурные дни выходить в него. Сюда приплыла в штилевой, спокойный день. Почему не было в тот день ураганного ветра, бури! Узнала бы она море, померилась

бы с ним силами. Может, сейчас и не стояла бы беспомощная на скале...

Все меньше становилась черная точка моторки, все дальше уплывали ее дети. Наконец, лодка скрылась в синих тучах.

Едва моторка вышла из бухты, как ударил холодный ветер и первая волна с необыкновенной силой швырнула ее, едва не вырвав из рук зрителя руль. За шумом быстро катившихся волн, свистом ветра почти не слышно было мотора. Тучи переваливали через гребни гор и, срывающиеся резкими порывами ветра, падали на море.

В такую погоду, когда поднимался свирепый горный осенний ветер, легко валивший самые крепкие кедры и лиственницы, сносивший сильные катера к восточному берегу Байкала, Никита Алексеевич без крайней надобности не рисковал выходить за пределы бухты Крестовой. Да и все суда на Байкале в такие дни предпочитали отстаиваться в защищенных бухтах.

Никита Алексеевич пробился к берегу и вдоль него повел моторку, стараясь, чтобы не снесло в море, прикидывая с беспокойством, когда же они попадут в рыбацье село Заброшино. До него от Крестовой считали около шестидесяти километров. По всем расчетам выходило, что туда они доплывут только в темноте.

Больше всего зрителя страшила падь Ревучая — самое глубокое ущелье в этих берегах. Миновать бы ее благополучно, а дальше будет легче. Он видел, как впереди из каменных ворот этой пади выползают тяжелым дымом синие тучи и растекаются над морем.

Только сейчас Никита Алексеевич оглянулся. Тонкой иголочкой над лесистыми скалами виднелся маяк.

Ребятишки лежали тихие, неслышные, и он, испугавшись, приоткрыл край одеяла. Нет, они дышали, но каким трудным было это дыхание!

Напротив пади Ревучей лодку подбросило снизу, и она, сотрясаясь, замоталась с волны на волну. Леденящий ветер дул справа, от него коченело все тело. Самой пади за клубами туч не было видно. словно кто-то нажимал гигантские меха, выталкивая из пади скопившиеся там тучи, скрывавшие берег. Моторка плыла в густом тумане. Никита Алексеевич продолжал жаться ближе к берегу, рискуя налететь на камни, грозно выступавшие из кипящей воды.

Миновав опасную падь и увидев скалистый берег, он облегченно вытер мокрый лоб. Маяк скрылся в тучах.

Одеяло шевелилось, кто-то из ребят настойчиво сбрасывал его. Никита Алексеевич выпустил руль и склонился к детям.

У Бориски посинело лицо, он задышался, в открытых, округлившись глазах блестели слезы. Отцу показалось, что на губах старшего выступила розовая пена. Маленький беззвучно плакал, беспомощно шевеля тонкими пальчиками. Сергунька и Вовка лежали в беспамятстве, неровно и тяжело дыша.

Волна круто повернула неуправляемую лодку, вторая с силой качнула ее, третья, словно ждала, налетела, качнула с еще большей силой, и через накренившийся борт хлынула вода.

Никита Алексеевич кинулся к рулю, пытаясь выправить лодку одной рукой, второй торопливо черпая ведром воду. Новая волна опять плеснула воду в лодку. Не слушаясь, лодка вывертывалась поперек волн.

«Все!» — мелькнуло у Никиты Алексеевича. Руки ослабли, тело налилось усталостью. Не хватало сил держать руль и одновременно вычерпывать воду. Моторка, заметно оседая, плясала на волнах, не подчиняясь рулю.

Бориска, встав на четвереньки, выбирался из-под намокшего одеяла.

— Куда? — испуганно крикнул отец.

— Дай! — по движению губ сына угадал отец. Глазами мальчик показал на ведро.

Желание Бориски помочь отцу в эту последнюю минуту наполнило Никиту Алексеевича еще не испытанной силой, помогло собрать себя, и он, стиснув зубы, вывернул круто руль, поставил лодку наперерез волнам и стал быстро одной рукой вычерпывать воду.

— Ложись! — крикнул отец. — Бориска, ляжь, не бойся, — просительно добавил он.

Лодка шла теперь под острым углом к берегу, и вода перестала захлестывать ее.

Бориска медленно, очень медленно, лег, натянул на себя одеяло и закрылся с головой.

Низко надвинув шапку, облизывая мокрые губы, вглядываясь с тревогой в пустынные синеющие дали, Никита

Алексеевич упорно вел моторку, до боли в суставах сжимаемая вырывающийся руль.

Тревожный, хватающий за душу, голос сирены пронесся над водой и вернулся, отраженный отвесным скалистым берегом. Никита Алексеевич увидел впереди, слева, белую санитарную моторку. Она быстро приближалась, вспарывая носом волны.

В женщине, сидевшей на корме, в резиновом плаще с капюшоном, опущенном на голову, смотритель узнал Веру Васильевну — врача больницы в Заброшине. Когда между лодками оставалось не больше пяти-семи метров расстояния, она резким голосом крикнула:

— Куда вы?

— К вам... Детей спасти.

— Идите к берегу...

Ближе у берега море было спокойнее, и лодки смогли сблизиться бортами. Вера Васильевна поспешно перескочила к Никите Алексеевичу и, отбросив на спину капюшон, наклонилась к детям.

— Как? Все? — Она оглянулась на отца. — Почему Дуся не поехала?

— Маяк нельзя оставить.

— Давайте их ко мне.

Моторист помог переложить детей в санитарную лодку, перешел в нее и Никита Алексеевич, закрепив свою трюсом.

— Теперь быстрее, как можете! — приказала Вера Васильевна мотористу.

Низовой холодный ветер бил в лицо и катил навстречу высокие валы ноздреватой воды. Кругом быстро синело, с середины озера надвигалась вечерняя тьма. Натужно стучал мотор, и Никита Алексеевич, наклоняясь, с тревогой прислушивался к работе чужого двигателя — не сдаст, дотянет?

Вера Васильевна так и забыла надвинуть опять капюшон, и Никита Алексеевич видел ее знакомое круглое лицо, с очками на маленьком пухлом носу, с плотно сжатыми губами. Она часто наклонялась к детишкам, что-то доставая из раскрытой санитарной сумки. Движения ее были спокойные, уверенные, как будто она находилась не в утлой посудине, прыгавшей по волнам, среди свиста ветра, в сгущающейся темноте, а у себя в палате. Никиту Алексеевича била лихорадка, он не мог унять дрожь, но

теперь, когда он видел с ребятами врача, в нем рождалась надежда: может, все обойдется благополучно.

Вера Васильевна, занятая детьми, ни разу не вспомнила о нем. Только, когда блеснули огни Заброшина, она спросила:

— Как вы решились?.. Такой ветер!

— А что же делать?

— Меня ждать.

— Об этом и не подумали. А как вы о ребятах узнали?

— Директор леспромхоза у вас ночевал? Он звонил сегодня. У него сын в городской больнице лежит. Вот я и выехала ваших проверить.

Перед пристанью моторист включил сирену, и ее тревожный вопль понесся к берегу.

Моторка ткнулась в черные сваи пристани. Резкие тени от фонаря метались по берегу. Невдалеке темнели низкие строения рыбных лабазов. Никита Алексеевич помог подняться врачу и перешагнул онемевшими ногами с лодки на пристань, покачиваясь, растирая окоченевшие руки и лицо.

Знакомый рыбак спросил:

— Никита? Ты? Ну, что?

— Плохо... Четверых привез.

В больничном здании светились все окна. Вера Васильевна первая вошла в приемную, сбрасывая на ходу плащ и показывая рыбакам, куда положить детишек. Сергунька в бреду быстро и возбужденно что-то шептал, потом громко позвал: «Мускет, Мускет!..» — и тонко заплакал.

Рыбаки, стараясь не стучать подкованными сапогами, вышли из приемной.

Никита Алексеевич, прислушиваясь к трудному дыханию детей, стонам и плачу, прислонился к косяку, еле держась от усталости на ногах. На нем не было и сухой нитки. На запавшем, посеревшем лице лихорадочно блеснули глаза.

Вера Васильевна и сестра быстро раздевали детей.

Оглянувшись, врач, казалось, удивилась, что отец еще тут.

— Идите, отдыхайте,— приказала она.— Здесь вы теперь ничем не поможете.

— Что у них?

— Разве я не сказала? Конечно, дифтерит. Ночевать где будете?

Он назвал дом знакомого рыбака.

— Ну, идите, идите. Найду, если нужны будете.

Только на улице Никита Алексеевич вдруг понял страшный смысл вопроса врача о месте его ночлега, и ему захотелось вернуться.

Ночью он несколько раз приходил к больнице и подолгу стоял на крыльце, всматриваясь в освещенные окна. Ни одного звука не доносилось оттуда, только изредка на оконные занавески ложились женские тени.

Поселок спал. Уныло свистел между домами ветер, раскачивая деревья, слышался отдаленный шум моря.

Утром, увидев Никиту Алексеевича в больнице, Вера Васильевна устало сказала:

— Утешать не буду, плохи ваши дети.

Никита Алексеевич вышел из больницы, сел на крыльцо и подумал: «Что мы с Дусей без них? Неужели не успел довести?»

Вспомнилось, как после Бориски они с Дусей ждали девочку, придумывали ей имя, а родился мальчик. Шли сыновья — четыре сына. Никита Алексеевич даже как-то пошутил, что могла бы Дуся в больнице сменить мальчика на девочку. «Ладно,— сказала тогда Дуся,— четыре сына — четыре охотника вырастут. Дичью нас завалят».

На какое-то мгновение ему представилась бухта Крестовая, вся в разбегающихся от дома тропинках, маяк на скале, и таким безрадостным показалось это место без детей, такое щемящее горе подступило к сердцу, что Никита Алексеевич низко склонил голову и закрыл глаза.

Но виноват ли он перед детьми, что выбрал для жизни такое место? Может быть, права была Дуся, когда не хотела ехать на маяк? Нет, нужен он в Крестовой. Ведь кто-то должен нести эту службу. Разве мало еще таких мест на Байкале, где живут люди, как и он, семьями. Ну, случилась беда! Да разве детей от болезней убережешь? Везде могут захворать.

Кто-то коснулся плеча Никиты Алексеевича. Он поднял голову. Над ним стояла Вера Васильевна.

— Вытрите глаза,— сердито сказала она.— Еще и сами заболете. Нечего вам тут без дела сидеть, себя понапрасну изводить. Берите лошадь и поезжайте в лес. У нас дрова кончаются, а вашим ребятам тепло нужно.

В лес он выехал с больничным сторожем — стариком Фокичем, сильно припадавшим на правую ногу. Сочувственно поглядывая на молчаливого, замкнувшегося в себя, зрителя, он все пытался успокоить его, вызвать на разговор.

— Вера Васильевна выйдет, — говорил он. — Ты в ней не сомневайся. Смерти твоих детишек не отдаст.

За работой Никите Алексеевичу стало легче, и день прошел незаметно. Только время от времени он вспоминал о больнице, зачем он здесь, и острая боль опять подступала к сердцу: «Что там сейчас?» — думал он о больнице, и руки его невольно опускались.

В Заброшино из лесу они вернулись в сумерки. Во дворе больницы Никита Алексеевич увидел большую поленницу нарубленных и аккуратно уложенных дров.

— Неужели за зиму спалите? — спросил он сторожа, недоумевая, зачем же Вера Васильевна отправила его в лес, когда дров полон двор.

— Вера Васильевна — хозяйка заботливая, — довольно отозвался сторож. — Любит с запасом жить.

«Это она мне работу придумала, — с признательностью подумал Никита Алексеевич. — Нарочно, сердце мое успокоить...»

Вера Васильевна в белом халате стояла на крыльце.

— Привезли? — спросила она. — Вот и спасибо.

На лице Веры Васильевны блуждала тихая, довольная улыбка.

— Что, Никита Алексеевич, — спросила она, — признайтесь, — наверное, вы с Дусей голову потеряли? А? Испугались, как все четверо свалились? Правда? Успокойтесь, поставим на ноги ваших детишек. Теперь дела наши хорошие! — И она счастливо засмеялась.

— Лучше?

— Не лучше, но страшное миновало. Успела сыворотку ввести. Сейчас признаться могу: очень за них боялась.

У Никиты Алексеевича дрогнуло лицо.

— Вера Васильевна, — начал он, но не смог продолжать, только потер рукой горло.

— Что Вера Васильевна? — добродушно спросила женщина и улыбнулась. — Ничего, ничего... Вы только Дусю побыстрее известите. Измаялась она там одна, бедная.

— Извещу.

— А не побойтесь теперь на маяке оставаться? Не убежит Дуся?

— Думал об этом, себя уж даже начал винить,— признался Никита Алексеевич и твердо добавил:— Останемся в Крестовой.

— Вот за это и люблю вас и Дусю. Везде вам будет хорошо, где бы жить ни пришлось. И вашу Крестовую люблю. Нет у нас тут лучше места. В будущем году отдыхать к вам приеду — со всей семьей. Детишки у вас растут крепкие, наверное, от рыбы — много рыбьего жира принимают. И ничего не бойтесь, Никита Алексеевич. Не одни!

Обычно не очень словоохотливая, она говорила сейчас много, как голодный, который никак не может насытиться. Ей тоже нелегко достались эти сутки.

Никита Алексеевич, повеселевший, пошел к пристани искать человека, который мог бы передать письмо Дусе.

Ветер все шумел над Байкалом, небо попрежнему было затянуто тучами, крутые волны, шипя, набегали на низкий берег. Но сейчас озеро уже не казалось таким грозным и страшным, как вчера. Никита Алексеевич шел, и воображение рисовало, как просветлеет лицо Дуси и высохнут у нее слезы в глазах, когда получит она его письмо.

— Никита Алексеевич! — громко окликнули сзади. Директор леспромхоза, догнав его, остановился и неуверенно протянул руку. Никита Алексеевич ответил крепким рукопожатием.

— Не сердитесь? — недоверчиво спросил Иван Степанович.— Нет? Ну, спасибо! А как я волновался... Всю бы жизнь мучился, что такое горе принес. Ведь наша вина.

— Нет вашей вины,— просто сказал Никита Алексеевич, не испытывая к нему никакого чувства неприязни.— Разве вы знали?

— Как детишки?

— Вроде теперь уж и нестрашно.

— Вот и хорошо. А что им сейчас нужно? Фрукты, может, какие лекарства? Попрошу из города побыстрее подослать. Ну-ка, пойдите к врачу, посоветуемся. Давайте теперь детишек вместе выручать.

Они повернули к больнице.

«Что наделал, что наделал,— продолжал укорять себя Иван Степанович, вспоминая день в Крестовой, милую Дусю, детишек, хлопоты с заболевшим сыном.— Жили себе спокойно — вот тебе, помогли попавшим в беду. И не упрекнул, не озлобился. Цены таким людям нет. А я-то еще, болван, деньги предлагал,— со стыдом вспомнил Иван Степанович.— Да разве такое деньгами оплатишь?»

...Целую неделю изо дня в день, как только начинало светать, Дуся поднималась на маяк. Над морем в эти часы плавал синеватый туман, скользили рыбацьи катера, буксиры тащили плоты, виднелись низкосидящие нефтяные баржи. Редел туман, все просторнее открывалось море, а моторки не было...

В течение дня Дуся часто поднималась на маяк и смотрела, смотрела в бесконечную голубую даль...

Только два раза за это время получила она весточки из Заброшина. Зашел незнакомый охотник и передал записку от мужа; в положенный день в бухту вошел катер гидрометеорологической службы, и ей вручили письмо.

Однажды в середине дня Дуся заметила с маяка черную точку. Море в этот день лежало особенно спокойное, голубое до самого горизонта, а воздух был хрустально прозрачен, и на восточном берегу были видны снежные вершины Хамар-Дабанского хребта.

Сердце тревожно забилося. Даже в бинокль Дуся не могла бы еще разглядеть лодку, но сердце подсказывало, что плывет Никита.

Все ближе лодка...

У Дуси опустились руки: только один человек сидел на корме. Почему же один?

Тихо, боясь оступиться и упасть, Дуся спустилась по крутым лестничкам на берег и села на камень.

Лодка вышла из-за мыса. Стук мотора, всегда радовавший женщину, сейчас действовал болезненно, как будто в голову вколачивали мелкие гвозди — один за другим.

Подняться навстречу мужу не хватило сил.

Никита Алексеевич вышел из лодки и молча остановился перед женой, с осунувшимся за эти дни лицом, с глазами, обведенными черными кругами, и Дуся медленно поднялась.

— Ну? — с коротким придыханием спросила она.

— Поезжай... Поправляются детишки, только Сергунька еще плох.

Дуся закрыла лицо и неслышно заплакала, припав головой к плечу мужа.

Никита Алексеевич тихо уговаривал:

— Ну, полно... Миновала беда. Боялась, Дуся?

Он взял ее лицо в ладони и поцеловал в глаза.

— Все теперь хорошо.

— А Володя? — спросила Дуся. — Слышал о нем?

— Тоже поправляется. Нас Иван Степанович навещать собирается. Да он тебя в Заброшине встретит. Поезжай, Дуся.

— Поеду!

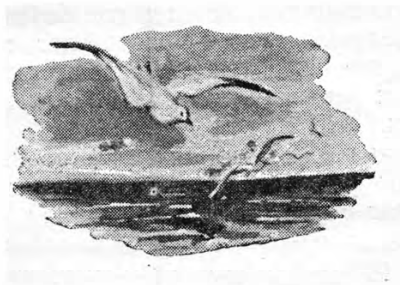
— Доплывешь одна? Не боишься?

— А хоть бы шторм...

Никита Алексеевич помог Дусе спуститься в лодку. Мотор ровно зарокотал, и лодка тронулась в обратный путь.

Никита Алексеевич стоял на берегу. У поворота за мыс Дуся оглянулась и помахала платком. Моторка скрылась, и смотритель пошел на маяк.

1954 г.





ТЕТЯ ДАША

Весь день мы шли пешком по берегу Чусовой от камня Ермак, где осматривали остатки старинного Строгановского железного рудника. Вода стояла еще высокая, сплавщики «зачищали» обмелевшие берега, на которых застрял от весеннего сплава молевой лес, сбрасывали его в воду. Там, где каменные скалы, выступая из воды, не давали пройти берегом, мы сворачивали на горные лесные тропинки.

Хороши эти лесные тропки на Чусовой. Поднимаешься ложком от реки и вступаешь в просторы зеленого океана. Гремит в мшистых камнях ручей, бежит звонкая прозрачная вода, сверкающая под солнцем; трава высокая, сочная, руками раздвигаешь могучие заросли резных папоротников. Пахнет цветущим шиповником и рябиной. По склонам лога встают густые сосняки со стволами цвета темной бронзы, перемежаемые лиственничными породами. Не смолкают птичьи голоса. Лесные поляны вспыхивают желтыми лютиками, лиловыми колокольчиками, белыми ромашками.

К вечеру мы добрались до села Мартыновки, две улицы которого вытянулись по правому берегу Чусовой; вы-

сокий левый берег остро срезан. На серой отвесной стене зеленели только мох и лишайники, из-за гребешка горы чернели ровные силуэты верхушек елей. Солнце склонялось за гору, а на реку уже упала тень горы.

В конторе правления колхоза в этот час было пустынно, только в соседней комнате счетовод разговаривал с женщиной. Басовито и громко звучал в пустой комнате голос женщины, толковавшей что-то об удобрениях, которые ей обещают третий день. Счетовод тихо и кротко отвечал ей, женщина возражала, и голос ее гудел сердито, раздраженно.

Вскоре они замолчали, и через комнату быстро, сильно стуча сапогами, прошла высокая, крупная женщина. Платье сидело на ней, как влитое. Все черты лица были крупны и чуть грубоваты.

Мы спросили счетовода, где можно остановиться на несколько дней. Он подумал.

— Ступайте к тете Даше, отсюда через три дома. Изба просторная — их трое.

Дом тети Даши выделялся среди других березками перед окнами. Во дворе, поставленном по обычаю этих мест под одну крышу с избой, горьковато пахло черемуховым соком.

В избе, наклонившись над раскрытым сундуком, спиной к двери, стояла женщина. Она выпрямилась, повернулась и оказалась той самой женщиной, которую мы только что встретили в правлении. Из-под платка выбивались пряди седых волос.

— Можно у вас переночевать?

— На улицу вас не прогонишь... Что ж поделаешь, ночуйте, — сказала равнодушно тетя Даша и опять наклонилась над сундуком, перебирая какую-то одежду.

Через некоторое время, выполняя долг хозяйки, она спросила:

— Квас пить будете?

Принесла большую стеклянную банку холодного квасу, приятного вкусом и запахом какой-то травы. На похвалу квасу равнодушно отозвалась:

— Все хвалят...

Я скоро лег спать.

Утром сквозь открытую в сени дверь услышал уже знакомый резкий голос тети Даши:

— Витькя! Витькя!.. Вставай!..

И через некоторое время опять:

— Витька! Витька!.. Вставай!..

В избе появился заспанный парнишка лет шестнадцати-семнадцати, худенький, но росту, видать материнского. Оказалось, что ночью он пас табун коней, а сейчас мать торопила его к ветеринару.

Во дворе работал хозяин — невысокого роста, худой, чернявый, как-то странно державший маленькую голову, словно боялся ее поднять или повернуть. Разговаривая, он поднимался, поворачивался всем корпусом и отвечал тихим голосом. Горьковатый черемуховый запах исходил от виц, сваленных в кучу.

Гибкие хлысты он сначала перегибал темными узловатыми пальцами у себя на коленях, потом вплетал их в начатый короб. Работа, очевидно, увлекала его. Он с удовольствием оглядывал наполовину сделанный короб и не сразу вплетал очередной хлыст, соблюдая пропорции, подчиненные его замыслу. Готовые короба лежали в углу двора, они имели разные формы и размеры и, как потом рассказал хозяин, предназначались для различных хозяйственных надобностей.

Не сразу удалось разобраться в отношениях между членами этой небольшой семьи. Сын почти не показывался в доме, ночью уезжал с табуном, а утром исчезал по другим колхозным делам. Хозяин весь день тихо и неторопливо работал во дворе. Тетя Даша уходила на огород, появлялась дома днем часа на два-три, а потом опять работала на огороде до вечера.

С ее появлением в доме становилось тесно и шумновато. На улице было слышно, как разговаривала она с соседками, заходившими в избу, с мужем, с сыном, как ворчала во дворе, усаживаясь доить корову.

Молчаливый, тихий супруг любил посидеть вечерами у открытого окошка, покурить махорочную кручонку. Он ни словом не отзывался на громкий голос тети Даши, казалось, совсем не слыша его.

В семье она была полтной хозяйкой, несколько деспотичной. Повелительные нотки частенько прорывались у нее.

На второй или третий день моей жизни в этом доме тетя Даша появилась в неурочное время с ватагой звонкоголосых загорелых девушек, одетых в спортивные костюмы.

— Ой, девки, в таких штанах всю дорогу и плывете? — басила тетя Даша, с непритворным ужасом, но и с какой-то любовью оглядывая всю эту ватагу. — Ой, девки! Стыд-то какой...

Девушки держались с ней свободно, лукаво переглядывались, пересмеивались, и в общем их мало беспокоило это негодование тети Даши. Так не обращают внимания на чудачества любимой матери.

Девушки — они были студентками-медичками, спускавшимися на лодках по Чусовой, — прошли за тетей Дашей в соседнюю комнату и закрылись там. По репликам можно было догадаться, что происходило за дверью.

— На-кось нитки, зашивай, зашивай, — гудел голос тети Даши. — Ах, срамницы, оборвались-то, поругать вас некому.

В избе, под градом негодующих слов тети Даши, девушки пробыли часа три, ушли веселые, довольные, унося с собой на дорогу большую бутылку квасу и буханку свежего хлеба.

Тетя Даша, проводив студенток, постояла в задумчивости.

— Ой, девки! — грозно сказала она и добавила торопливо: — Посмотреть, пойти, как в лодку сядут...

Председатель колхоза Аверин, узнав, что я поселился у тети Даши, тихо рассмеялся и спросил:

— Не оглушила она вас? Самая голосистая в колхозе. Я помню еще по детству, как мужики тети Даши боялись. Наградил ее бог силой, только сейчас сдавать начала. Так бывало: выпьют мужики в праздник, ну и сейчас счета кулаками сводить. Бабы за тетей Дашей. Придет, живо всех расшвыряет, утихомирит. Ну и боялись ее! Услышат, что тетя Даша идет, кто куда — в окно, в дверь, унеси ноги.

Он помолчал, чему-то усмехаясь.

— Но колобродница неукротимая. Намучились мы с ней. Два года назад бросила работать в колхозе, остались мы без овощевода. Просили, уговаривали, грозили — не помогает. Меня, говорит, муж колхозным трудом кормит, я ему огородом подсоблю. А копейки ваши мне не нужны. Словом, сама не работает и других на такой же путь толкает. Ничего с ней поделать не могли. Придет на собрание, шум поднимет, голос-то ее знаете, кого хочешь перегаркает. Шумит: какие у вас поряд-

ки — работа за копеечку! Раз было так: заболела она. Кажется, можно спокойно собрание провести. Даже на два дня раньше его назначили, честное слово, так всем напекла. Начали собрание, все идет хорошо, без коллобродства. Распахивается дверь — тетя Даша!.. Лицо красное, глаза воспаленные, видать, прямо из постели. Села, слушает. Ну, думаем, хоть сегодня-то помолчи, помолчи. Куда там! Поднимается — и на сцену. «У меня градусник! — говорит. Расстегивает кофточку, достает из подмышки градусник. — Сорок... Посмотрите, кто не верит. Лежать надо, а я пришла, не могу спокойно на беспорядки ваши смотреть...» И пошла нас костылять... Вот она какая тетя Даша!

Тете Даше перевалило уже... Впрочем, что даст читателю точная цифра возраста?

Вся жизнь ее прошла в этом селе, с Чусовой сплелись ранние воспоминания детства, девичьи хороводы, потом семейная жизнь. Помнила тетя Даша еще те времена, когда по Чусовой на барках сплавляли железо и медь.

Она красочно рассказывала, как издали по первой барке, так называемой «казенке», жители узнавали, какого завода караван показался на Чусовой. «Хватчики», люди отважной профессии, хорошо знавшие особенности капризной реки, помогавшие баркам приставать на ночь к берегу, ехали на «казенке» с приказчиком. Вот по одежде этих хватчиков и различали караваны Шайтанского, Ревдинского, Билимбаевского, Уткинского и других заводов. Если хватчик, к примеру, был в красной рубашке, синей опояске и с красной лентой на шляпе — шел караван Уткинского завода. Только уткинцы носили красные рубашки.

Немало таких рассказов довелось услышать от тети Даши. Душа у нее была добрейшая, любила она быть на людях, любила веселье, смех, шутки и прибаутки. Но видно, что в прошлом на ее долю всего пришлось, отсюда и седые волосы, и внезапные вспышки раздражения.

Мне пришлось еще несколько раз побывать в Мартыновке, и всегда я останавливался в доме тети Даши.

Однажды она сидела вечером на крыльчке и как-то вдруг разговорилась. Не помню, что послужило поводом для этого разговора, но тетя Даша начала рассказывать, как они вступали в колхоз.

Она сидела, подперев рукой седую голову, засмотревшись усталыми серыми глазами на Чусовую. Голос звучал неожиданно тихо, без резких переходов, рассказ тек плавно, спокойно, словно женщина самой себе рассказывала эту повесть о жизни, раздумывая над нею.

— Очень я с мужиком спорила. Видели, тихий он у меня, голоса не слышно. Я кричу — он молчит. А тут, как начали у нас колхозы складывать, уперся на своем; я кричу, плачу, на другом конце села слышно, а он то молчит, то одно твердит: вступаем. Я говорю: «Егор, куда ты нас тянешь? Уж мало ли ты толочся, еще попробовать хочешь?» А уж что он ни делал, как от нужды ни отбивался: уголь палил, на шахтах кайлил, плоты по Чусовой гонял, лес валил, золото мыл, в поле робил, дома ставил. В наших местах люди все умеют делать — заводское, лесное и сельское. Припасет Егор копейку, а нужда из дома рубль уводит.

Вот так и бились мы с ним!..

А по селу идут разные разговоры, одни за колхоз, другие — против. И все чаще моего мужа поминают, вроде он у них там главный, от него вся смута. Спрошу его дома, он ответит, что, дескать, не в нем причина, не он смуту ведет, а мутят воду те, кому колхоз хуже смертного часа. Прошу — отступись, Егор, может, они и успокоятся. Что тебе о всех болеть? О своем доме думай — вон какой у нас ребят табун, их на ноги ставить надо. Молчит, но вижу, что слова мои, вроде дыма, мимо летят — не послушает, присох он к колхозу.

Жили у нас братья Рогачевы. Три брата. Видели нашу двухэтажную школу? В этом доме и жили. Отец у них раньше «казенки» по Чусовой водил, в селе лавку держал. Приказчик на «казенке» — в караване главный: кто поглянется ему — получит место в барке, кто ершится — на берегу останется. А в селе тоже — кому кредит, а кому вредит. Все село Рогачев обхомутал.

К тому времени старика Рогачева в живых не было, а волчий выводок остался. Всем в селе заправляли. Вижу, прижимают они Егора, прохода не дают, мне глаза им колют. На улице встретишь — зубы щерят: «Голосиста! Пригодится, как выть придется...»

Женщина вздохнула.

— Ох, темное время было. Голова кружилась: кто так говорит, кто этак, не знаешь, кого слушать...

Долго рассказываю, поди, наскучила? Сколотился у нас колхоз, землю ему отрезали, орудия дали. Вся колхозная жизнь в новину была. Кабы опытные люди за дело взялись, а то все такие, как Егор мой: там упустят, там недосмотрят, там что-то не так сделают. Народ хороший эти ошибки понимает, а другие лаются. Рогачевым свары на руку, свежих дровец в этот костер подбрасывают, дескать, пеките друг друга до золы, а мы дунем — нет вас.

Прошло с год, как колхоз организовался, а дело-то еще плохо подвигается, беда у нас за бедой — то рига сторит, то овцы вдруг от мора падать начнут, однажды кто-то в поле овес повытоптал...

Новые разговоры пошли — надо Рогачевых из села удалить, вывести волчье племя. Опять мой Егор вроде тут всему причина. Говорю ему, прошу по-хорошему, плачу — отступись ты, Егор, не сносить тебе головы. Свою не жалеешь, о нас подумай. Молчит!..

Весной это было... Дрова у нас кончались. Егору за чужими делами все некогда было по зимнему пути в лес съездить. Я последние поленья в печь кладу и каждый день ему в уши о дровах, как шмель.

Как-то вечером жду, жду его: нет Егора. А у меня баня стынет.

Пошла в правление: где Егор? А он, говорят, еще днем лошадь запрягал, по дрова собирался. Не вернулся? Нет, — говорю, а сердце бьется... Прихожу домой — нет Егора. Не сидится мне, беду чую...

Вышла я на крыльцо, постояла, послушала да в лес. Темно уж, страшно... А я бегу, словно Егор меня кличет. Места наши видели, знаете — гора к горе. В гору не успею отдышаться, а под гору опять бегом.

Прибегаю на нашу делянку, вижу нарубленных дров поленицу, и никого вроде нет. Потом в кустах лошадь всхрапнула, я к ней — стоит привязана, а Егора нет. Я — туда, сюда... Вдруг, как из-под земли, стоны.

Кинулась я к этому месту, впотьмах ничего не разберу. Нашла Егора, а что с ним, понять не могу. Нагнулась, спрашиваю — не отвечает. Я руками его ощупываю...

Женщина задохнулась и некоторое время молчала.

— Они, злодеи, бревном его придавили, голову, как на плаху, положили. Жив Егор, дышит, стонет, а гово-

рить не может, бревно на нем. И я ничего сделать не могу, не поднять мне того комля. Погибает мой мужик.

Помутилось все в голове. Побежала я к селу, ног не чувую, земля подо мной колышется. Остановлюсь отдышаться, к дереву прислонившись, но как вспомню, какие муки Егор сейчас принимает — откуда силы берутся.

На полдороге о лошади вспомнила, вернуться хотела, да махнула рукой, и опять в бег ударилась.

Прибежала в правление, мужики еще там сидят, упала на пороге, совсем обессилела. Только и сказала, что убили Егора на полянке.

Запрягли коней, помчались.

Зажгли смолье. Лежит Егор под комлем, уж не стонет, лицо посинело, но еще дышит. Подвели мужики осторожно слуги, подняли бревно, взяли Егора на руки. Без памяти он.

Отвезли Егора в больницу, утром приехали следователи, опросили всех, забрали Рогачевых, еще двоих.

Мужик мой плох; всю грудь ему отдавило, шею попортило, кровью харкает, говорить не может.

Рогачевы отпираются. Получается так, что Егор, на себя сам по неосторожности бревно уронил. Выезжали следователи на полянку, осматривали там, прикидывали, как могло несчастье случиться. Рогачевых не выпускают, и судить их нельзя.

Я каждое воскресенье Егора навещаю.

Сажу у него однажды, он немного говорить начал, скажет слово, улыбнется мне, видно, и ему радостно, а я плачу.

Вынимает он из-под подушки рукавичку черной вязки с узором цветным.

— Чья? — спрашивает.

— Паньки Рогачева. Только он такие и носил в селе.

— Отдай, — говорит Егор, — следователю.

Отнесла я рукавичку следователю. Обрадовался он. «Теперь, говорит, посиди в приемной, пока я последний допрос Рогачева проведу».

Проходит так с час. Вызывает меня следователь. «Во всем, — говорит, — сознался, и протокол подписал».

— Как, спрашиваю, удалось вам? Следователь рассказывает:

«Начал допрашивать Рогачева, отпирается он, говорит, что и на полянке-то никогда не бывал. А я достал

рукавичку и говорю ему, что же ты, дескать, на полянке не бывал, а рукавичку потерял. Возьми, пригодится носить, еще новенькая. Он за ней и потянулся».

Так вот Панька Рогачев и сознался. Потом на суде сказал, что хотели они лютой смертью уморить Егора, чтобы другим пострашнее стало.

Вот, думаю, какие муки вы нам готовите, волчье племя. У нас на медведей иногда с петлями охотятся, так и то охотникам выговаривают, дескать, сердца у вас нет, зверье душите, с ружьем-то на него не решается выйти. А вы людей не щадите! Страшны, значит, вам колхозы.

Махнула я тогда рукой на все свое домашнее хозяйство и ушла в колхоз. Думаю, пока нет Егора, я помогу миру всем, чем могу.

Приеду в больницу, рассказываю Егору о наших колхозных делах. Он улыбается, смотрит ласково.

— Так и надо, Дарья, — говорит мне.

А мне похвала его в те дни была слаще ласк.

Вернулся Егор из больницы, но еще долго работать не мог. Очень сильно шею ему повредили, головы ни поднять; ни повернуть. Боли его мучили, лежать не мог, спал сидя. Приспособили мы ему подушку на край постели, он сядет на пол, голову к подушке чуть прислонит, так и спит. Больше года в постель не ложился. Видели — головы и сейчас повернуть не может.

Эту рукавичку рогачевскую никогда я не забывала.

Говорят про меня, что баба я сумасбродная. Да нет, уж вы не качайте головой. Сумасбродничала я, что скрывать. Верно, Аверин, председатель наш, рассказывал вам? Бывало это у меня, бывало. Но как вспомню эту черную рукавичку, вышитую цветными нитками, так вся дурь с меня сходит.

Женщина опять замолчала, видимо, этим отступлением нарушив последовательность своих воспоминаний.

— Одиннадцать детей вырастила, а где они? — недоуменно спросила она. — Верно, одиннадцать. Двое на фронте погибли: один Иван, старший, в первые же месяцы, он на границе служил, другой Петр, четвертый, уж в самом конце войны. На немецкой земле его могила. В наш сельсовет из этого немецкого города письмо пришло, что, дескать, передайте его родным от немецкого народа — чтут они память советского солдата и следят за

его могилой. И карточку могилы прислали, где Петя похоронен. Остальные? Разлетелись по всей стране. Каждому хотелось образование дать. Татьяна, младшая доченька, на химика выучилась, в Тагиле на заводе работает. Степан — агроном, уж ему, кажется, можно было домой приехать, и тот в каком-то институте остался, в котором овец разводят.

Неправильно ведь это было, что молодые из колхозов разъезжались? Я по-своему, простому, так думаю, что без молодых нам, старикам, с колхозным хозяйством не справиться.

Вот одно время пошатнулись дела в колхозе. Трудодень скудеть начал.

Почему так получилось? Мне разобраться трудно. Только видела я, что неправильно наше хозяйство идет, не думают руководители колхоза о народе. Да и менялись у нас председатели чуть не каждый год. Один придет, взглянет, все старые распоряжения отменит, все по-своему повернет, а через год в другое место переедет. Садится на его место новый председатель, и опять на свой вкус и манер все строит. Подходит год, опять за плохие дела спросить не у кого. Ведь как они подгадывали — перед отчетным собранием из колхоза уходили, не хотели перед колхозниками ответа держать.

Работала я на огороде, звено у меня подбилось хорошее — женщины пожилые, одногодки мои. Девчушки да парнишки подсобляли. В войну еще мы это дело начали, способно оно пошло. Город в овощах очень нуждался. Не успеем мы овощи собрать, а уж машины пылят из города — давайте грузите. Мы понимали: работаем, чтобы городскому народу легче жилось, без овоща ведь трудно.

Кончилась война, начало хиреть наше дело. Все меньше и меньше машин из города. Соберем овощи, они лежат, гниют. Председателю говорим — бери, вези сам. Он отнекивается. Говорит, что нет у него транспорта за восемьдесят километров огурцы возить. Он не знает, как ему хлеб вывезти досрочно, а мы к нему с огурцами пристаем.

Площадь огородную нам год от года все меньше дают. Людей поздоровее на другие работы забирают. Нам один ответ — обойдетесь. Весной придешь просить лошадь навоз под парники привезти, — говорят: обойдетесь. Стекла попросишь — обойдетесь...

До чего дело дошло... Помню, хорошую мы капусту вырастили, никогда такая не удавалась — кочаны руками не обнимешь, с земли не поднимешь, крепкие, как камень. А что толку? Так они у нас и остались. Зимой овцам и коровам скормили. Я аж ревела, когда узнала. Вот, думаю, где мои копейки гибнут, вот почему цена мне в светлый день четвертак.

Тогда-то я махнула на все рукой и вроде ушла из колхоза. Весной зовут меня на огород: «Тетя Даша, пора рассаду готовить». Нет уж, говорю, ищите другую дуру — тетю Дашу. Вот посмотрите осенью, что я на своем огороде получу. А это у меня с зимы была думка — своим огородом колхоз удивить.

Поработала я! Всю землю перетряхнула, как вот пуховую постель трясут, грядки по шнурочку выложила. Семена у меня хорошие были припасены. Парнички сделала. Старик смотрит на мои заботы, пыхтит только.

Поспели у меня огурцы рано.

Поехала я на базар. Продала все в один день и привезла домой столько денег, что в одну эту осень поправила наши домашние дела. Муж и сын в обновках ходят. Егор ворчит на меня, но от обновок не отказывается, новый костюм каждому приятно надеть. Баб, моих товарок, зависть одолела. Я им говорю: «Вам, бабочки, дорога на базар не заказана. Огородом никто не обижен». А сама вовсе озверела — о колхозных делах совсем не думаю.

. Вдруг новость — объединились мы с соседними колхозами.

Появился и председатель новый — Аверин. Это мужик твердый. Пришел он ко мне, начал стыдить, уговаривать бросить базарные повадки, для колхоза постараться. А мне его слова, что дождь на крышу — только мокрит и стекает. Так мы с ним ни о чем и не договорились.

Оставил он меня. Приду на собрание, только глазом покосит. А меня бес обуял, шумлю на каждом собрании, ни одного промаха никому не прощаю. Аверин выступит, говорит: «У тех, кто работает, бывают, конечно, ошибки. Но плохо, когда о них говорят такие, которых и колхозниками назвать нельзя. Такие для нас хуже лодырей». Ладно, думаю, ты речист, да мне тоже слов не занимать.

А сама заметила, что меня он лодырем не назвал, язык не повернулся.

Прошлой осенью загудело наше село. Появились новые законы для колхозов. Потянулся из города народ в деревню. Все о переменах говорят. Приумолкла я. Сажу на собраниях, слушаю. Люди праздничные речи произносят, а я думаю, чем все это моему огороду может грозить.

К весне рано начали готовиться. Аверин собрал старушек, просил их помочь в огородных делах. Уговаривал каждую взять себе участок по силам, следить за ним, отвечать за урожай с него.

Начали новое дело — торфоперегнойные горшочки готовить. Стекло для парников привезли. Шефы за строительство теплицы взялись.

Ко мне не идут. Аверин молчит. Женщины забегают, рассказывают, новостями делятся. Вижу, что верят они в большие перемены.

Вот тут я эту рукавичку рогачевскую и вспомнила опять. Думаю, муж за колхоз пострадал, инвалидом стал, но всю жизнь колхозу отдал, никогда в стороне от общих дел не стоял. Что же я-то делаю, бедовая моя голова? Партия к народу обратилась с призывом поднять сельское хозяйство, всякие льготы предоставила, с колхозов недоимки сняла. С наших-то уральских колхозов поставки зерна вдвое уменьшены. Весь народ на призывы партии откликнулся. А я в стороне, меня уговаривать надо? Для меня это разве чужое? С Рогачевыми мы разве напрасно бились?

От этих дум голова у меня кружится. Ночами заснуть не могу.

Пришла в правление, там правленцы сидят. Накинулась я на них.

Аверин входит, послушал, спрашивает:

— Что шумишь?

— Какие вы, говорю, руководители? Почему позволяете дома сидеть? Людями разбогатели? — протянула ему свои руки. — В этих руках не нуждаетесь.

Он спокойно говорит:

— Что ты шумишь? Шла бы лучше на свой огородный участок. Запустили вы его за эти годы. Кто поправлять-то будет? Сами портили — сами поправляйте. Парники пора набивать, а огородницы никак не раскachaются.

А я как будто и ждала этих слов — из конторы и сразу на огородный участок.

Вот так и вернулась в колхоз,— закончила тетя Даша смущенно.— Верно, непутевая баба?

Тетя Даша поправила седые волосы, глаза ее сверкнули задорно, по-боевому.

— Урожай соберем с огорода. Пусть только попробуют нам его попортить. Я не посмотрю и на Аверина, дойду до властей.

Я подумал, что, наверное, Аверину и трудно и хорошо работать с ней. Такими людьми, бескорыстными, полными внутренней силы, богаты наши колхозы.

Кажется, через неделю я опять зашел в Мартыновку.

К правлению как раз подъехала брочка, с нее сошли Аверин и тетя Даша.

— Захотелось ваш квас еще попробовать,— сказал я тете Даше, здороваясь.

— Что квас,— махнула она рукой.— Иди-ка в правление, другим тебя угостим.

Вошли в правление. Тетя Даша поставила на стол председателя корзину, закрытую сверху лопухами, и начала доставать из нее огурцы, приговаривая:

— Вот они, первые, самые свежие, самые вкусные. Пробуйте!

Оглядела всех торжествующими глазами и спросила:

— Кто в нашем районе уже имеет огурцы?

Мы съели эти первые, еще пахнувшие весной, огурцы в торжественном молчании.

Первые огурцы, правда, самые вкусные.

1954 г.



СОДЕРЖАНИЕ

<i>Доктор</i>	3
<i>Красный Камень</i>	47
<i>Дальний пост</i>	69
<i>Наташа</i>	81
<i>В таежном городе</i>	113
<i>В дороге</i>	130
<i>Рябиновая ветка</i>	144
<i>Пятая весна</i>	166
<i>Ночной разговор</i>	189
<i>Сарма</i>	202
<i>На маяке</i>	222
<i>Тетя Даша</i>	242

*Издательство просит читателей и библиотекарей
присылать отзывы и замечания об этой книге
по адресу:*

*г. Свердловск, ул. имени Ленина, 49,
Свердловское Книжное Издательство*

***Стариков Виктор Александрович
Рябиновая ветка***

*Редактор Т. Раздьяконова
Иллюстрации художника В. Яковлева
Переплет художника В. Воловича
Художественный редактор Н. Крижановская
Технический редактор М. Ульянова
Корректоры М. Епимахова и Н. Пальмина*

*

*Подписано к печати 17/XII 1954 г. Уч.-изд. л. 13,88
Бумага 84×108/₃₂=4,0 бумажного—13,12 печатного листа.
НС 59597. Тираж 15 000. Заказ 170.*

*

*5-я типография треста Росполиграфпром,
Свердловск, ул. имени Ленина, 49.*

